АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1954

СОДЕРЖАНИЕ

В. В. Виноградов (Москва). Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Е. А. Бокарев (Москва). О категории падежа 30
Е. Д. Панфилов (Ленинград). К вопросу о так называемом аналитическом склонении 47
Р. Г. Пиотровский (Ленинград). О некоторых стилистических категориях 55
М. С. Гурычева (Москва). О закономерностях в словообразовании романских языков 69

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. А. Лисицкий (Черновцы). Насущные вопросы исторической фонетики молдавского языка 84

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

Ф. Ф. Кузьмин (Москва). К итогам обсуждения курса «Введение в языкознание» 97

КРИТИКА БУРЖУАЗНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

М. М. Гухман (Москва). Э. Сепир и «этнографическая лингвистика» . . 110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

К. Е. Майтинская (Москва). Труды Института языкознания, т. I 128
Н. С. Поспелов (Москва). Труды Института языкознания, т. II 132
В. П. Старинин (Москва). Лингвистический сборник («Ученые записки Института востоковедения») 140
Н. М. Александров (Ленинград). *Л. А. Булаховский.* Введение в языкознание, ч. II 146
Е. Г. Эткинд (Ленинград). *Л. А. Булаховский.* Введение в языкознание, ч. II 153
В. Ф. Шишмарев (Ленинград). *Э. Бурсье.* Основы романского языкознания 157
В. М. Жирмунский (Ленинград). Вопросы грамматического строя и словарного состава языка, ч. I—II 162

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Постановление Президиума Академии наук Союза ССР о 300-летнем юбилее воссоединения Украины с Россией 171
Т. И. Бухепе (Вильнюс). Языкознание в Советской Литве 173

Редколлегия:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (секретарь редколлегии), *Р. А. Будагов, В. В. Виноградов* (главный редактор), *А. И. Ефимов, Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев* (зам. главного редактора), *В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8, тел. Б-1-75-42.

Т-00441 Подписано к печати 21.I. 1954 г. Тираж 15.000 экз. Заказ 1880
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бум. л. 5¹/₂. Печ. л. 15,07. Уч.-изд. 17,6

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1954

В. В. ВИНОГРАДОВ

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(На материале русского языка)

I

Слова и словосочетания — по грамматическим правилам и законам, свойственным данному языку,— соединяются в предложения. Конкретное содержание предложений не может быть предметом грамматического рассмотрения. Грамматика изучает лишь структуру предложения, типические формы предложений, присущие тому или иному общенародному языку в его историческом развитии.

Построение предложения — один из самых важных, самых существенных элементов грамматического строя языка. Грамматические формы предложения и его членов специфичны для отдельного языка или группы родственных языков. Изучая законы построения речи, в которой реализуется и выражается мысль, грамматика обычно кладет учение о предложении в основу синтаксиса. В истории предложения и связанных с ним грамматических категорий ярко сказываются основные внутренние законы развития того или иного конкретного языка. При общей устойчивости грамматического строя любого языка предложение, способы его построения и его господствующие формы являются наиболее устойчивыми элементами структуры языка. Они сохраняются, в основном, в течение ряда эпох.

Предложение — это грамматически оформленная по законам данного языка целостная (т. е. неделимая далее на речевые единицы с теми же основными структурными признаками) единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли. Язык как орудие общения и обмена мыслями между всеми членами общества пользуется предложением как основной формой общения. Правила употребления слов в функции предложений и правила соединения слов и словосочетаний в предложения — ядро синтаксиса того или иного языка. На основе этих правил устанавливаются разные виды или типы предложений, свойственные данному конкретному языку. В предложении выражается не только сообщение о действительности, но и отношение к ней говорящего.

Каждое предложение с грамматической точки зрения представляет собой внутреннее единство словесно выраженных его членов, порядка их расположения и интонации.

Предложение как главная грамматическая форма выражения и сообщения мысли в процессе общения сначала послужило основой для логического анализа суждения как формы мышления. Поэтому уже в античной грамматике теория предложения и теория суждения переплетались, а иногда и прямо смешивались. Это смешение отчасти выражалось и в том,

что термин «предложение» (propositio, proposition, ср. нем. Satz), например, в русском языке долгое время служил для обозначения как суждения, так и формы его словесного выражения. На почве такого смешения, на основе античной теории предложения-суждения и была создана в XVII—XVIII вв. универсальная схема предложения и его членов, которая долгое время применялась для анализа предложений всех языков мира. В каждом предложении (нередко — даже в безличном или бессубъектном), в отвлечении от его грамматической структуры, отыскивались путем чисто смысловых, логических соображений субъект (подлежащее), т. е. то, о чем идет речь, и предикат (сказуемое), т. е. то, что говорится о предмете речи, а затем объект или объекты (дополнение) — названия других предметов, кроме подлежащего, и атрибуты (определения). Из атрибутивных (определительных) и отчасти объектных слов позднее стали выделять обстоятельства как члены предложения, обозначающие время, место, условие, цель, причину, образ и способ действия, а иногда также противоречащие или противодействующие факторы (обстоятельства уступки). Традиционная школьная теория предложения окончательно сложилась на основе логических учений о суждении в XVIII в.[1]

Логическое направление на Западе, опиравшееся на идеалистическую философию Канта и Гегеля и особенно тесно связанное с именем Беккера, пришло к полному отождествлению грамматических и логических категорий. Ф. Беккер развивал антиисторическое и космополитическое учение о едином для всех языков пути идеального развития строя предложения, подменяя внутренние законы развития языка законами и формами логики. По мнению Беккера, в языке логическая форма понятия и суждения (мысли) слита с грамматической формой. В связи с этим синтаксические отношения внутри предложения, которые Беккером отождествляются с логическими понятиями субъекта, предиката, атрибута и объекта, рассматривались им как метафизические «всевременные» категории и формы мышления «самополагающего духа».

Еще в начале XIX в. Бернгарди высказал мысль, что простое предложение так относится к периоду (к сложному предложению), как слово к простому предложению[2]. Эту мысль развил Герлинг, который различал среди частей сложного предложения (так называемых придаточных предложений) предложения существительные, прилагательные и наречия[3]. Эта классификация была затем усложнена и видоизменена путем приравнения разных видов придаточных предложений к членам простого предложения. Так складываются параллельные теории простого предложения и его членов и сложного предложения, в котором от главного предложения зависят придаточные, выполняющие те же функции, что и члены простого предложения (функцию подлежащего, сказуемого, дополнения, определения и обстоятельства).

В нашей отечественной грамматике основы теории предложения, развиваемой в логико-грамматическом (и стилистическом) плане, были заложены М. В. Ломоносовым и углублены его учеником проф. А. А. Барсовым. Затем свой вклад в развитие учения о предложении внесли А. Х. Востоков, выдвинувший идею простого глагольного и составного глагольно-именного сказуемого, и особенно А. А. Потебня и А. А. Шах-

[1] См. историю развития учения о предложении у Б. Дельбрюка [B. Delbrück, Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, Teil 3 (K. Brugmann und B. Delbrück, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Bd. V), Strassburg, 1900, стр. 406 и сл.] и у М. Н. Петерсона («Очерк синтаксиса русского языка», М.— Пг., 1923, стр. 28—29).

[2] См. A. F. Bernhardi, Anfangsgründe der Sprachwissenschaft, Berlin, 1805.

[3] См. S. H. A. Herling, Ueber die Topik der deutschen Sprache, Frankfurt, 1821

матов, разработавшие свои оригинальные теории предложения, законов его изменений в русском языке и определившие разнообразие типов простых предложений.

При господстве антиисторического логического подхода к анализу предложения задача синтаксиса простого предложения сводилась к тому, чтобы в любом предложении любого грамматического построения и любого языка отыскать подлежащее и сказуемое (главные члены предложения), а в случае распространенности предложения — также его второстепенные члены: дополнение, определение и обстоятельство. При этом характерные признаки отдельных типов предложения, своеобразие их структуры в том или ином общенародном, национальном языке, исторические изменения в составе предложения, особенности в формах и способах выражения отдельных членов, свойственные отдельным языкам и группам языков,— все это или совсем игнорировалось, или отходило на задний план. За норму и образец принимался идеальный «полный» тип предложения, наиболее близко подходящий по своему строю к схеме суждения (субъект, связка, предикат). Все «отклонения» от этого типа объяснялись «сокращениями» и «опущениями». Широко и необоснованно применялся принцип «подразумевания» недостающих до нормы и будто бы опущенных звеньев (или элементов), независимо от всякого обращения к контексту и ситуации. Даже в каждой реплике диалогической речи восстанавливались «опущенные» члены предложения. Например, в отрывке из «Пиковой дамы» Пушкина: « — Случай! — сказал один из гостей. — Сказка! — заметил Германн» — восклицательные предложения *Случай*! и *Сказка*! должны были «разбираться» так: *это* (подлежащее) *был* (связка) *случай* (сказуемое); по такой же схеме осмыслялся грамматический состав и предложения: *Сказка*! Таким образом, мысль отрывалась от слов, предполагалось наличие мыслей без слов. Предложение выступало как суждение в речи; предполагаемое тождество предложения с суждением не колебалось даже от признания второстепенных членов предложения, которых не знает и не изучает логика. Все модальные (например, вопросительные, побудительные) и все эмоциональные типы предложений приводились к одному знаменателю предложения-суждения.

Даже после выхода в свет труда А. А. Потебни «Из записок по русской грамматике»[4] проф. И. А. Бодуэн де Куртенэ, рецензируя работы К. Аппеля по польскому языку, вынужден был признать: «... до сих пор никто еще не пробовал делать синтаксические исследования без схоластической подкладки, состоящей в смешении грамматики с логикою и в навязывании языку того, что в нем не в состоянии открыть даже самый строгий анализ и что, стало-быть, в нем вовсе не полагается»[5]. Отголоски смешения предложения с суждением, грамматического подлежащего и сказуемого с логическим субъектом и предикатом долгое время продолжали жить в русской грамматике, особенно школьной.

Однако уже с 70—80-х годов XIX в. у нас начинается интенсивная языковедческая работа, направленная на определение специфических качеств предложения и его конкретных синтаксических форм, свойственных грамматическому строю русского языка в его историческом развитии. Господствовавшие тогда в буржуазной науке идеалистические теории соотношения языка и мышления приводили некоторых наших языковедов к идее о необходимости полного отрыва грамматики от логики, учения о предложении от теории суждения. А. А. Потебня, стремясь к свободным от логистического

[4] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, 1874: т. I — Воронеж; т. II — Харьков.

[5] Журн. «Филологические записки», Воронеж, 1880, вып. V, стр. 8—9 четвертой пагинации.

априоризма, чисто грамматическим, как он полагал, исследованиям народного русского языка, полемически заявлял, что грамматика не ближе к логике, чем какая-нибудь другая наука.

В этом отношении А. А. Потебня разделял предрассудки современного ему идеалистического психологического направления в языкознании, отрицавшего самую возможность постановки вопроса о соотношении грамматики и логики, грамматических и логических категорий. «Языковые и логические категории,— писал в то время Штейнталь,— являются несовместимыми понятиями, которые соотносятся друг с другом, как понятия *круга* и *красного*...»[6]. Впрочем, отрицание всякой связи грамматики с логикой не помешало А. А. Потебне учитывать взаимодействие и связь грамматических категорий и категорий мышления, хотя бы и в идеалистическом аспекте. Ценность работы А. А. Потебни в области изучения исторического синтаксиса русского языка заключается в том, что, считая тип глагольного предложения с именительным падежом существительного, обозначающего субъект действия, для русского языка (так же, как и для других славянских и — шире — индоевропейских языков) основным и центральным, А. А. Потебня указал на взаимодействие этого глагольного типа предложения с именным (*NN княжил в Киеве* и *NN был князь* или *князем в Киеве*) и нарисовал общую картину изменений составного связочно-именного сказуемого.

В строе предложения, если подравнивать его со строем суждения, естественно, выделяются два члена: подлежащее, в котором ищут и часто находят соответствие субъекту суждения, и сказуемое, которое рассматривается как выражение предиката. Вместе с тем уже давно обратило на себя внимание то, что в русском языке, как и в других языках, принадлежащих к индоевропейской семье, конструктивно господствующий тип предложения сводится к схеме: форма именительного падежа имени существительного (или предметно-личного местоимения) и личная форма глагола (verbum finitum). Например: *Весна наступает*, *Мальчик бегает*, *Птица летит*, *Деревья зеленеют*, *Трава растет*, *Уста жуют*, *Вода кипит*, *Ты ошибаешься*, *Я учусь* и т. п. Как доказал А. А. Потебня, с возникновением категории связки или «вспомогательного глагола» под несомненное воздействие этого глагольного типа подпал и тип именного предложения: *Орел — хищник*, *Соловей — певчая птица*, *Владимир был князь киевский* и т. п. На почве наблюдений над этим типом и сложилось учение об именном предложении с простым и составным именным сказуемым.

Факт исторического многообразия грамматических форм выражения сказуемого в русском языке был использован А. А. Потебней в его труде «Из записок по русской грамматике» (I—II) как доказательство антиисторичности логической унификации схем предложения и суждения. После работ А. А. Потебни стало ясно, что наивный, прямой перенос на предложение основных конструктивных признаков суждения неправомерен. Такое смешение ведет к логической униформации всех типов предложения, мешает увидеть в предложении его национально-языковую специфику, его жизненные экспрессивные, субъективно-речевые краски и грамматические своеобразия.

Утверждение, будто непосредственным назначением всякого предложения является выражение суждения, неверно. Для логики даже в глагольном типе номинативного предложения не существенны основные грамматические категории времени, лица и наклонения, определяющие структуру предложения. Логика сводит к нескольким обобщенным общечеловеческим

---

[6] H. Steinthal, Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Principien und ihr Verhältniss zu einander, Berlin, 1855, стр. 221—222.

схемам все живое многообразие типов предложения, резко отличающихся друг от друга в разных языках мира. Грамматика же рассматривает формы синтаксического выражения мысли, чувства и воли во всех особенностях их конкретного речевого строения, типичных для грамматического строя отдельных языков и их групп, семей, и предложение как предмет грамматического изучения обладает значительно бо́льшим количеством специфически выраженных народно-языковых признаков, чем общечеловеческая форма логического суждения. Анализ основных грамматических категорий, обнаруживающихся в строе предложения и определяющих его, например, категорий времени, модальности, предикативного сочетания слов и т. д., показывает специфику предложения, его коренные отличия от суждения, несмотря на тесную связь с ним. Суждение не может существовать вне предложения, которое является формой его образования и выражения. Но если суждение выражается в предложении, то это еще не значит, что назначение всякого предложения — выражать только суждение.

Тип предложения не остается неподвижным. Он может иметь разные варианты, которые возникают на основе видоизменения и последующего абстрагирования тех или иных составных частей предложения, на основе обогащения и совершенствования его структуры. Так, исторически сложившаяся структура именного двусоставного (или двучленного) предложения прежде всего варьируется в зависимости от состава сказуемого, которое может быть выражено разными именными категориями (существительным, прилагательным, числительным, местоимением) или наречием именного типа и включать в себя связку, полузнаменательный или полувспомогательный глагол. Например: «Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля» (Тургенев, Рудин); «Все это сваливалось в кладовые и все становилось гниль и прореха» (Гоголь, Мертвые души); «Богатырь ты будешь с виду И казак душой» (Лермонтов, Казачья колыбельная песня); «Она слыла чудачкой» (Тургенев, Дворянское гнездо). Те разновидности именных предложений, которые содержат в своем составе так называемые полузнаменательные глаголы типа *оставаться — остаться*, *считаться*, *казаться*, *показаться*, *оказаться*, *называться* и т. п., приближаются к глагольному типу предложения, являются глагольно-именными.

Еще более ярко выражен составной — именной и в то же время глагольный характер в предложениях со сложным сказуемым, куда входят в сочетании с именем существительным или прилагательным глаголы движения или состояния (типа *прийти*, *вернуться*, *ходить*; *работать*, *жить*, *сидеть*, *лежать* и т. п.). Например: «Никто не родится героем, Солдаты мужают в бою» (Ошанин, Солдаты мужают в бою).

С именем А. А. Потебни связана идея исторической изменчивости языковой формы предложения, идея развития типов предложения. А. А. Потебня, не имевший, как и все наши языковеды домарксистской эпохи, ясного представления о темпе и характере грамматических изменений, заявлял даже, что история языка должна дать ряд определений предложения, действительных для разных периодов развития языка[7]. Но, несмотря на свою борьбу со смешением грамматики с логикой, А. А. Потебня был убежден, что расчлененное грамматическое предложение, так же как и суждение, по природе своей двучленно или двусоставно[8]. Именно с этой дву-

[7] См. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 76—78.

[8] В этом вопросе с А. А. Потебней резко расходился его рано умерший талантливый ученик А. В. Попов, автор «Синтаксических исследований» (Воронеж, 1881), который доказывал одночленность (и однословность) первичного предложения в индоевропейских языках.

членностью или двусоставностью предложения (подлежащее — сказуемое) легко связывался признак наличия предикативных отношений между подлежащим и сказуемым[9], как основной структурный признак предложения.

Логическое суждение двучленно, если связку рассматривать как отношение между субъектом и предикатом. Поэтому мнение о неизбежной двучленности (или двусоставности) всякого предложения приобрело широкую популярность. Об этом так писал известный теоретик по вопросам синтаксиса Йон Рис, который сам уже испытывал недоверие к этому распространенному, хотя и не всеми разделяемому мнению: «Я считаю, что утверждение, будто двучленность (Zweigliedrigkeit) является необходимым моментом всех предложений, утверждение, которое выдвигалось с большой определенностью и горячо защищалось, оказывается несостоятельным при ближайшем рассмотрении»[10]. Вместе с тем Й. Рис все же был склонен думать, что признак двусоставности, двучленности должен считаться типическим признаком предложения вообще. Он писал: «С другой стороны, одночленные предложения находятся все же в таком меньшинстве, что они производят впечатление скорее редких исключений. Это обстоятельство, опосредствованным образом, приобретает огромное значение для вопроса о грамматической форме предложения: двучленность, сама по себе не необходимая для предложения, в качестве фактического свойства почти всех предложений, благодаря своему мощному численному превосходству, становится отличительным формальным признаком предложения вообще, даже должна была стать таким признаком»[11]. Эта точка зрения остается широко распространенной до сих пор. Она оказывает большое влияние на грамматический анализ одночленных (односоставных) предложений, т. е. таких предложений, в которых не может быть непосредственно обнаружено двух главных членов предложения — подлежащего и сказуемого.

В силу приравнивания всех видов предложений к основному двучленному (двусоставному) типу у нас очень долго не были предметом анализа конкретно-языковые формы и типы одночленных (односоставных) предложений. Правда, А. А. Потебня и его ученики испытывали большой интерес к безличным (или бессубъектным) предложениям вроде: *Светает*, *Морозит*, *Молнией убило человека* и т. п., т. е. к глагольным типам одночленных предложений. Однако вопрос об одночленном именном предложении был решительно выдвинут лишь в 80—90-х годах XIX в. проф. А. В. Добиашем[12]. Он сопоставлял предложения типа *Мороз*, *Морозит* и *Морозно*, видя в них констатирование или обозначение явлений действительного мира. Но А. В. Добиаш не ставил перед собой задачи исчерпывающего описания всех видов одночленных или односоставных предложений. Эта задача была впервые в русском языкознании поставлена и отчасти разрешена акад. А. А. Шахматовым в его «Синтаксисе русского языка».

А. А. Шахматов собрал многочисленные и разнообразные факты из произведений народной словесности, русской литературы XIX и XX в., а также из древнерусской письменности, иллюстрирующие употребление разных видов односоставных или одночленных предложений в русском языке, и сопоставил их с однородными явлениями в других индоевропей-

[9] В индоевропейских языках — между формой именительного падежа существительного или местоимения и глаголом (или связкой) с примыкающими к нему именными формами.

[10] J. Ries, Was ist ein Satz? (Beiträge zur Grundlegung der Syntax, Heft III), Praga, 1931, стр. 70.

[11] Там же, стр. 103.

[12] См. А. Добиаш, Опыт симасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка, Прага, 1897.

ских языках. Но, исходя из психологической и в основе своей идеалистической теории двучленной «коммуникации» как формы мышления, лежащей в основе предложения, А. А. Шахматов не мог дать ни удовлетворительной классификации односоставных предложений, ни точного описания их грамматической структуры. Он колебался между морфологическим (по морфологической природе главного члена) и логико-синтаксическим подходом к определению и разграничению разных видов односоставных предложений. В конце концов, А. А. Шахматов решил рассматривать их структуру по аналогии со строем двусоставных предложений. Правда, он пришел к выводу, что было бы заблуждением искать в каждом одночленном предложении два соотносительные и взаимосвязанные главные члена двусоставного предложения — подлежащее и сказуемое. Односоставное предложение — это, по определению Шахматова, такое предложение, в котором сочетание субъекта и предиката психологической коммуникации (или суждения) находит себе соответствие в одном члене предложения (выраженном большею частью одним словом), например: *Морозило*, *Тишина*, *Глупость*! *Яблок-то*, *яблок*! и т. д.

Следовательно, по А. А. Шахматову, в односоставном предложении нет соотносительных подлежащего и сказуемого, здесь налицо лишь один «главный член». «Член предложения, соответствующий по своему значению сочетанию субъекта с предикатом,— писал А. А. Шахматов, — мы назовем главным членом. главным членом односоставного предложения; в односоставных предложениях таким образом не нашло себе словесного выражения то расчленение, которое с несомненностью обнаруживается в самой коммуникации...» [13]. И все же А. А. Шахматов склонялся, правда, с очень существенными оговорками, к уподоблению главного члена односоставного предложения то подлежащему, то сказуемому двусоставного предложения и положил соответствующий критерий в основу разграничения и классификации типов односоставных предложений. Главный член односоставного предложения, по мнению А. А. Шахматова, может быть отождествлен формально или с подлежащим, или со сказуемым двусоставного предложения, причем, конечно, «... не следует забывать, что такое „сказуемое“ отличается от сказуемого двусоставного предложения тем, что вызывает представление и о предикате, и о субъекте, между тем как сказуемое двусоставного предложения соответствует только предикату, а также, что „подлежащее“ односоставного предложения вызывает представление и о субъекте, и о предикате, между тем как подлежащее двусоставных предложений соответствует только субъекту» [14]. Непоследовательность А. А. Шахматова в описании односоставных предложений очевидна.

Разграничение двух основных типов предложения — двусоставных и односоставных — прочно вошло в научный синтаксис русского языка. Конкретное предложение может иметь в основе своего построения и одно единственное понятие или представление, грамматически соотнесенное с действительностью. Психологическая или логистическая защита тезиса о необходимой двучленности (или двусоставности) всякого предложения всегда основывалась на отрыве от конкретно-исторического языкового материала и почти всегда опиралась на идеалистические предпосылки о тождестве или параллелизме речевых и мыслительных процессов и на отрицание отражения в речи объективной действительности.

Вопрос о формах и типах грамматического построения односоставных предложений нуждается в дальнейшем углубленном исследовании. В высшей степени важно уяснить специфические особенности их структуры со-

---

[13] А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., Учпедгиз, 1941, стр. 30.
[14] Там же, стр. 50.

относительно с основными типами двусоставных предложений. Само собой разумеется, что было бы нецелесообразно стремиться к отысканию «подлежащих» и «сказуемых» или каких-нибудь их «эквивалентов» во всех типах односоставных предложений. Однако в некоторых формах их можно найти морфологические соответствия одному из главных членов двусоставного (двучленного) предложения. Например, предложение *Градом побило рожь* находится в синонимической грамматической связи с двусоставным предложением *Град побил рожь*. Поэтому *побило* воспринимается как выраженное безличной формой глагола сказуемое односоставного предложения. Морфологическая категория безличности, свойственная глаголу, как бы санкционирует особую синтаксическую форму сказуемого, не соотносительного с подлежащим. Неопределенно-личные предложения (*Говорят*, *Просят не курить* и т. п.) и предложения обобщенно-личные (*Любишь кататься — люби и саночки возить*) также функционально-синтаксически (при наличии своеобразных семантических и стилистических оттенков) мало отличаются от двусоставных конкретно-личных глагольных предложений (ср. *Сижу и думаю — Я сижу и думаю*; *Ты видишь свои ошибки — Видишь свои ошибки* и т. п.). В неопределенно-личных предложениях форма 3-го лица множественного числа глагола обозначает личное действие, осуществляемое неопределенным количеством, неопределенным множеством лиц; в обобщенно-личных предложениях форма 2-го лица выражает действие, связываемое с собирательным лицом, с любым человеком вообще.

В «Курсе современного украинского литературного языка», изданном Академией наук Украинской ССР, есть ценное замечание о тенденциях развития безличных предложений в украинском языке, вполне применимое и к русскому языку. «Присмотревшись внимательно к фактам, — читаем здесь, — легко установить, что развиваются те типы безличного предложения, которые легче воспринимаются на фоне личной конструкции как ее особый вариант или как известное отклонение от нее в случаях неизвестности, обобщенности или второстепенного значения действующего лица. Такое наблюдение дает возможность говорить о том, что в языке господствует как стандартный тип предложения — предложение двусоставное. Это вовсе не исключает возможности увеличения безличности предложения. Это говорит только о том, что для современного языкового сознания безличные предложения являются особой, семантически и стилистически обусловленной (мотивированной) разновидностью выявления двусоставного в своей основе акта мышления»[15].

В настоящее время главная задача синтаксиса русского языка в области изучения предложения до некоторой степени предопределена историей развития нашей отечественной грамматики. Эта задача состоит в том, чтобы изучить все конкретно-языковые формы или структурные особенности основных разновидностей двусоставных (или двучленных) и односоставных (или одночленных) предложений в современном русском языке и выяснить последовательность, пути и закономерности их исторического развития.

Общая теория синтаксиса, построенного на основе марксистского учения о языке, не отбрасывает проблемы связи логических и синтаксических, шире — вообще грамматических категорий. Последовательное применение марксистского положения о неразрывном единстве языка и мышления позволяет обосновать и подтвердить фактами языка связь логических и синтаксических категорий и в то же время обнаружить их действитель-

[15] «Курс современного украинского литературного языка», под ред. Л. А. Булаховского, т. II, Синтаксис, Киев, «Рад. школа», 1951, стр. 52 (на укр. яз.).

ные различия, обусловленные спецификой внутренних законов развития языка. Однако грамматика как наука, абстрагирующая свои закономерности от конкретного народно-языкового материала на широкой исторической основе, не может и не должна смешиваться с логикой. В отличие от формальной логики как науки о законах правильного мышления, грамматика, опираясь на материалистическую диалектику, изучает исторические законы построения той или иной конкретной народной речи, в которой реализуется мысль. Следовательно, и синтаксис как часть грамматики имеет свои объекты исследования — словосочетание и предложение, свой научный метод и решает свои специфические задачи, в том числе и свои задачи изучения предложений.

Этот вывод не оспаривается и в современных советских исследованиях по логике. Общепризнано, что структура предложения бывает качественно различна в языках разных народов, разных наций (ср., например, предложение номинативного типа в индоевропейских языках и предложение эргативного типа в так называемых «иберийско-кавказских» языках). Между тем, субъектно-предикатная структура простого суждения имеет общечеловеческий характер. Она не зависит ни от исторических, ни от национальных различий. Но субъект и предикат суждения в предложениях разных языков выражаются по-разному. Выработанные в языке грамматические формы членов предложения не сливаются и не совпадают с логическими членами суждения. Так, специалисты по иберийско-кавказским языкам доказывают, что в грузинском и в некоторых других кавказских языках в качестве главных членов предложения выступают не только подлежащее и сказуемое, но — при определенной (эргативной) конструкции предложения — и «прямое дополнение», которого логика в составе суждения не различает. Логическое суждение реализуется в предложении разнообразными языковыми средствами.

Вместе с тем сами логики не могут прийти к определенному выводу о том, все ли типы предложений служат выражением суждения. Одни полагают, что вопросительные и побудительные предложения вообще не выражают суждения, другие готовы утверждать, что все типы предложений заключают в себе суждение, третьи ищут и находят в вопросительном и побудительном предложениях «аналоги суждений», четвертые склонны рассматривать вопросительные предложения как выражение суждения с свернутым (имплицитным) или неопределенным предикатом, но отказываются видеть непосредственное выражение суждения в побудительных предложениях и т. п. Некоторые логики указывают, что побуждение и мысль-вопрос имеют ряд черт, общих с суждением[16]. Эти черты сходства выражаются в следующем: 1) и вопрос, и побуждение, подобно суждению, выражаются в предложении; 2) всякое побуждение и всякий вопрос, как и суждение, имеют предметный характер: подобно тому, как мы можем судить только о чем-либо, точно так же и повеление мы всегда высказываем в отношении кого-нибудь или чего-нибудь, и во всяком вопросе указывается предмет, о котором нечто спрашивается; 3) и вопрос, и побуждение могут быть правильными и неправильными (так же, как и суждение). Различие же между суждением и побуждением, а также вопросом выражается в том, что ни побуждение, ни вопрос непосредственно не утверждают (и не отрицают) что-нибудь о чем-нибудь; побуждение, хотя и подразумевает суждение, является особой разновидностью мысли, так как оно содержит лишь приказ или призыв к действию, а в вопросе лишь спрашивается о чем-нибудь, причем сама постановка вопроса

[16] См. П. В. Таванец, Суждение и его виды, М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 26—29; ср. его же, К вопросу о классификации суждений в истории логики, «Философские записки», т. VI, М., 1953, стр. 38—70.

может быть правильной или неправильной. Следовательно, приходится признать существование таких предложений, назначением которых является не выражение суждения, а выражение вопроса и побуждения как особых разновидностей мысли.

Логика, изучающая формы и законы общечеловеческого мышления, не интересуется ни эмоциональной и волевой стороной сознания, ни формами словесного выражения эмоций и волевых побуждений. Вместе с тем понятно, что выражение эмоций в языке не может не быть осознанным. Степень мыслительного, понятийного содержания в таком словесно-эмоциональном выражении отчасти определяется характером и степенью его грамматической расчлененности. Причина разногласий по вопросу об отношения предложения и суждения кроется отчасти в спорности и недостаточной исследованности соответствующих проблем у логиков и философов; но несомненно также, что отсутствие глубоких и детальных грамматических описаний всех разновидностей предложений, служащих в современных живых языках для выражения не только суждений, но и волевых побуждений и эмоций, не помогает устранению путаницы в этом вопросе.

II

Изучая правила составления предложений, синтаксис прежде всего должен выяснить, как слова и словосочетания, объединяясь в структуре предложения в качестве его членов, образуют предложение — эту основную синтаксическую единицу языкового общения — и в чем заключаются характерные конструктивно-грамматические признаки предложения. В нашей отечественной грамматической науке выдвинуты два общих характерных признака предложения в русском языке, хотя взаимоотношение и взаимодействие этих признаков до настоящего времени остаются не вполне определенными. Это — интонация сообщения и предикативность, т. е. отнесенность высказываемого содержания к реальной действительности, проявляющаяся в совокупности таких грамматических категорий, которые определяют и устанавливают природу предложения как основной и вместе с тем первичной грамматически организованной единицы речевого общения, выражающей отношение говорящего к действительности и воплощающей в себе относительно законченную мысль. Наличие обоих этих признаков для предложения обязательно; поэтому к предложениям не относятся номинативные заглавия, вывески и т. п.

Обычно говорят, что слова и словосочетания, соединенные в предложении большей частью посредством тех же приемов согласования, управления и примыкания, которые характерны для связей слов внутри словосочетания, без соответствующей организации их интонационными средствами еще не представляют собой сообщения. Интонационными средствами устанавливается, обусловливается коммуникативное значение слов в предложении, определяется членение предложения и осуществляется его внутреннее единство. Благодаря интонации не только соединения слов, но и отдельные слова могут приобрести значение предложений. Акад. А. А. Шахматов так писал об этом в своем «Синтаксисе русского языка»: «...условием для перехода отдельного слова и словосочетания в предложение является законченность мысли и законченность соответствующего словесного выражения; законченность мысли предполагает наличность в таком словосочетании сочетавшихся предикативно субъекта и предиката, а законченность словесного выражения требует особой объединяющей члены словосочетания в одно целое интонации»[17]. Можно сомневаться в том, что в каждом

[17] А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 37.

предложении, даже в разговорном предложении резко эмоционального, грамматически нерасчлененного характера вроде: *Ну и ну! То-то! Ваня! Еще бы! Вот тебе на! Ай, ай, ай!* и т. п. выражается предикативное сочетание субъекта и предиката, но нельзя сомневаться в том, что этим выражениям или высказываниям присуща интонация сообщения. Интонация сообщения, таким образом, является грамматическим средством оформления предложения и выступает в качестве одного из постоянных характерных признаков предложения. Именно в этом признаке заключается одно из коренных отличий предложения от словосочетания.

Различием интонаций в значительной степени определяются основные функциональные и вместе с тем модальные типы предложений — предложения повествовательные, вопросительные и побудительные. «Что бы мы ни сказали,— писал в своем «Русском синтаксисе» проф. А. М. Пешковский, сделавший много интересных наблюдений в области русской ритмомелодики,— мы высказываем это либо повествовательно, либо вопросительно, либо восклицательно (включая в эту последнюю характеристику и интонацию побудительности.— *В. В.*). Как ни важна для нас разница между этими тремя видами речи, она все-таки не материальна, а формальна. Скажем ли мы *он здесь*, или *он здесь*? или *он здесь!* — материал нашей мысли остается один и тот же: представление о „нем“ и о месте, где „он“ находится. Меняется только отношение наше к данной мысли: в одном случае мы просто желаем поделиться со слушателем найденной нами реальной связью или отсутствием ее (при отрицании) между двумя представлениями, образующими в данном случае мысль, в другом случае мы не решаемся сами признать реальность или нереальность связи и ждем разъяснения в этом отношении от собеседника, в третьем — мы не только полностью убеждены в реальности или нереальности связи, но и выражаем наши чувства, внушенные нам этой связью. Все эти различия — грамматические, и выражаются они в русском языке почти исключительно интонацией...»[18]

Главными интонационными средствами, выполняющими основные функции в организации предложения, являются ударение и мелодика. Будучи существенным, неотъемлемым признаком предложения, интонация, однако, не исчерпывает и не определяет грамматической сущности предложения и своими вариациями не обусловливает и не создает всего многообразия видов предложений в русском языке. Ведь если даже признать, что интонация является самым непосредственным, единственным безусловно необходимым способом выражения законченности мысли, а следовательно, и самым главным признаком «единицы языкового общения» (т. е. предложения), то все же нельзя обойтись без ответа на вопрос: все ли слова и формы слов, все ли словосочетания и их формы могут непосредственно с помощью соответствующей интонации становиться «единицами речевого общения» (т. е. предложениями или «фразами», как выражаются иные языковеды), или же необходимы какие-нибудь дополнительные способы формально-грамматической организации речевого целого, быть может, даже разные в разных условиях и контекстах.

Интонация сама по себе, т. е. вне словесного содержания, вне отношения речи к действительности, расчлененной, законченной, логически построенной мысли не выражает. Интонация не является средством формирования и воплощения мысли, без слов она может быть выразительной, но не является содержательной, т. е. не служит материальной оболочкой мысли. Об интонации сообщения можно сказать, что она является лишь формой выра-

---

[18] А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 6-е изд., М., Учпедгиз, 1938, стр. 69—70.

жения более или менее замкнутой единицы речи (предложения). Однако интонация вовсе не является формой грамматического построения предложения. Правда, интонация может служить средством превращения слова и словосочетания в предложение, может выполнять предикативную функцию, но интонации не свойственно предметно-смысловое содержание. Часто она прямо причисляется к средствам субъективного выражения[19]. Но при этом необходимо помнить, что это средство субъективного речевого выражения общественно организовано и общественно осознано. Вместе с тем в таких формах общения, как письменная речь, интонация нередко отступает на второй план.

Вот почему авторы наших грамматик, особенно те, которые осознали неправомерность и ошибочность как смешения предложения с суждением, так и полного отрыва предложения от суждения, старались установить структурные, словесно-строевые, формально-грамматические признаки предложения в русском языке (так же, как и в других языках) и выделить грамматические категории, типичные для словесно организованного, синтаксически оформленного предложения. Сначала в качестве такого структурного формально-грамматического признака предложения выдвигалась личная форма глагола (verbum finitum), т. е. в основу определения предложения была положена морфологическая категория глагола, и тем самым как бы ставился знак равенства между глаголом и сказуемым. Значительная часть современных синтаксических теорий в области изучения русского языка и теперь продолжает ставить общее определение структуры предложения в зависимость от наличия (реального или потенциального) глагольных форм, имеющих значения лица, времени и наклонения; эти формы и получают название предикативных форм глагола или форм сказуемости. Таким образом, понимание глагола как организатора предложения объясняется не только преобладанием, особенной употребительностью глагольных типов предложения, но и тем, что в личных формах глагола непосредственно, наглядно, морфологически выражены те грамматические категории лица, времени и модальности, с которыми связано понятие синтаксической предикативности как существенного признака предложения.

Однако при этом чисто морфологическом подходе синтаксическое учение о предложении в целом получает односторонний и искаженный характер: оно не отражает всего многообразия структурно-грамматических форм предложения в русском языке. Вообще при построении теории предложения «морфологизм» в чистом виде не может привести к пониманию всего разнообразия структурных типов предложений. Дело в том, что со структурой предложения связаны свои особые синтаксические категории, базирующиеся на морфологических категориях, но далеко выходящие за их пределы: категории времени и модальности, а также — в широком синтаксическом понимании — и категории лица, т. е. те категории, которые выражают отношение сообщения к действительности и подводятся под общее понятие «предикативности»; эти категории могут быть свойственны предложению в целом — независимо от наличия в его составе глагола. Так, безглагольные односоставные предложения, содержащие лишь одно единственное понятие или представление, соответствующим образом соотнесенное с действительностью (например: *Мороз*, *Тише! Внимание* и т. п.), представляют собой единицы речевого общения,

---

[19] Ср. в структуральном синтаксисе проф. А. В. де Гроота: stratum of expression [см. рец. A. Martinet «A. W. de Groot, Structural Linguistics and Phonetic Laws (Archives néerlandaises de phonétique expérimentale, Tome XVII. 2-me livraison, Amsterdam, 1941, pp. 71—106)», «Lingua», vol. II, 1, Haarlem, 1949, стр.74—77].

грамматически организованные на основе тех же категорий модальности и времени.

Среди одночленных (или односоставных) предложений в русском языке есть предложения, функция которых сводится к простому утверждению или отрицанию, выражению согласия или несогласия или к общей экспрессивно-модальной оценке предшествующего высказывания. Это — предложения, основу которых составляют утвердительные или отрицательные слова *да* и *нет*, модально окрашенные слова и частицы (типа: *разве? едва ли! может быть! конечно! вероятно!* и т. п.), междометия и слова, близкие к междометиям. Внутренняя сущность модальной функции таких слов, как *да*, *нет*, *несомненно* и т. п., ярко сказывается в том, что иногда в диалогической речи они становятся своеобразными заместителями глагольного сказуемого с присущими ему значениями времени, лица и наклонения, например: *А в прошлом году вы имели отпуск? — В прошлом году да*; *А с мамой ты согласна остаться? — С мамой да, а с Петькой нет*. Вместе с тем слово *да* может входить в состав сложного предложения в качестве одной из его основных составных частей: — *Ветерок в аллее? — Да, потому что листья дрожат; — А вы ему должны, что ли? — Вот в том-то и беда моя, что да.*

Предложения типа *да*, *нет*, *конечно* и т. п., нередко очень экспрессивные, выражают модальную квалификацию сообщения и иногда содержат побуждение к какому-нибудь действию, следовательно, они также выражают синтаксическую категорию модальности. К этим предложениям, синтаксически нерасчлененным, совершенно неприменима психологистическая схема подстановки сочетающихся представлений в роли субъекта и предиката. Поэтому модальные слова-предложения всегда рассматривались как особый тип предложений (а в субъективно-идеалистических психологических теориях — как «эквиваленты предложения»), не имеющих и не способных иметь в своем составе никаких членов предложения — главных или второстепенных. И все же они имеют модальные значения. Предложения этого типа употребляются преимущественно в диалогической речи, в ответных и вопросительных репликах собеседников. Они могут, как отголоски внутреннего диалога, употребляться и в монологической речи, при подтверждении уже высказанного, при возражении самому себе и в других подобных случаях.

Вот несколько иллюстраций: «П о д к о л е с и н (с самодовольной улыбкой). А преконфузно однако же должно быть, если откажут. К о ч к а р е в. Еще бы!» (Гоголь, Женитьба); « — Ну, у тебя грехов немного.— Ах, все-таки,— сказал Левин,— все-таки,— „с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь...“ Да» (Толстой, Анна Каренина).

Таким образом, значение и назначение общей категории предикативности, формирующей предложение, заключается в отнесении содержания предложения к действительности. В этом и состоит различие между словом *зима* со свойственным ему лексическим значением и предложением *Зима* в таком пушкинском стихе: «Зима. Что делать нам в деревне?». На этот характерный признак предложения обращали внимание и многие лингвисты прошлого, хотя и не всегда правильно его истолковывали. Так, Й. Рис в своем сочинении «Was ist ein Satz?» писал, что главным признаком, отличающим предложение от словосочетания, является выражение в предложении того, как относится содержание предложения к действительности. «Становящееся соединение, форма образования предложения, происходящее в данный момент (впервые или повторно) соотнесение (Zuordnung) оказывается необходимым проявлением свойственных именно ему (предложению) задачи и функции: выработки отношения содержания пред-

ставлений к действительности»[20]. Если в этом рассуждении отвлечься от субъективно-идеалистического истолкования мыслительной сущности предложения как сочетания представлений, то останется верная мысль о соотнесенности содержания высказывания с действительностью как основном признаке предложения. В том же направлении старался найти основные свойства предложения и чешский языковед В. Матезиус. По его словам, предложение — это «элементарное высказывание, в котором говорящий активно и притом таким способом, который с формальной точки зрения вызывает впечатление обычности и субъективной полноты (законченности), относится к какому-нибудь факту»[21].

Общее грамматическое значение отнесенности основного содержания предложения к действительности выражается в синтаксических категориях модальности, а также времени и лица. Именно они придают предложению значение основного средства общения, превращая строительный материал языка в живую, действенную речь.

В конкретном предложении значения лица, времени, модальности устанавливаются с точки зрения говорящего лица. Но сама эта точка зрения определяется объективным положением говорящего лица в момент речи по отношению к собеседнику и к отражаемому и выражаемому в предложении «отрезку», «кусочку» действительности. Отношения сообщения, содержащегося в предложении, к действительности—это и есть прежде всего модальные отношения. То, что сообщается, может мыслиться говорящим как реальное, наличное в прошлом или в настоящем, как реализующееся в будущем, как желательное, требуемое от кого-нибудь, как недействительное и т. п. Формы грамматического выражения разного рода отношений содержания речи к действительности и составляют синтаксическое существо категории модальности. Категорией модальности определяются различия между разными модальными типами предложения. Кроме форм глагольных наклонений, категория модальности выражается также модальными частицами и словами, а также интонацией. Известно, например, сложное и тонкое разнообразие модальных красок инфинитивных предложений в русском языке. Модальность инфинитивных предложений определяется самой формой инфинитива и интонацией, а усиливается и дифференцируется частицами. Для модальных значений этих предложений характерно и то обстоятельство, что они обозначают действие, которое совершится в будущем или должно совершиться по воле говорящего лица. Например: «София. Вот вас бы с тетушкою свесть, Чтоб всех знакомых перечесть» (Грибоедов, Горе от ума); «Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку» (Лермонтов, Княжна Мери); «Не расти траве После осени; Не цвести цветам Зимой по снегу» (Кольцов, Русская песня); «Когда же тут хромать? Тут, братец ты мой, уже не до хромоты» (Шолохов, Тихий Дон).

В так называемых инфинитивно-назывных предложениях законченность всему предложению сообщает интонация, выражающая субъективно-модальное отношение к действию: «Возможно ли! меня продать! — Меня за поцелуй глупца...» (Лермонтов, Маскарад); «Саша. Она очень нервна стала. Каренин. Две ночи не спать, не есть. Саша (улыбаясь). Да вы тоже... Каренин. Я — другое дело» (Толстой, Живой труп).

С категорией модальности тесно связана категория времени. Предложение как форма сообщения о действительности включает в себя синтаксическое значение времени. Это значение создается не только формами

---

[20] J. Ries, указ. соч., стр. 77.

[21] V. Mathesius, Několik slov o podstatě věty, «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947, стр. 231.

времен глаголов, кратких прилагательных и категории состояния (с помощью связки), но и глагольными формами наклонения (ср., например, связь форм повелительного наклонения с глагольными формами будущего времени), а также — при известных интонациях — формой инфинитива; в сообщениях же о настоящем или о прошлом, изображаемом как наличное, значение времени выражается также отсутствием морфологической формы с грамматическим значением времени. Синтаксическое значение времени, создаваемое ситуацией и контекстом речи. присуще и таким предложениям, как *Огонь!* [в значении: 1) «стреляй!» 2) «зажги огонь» или «принеси огня!» и 3) «виден огонь»]; *Брр!* (в значении: «холодно» или «я озяб»); *Пора, пора! Тишина*; *Минуту внимания!* и т. п. В вопросо-ответных предложениях, составляющих парное единство, значение времени в ответе нередко предопределено предшествующим вопросительным предложением.

Так как предложение как основная форма речевого общения служит одновременно и средством выражения мысли для говорящего лица, и орудием понимания высказанной мысли для лица слушающего, то структура предложения включает в себя и разные способы выражения синтаксической категории лица (если не иметь в виду семантическую, в основном, словообразовательную категорию лица в системе имен существительных, подчиненную категории предметности и противопоставленную категории не-лица). Как известно, в русском языке грамматическая категория лица, связанная с характеристикой отношения речи к говорящему (или говорящим), к собеседнику (или собеседникам) и к тому третьему, о чем может идти речь, выражается главным образом формами местоимений и глагола. В строго определенных типах предложений отношение к лицу может выражаться также посредством особых интонаций (требования, побуждения, просьбы, приказа или упрека, желания и т. п.). Например: «Гражданин. Будь гражданин! Служа искусству, Для блага ближнего живи» (Некрасов, Поэт и гражданин); «Прощай, свободная стихия!» (Пушкин, К морю); «И, полно, что за счеты» (Крылов, Демьянова уха); «Полно врать пустяки» (Пушкин, Капитанская дочка); «А вам, искателям невест, Не нежиться и не зевать бы» (Грибоедов, Горе от ума). Ср. предложения типа: *Спасибо, Вон! Прочь! Долой поджигателей войны! Воды!* и т. п.

Во всяком предложении категория предикативности находит свое полное или частичное выражение. Способы ее выражения, связанные с синтаксическими категориями лица, времени и модальности, бывают морфологическими, конструктивно-синтаксическими и интонационно-синтаксическими. Примеры конструктивно-синтаксических и интонационно-синтаксических способов выражения предикативности приводились выше.Ср. также: *Ну тебя! Покойной ночи! «Огня!* кричат... *огня!»* (Крылов, Волк на псарне); «*Заутра казнь*» (Пушкин, Полтава); «Агния. *Погода-то! Даже удивительно! А мы сидим*» (Островский, Не все коту масленица); «Несчастливцев. *Куда и откуда*? Счастливцев. *Из Вологды в Керчь-с...*» (Островский, Лес); «Бакин. *Однако, пора и за дело*» (Островский, Таланты и поклонники); «*На полном бегу На бок салазки — и Саша в снегу!*» (Некрасов, Саша); «*Наконец, карета у крыльца*. Тетеньки вылезают из нее и кланяются отцу» (Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина); «*Граждане, за ружья! К оружию, граждане!*» (Маяковский, Революция); «Юлия. Куда же это мы идем? Федор Иванович. На плотину... Пойдем погуляем... *Лучшего места во всем уезде нет... Красота!*» (Чехов, Леший); «*Какое надо иметь мужество, чтобы, например, делать операции или резать трупы! Ужасно!*» (Чехов Именины).

Многообразие форм и способов выражения предикативности, разные виды сочетания и переплетения синтаксических категорий времени и модальности, широкие возможности выражения отношения говорящего лица

к действительности посредством интонаций модальной окраски, осуществляемое посредством тех же интонаций эмоционально-волевое воздействие говорящего на слушателя и эмоционально-волевая реакция его на те или иные факты, явления действительности — все это обнаруживается в разнообразии конкретно-языковых форм (или типов) предложений современного русского языка. Их выделение, разграничение, грамматическая характеристика, выяснение качественных различий между разными типами, изучение взаимодействий отдельных типов, исследование путей развития форм предложения в разговорной и книжно-письменной речи — важные задачи синтаксиса русского языка

III

Сложность и конструктивная спаянность способов взаимодействия интонационных и формально-грамматических признаков в образовании разных типов предложения не позволяет механически противопоставлять предложение как формально-грамматическое единство фразе как интонационно-смысловой единице неопределенного и очень пестрого грамматического состава

Во многих западноевропейских и некоторых наших отечественных синтаксических концепциях основной единицей речевого общения признается не предложение, а фраза, противопоставляемая предложению как расчлененному, грамматически двусоставному предикативному выражению суждения. Фраза в таком понимании — это любая обособленная и более или менее замкнутая по смыслу и интонации единица высказывания. Высказыванием же является и простое утверждение *да*, и замечание — *Прекрасная погода сегодня*, и роман в нескольких томах[22]. Следовательно, высказывание может состоять из одной фразы и из очень большого количества фраз. Фраза как элементарная, более или менее самостоятельная единица высказывания лишена собственно грамматической характеристики.

Итак, под фразой понимается минимальная интонационно-смысловая коммуникативная единица «высказывания», связной речи. Связная речь расчленяется на отрезки различной степени законченности. Единицы этого членения всегда представляют собой величины смысловые и в то же время организованные фонетически Высшей ступенью этого членения и признается фраза как основная коммуникативная единица языка, смысловая целостность которой выражена ритмо-мелодическими средствами К фразам относятся и эллиптические высказывания в составе беглой диалогической речи, и сложные предложения, и все типы нерасчлененных эмоционально-волевых изъявлений. Из фраз обычно выделяются в качестве предложений лишь те интеллектуальные сообщения, которые подводятся под формально-логическую схему суждения По определению С. О Карцевского, одного из представителей так называемой социологической школы Ф. де Соссюра, предложение — это определенная грамматическая структура, которая характеризуется наличием предиката Предикат же есть «личное определяющее», т е такое, в котором указывается отношение к лицу, а «абсолютное определяемое при предикате называется подлежащим (или субъектом)»[23].

---

[22] См · V. Skalička, Promluva jako linguisticky pojem, «Slovo a slovesnost» Praha, 1937, č 3, стр 163—166, E Paulíny, La phrase et l'énonciation, «Recueil linguistique de Bratislava», vol I, Bratislava, 1948, стр 59—66

[23] См.: S. Karcevski, Sur la parataxe et la syntaxe en russe, «Cahiers Ferdinand de Saussure, 7, Genève, 1948, стр 33, С О Карцевский Повторительный курс русского языка, М —Л , ГИЗ, 1928, стр 33—34

Таким образом, предложениями объявляются только такие словосочетания (или «синтагмы»), в которых имеется предикат или его инфинитивный эквивалент *Парус белеет, Приближается зима; Учиться всегда пригодится, Дом был старый, Он здесь врачом, Гулять было приятно, Дверь оказалась запертой* и т. п. «Предложение» играет очень важную роль в нашей речи, особенно интеллектуальной. Во многих случаях даже фразы эмоциональной речи представляют собою предложения, видоизмененные под влиянием чувств. Например, фраза *Быть бычку на веревочке* синонимична предложению *Будет бычок на веревочке.* Фраза, не членимая на субъект и предикат, распадается на слова, соединенные между собою по законам грамматики и объединяемые общей интонацией.

Так с разными вариациями и в разных вариантах распространяется «теория», согласно которой в синтаксисе должна изучаться, с одной стороны, фраза как категория интонационно-семантическая и, с другой стороны, предложение как единство формально-грамматическое, как «предикативная синтагма», как «предикативное словосочетание». У нас эта точка зрения, правда вполне своеобразно, была представлена в синтаксических работах акад. Л В Щербы, проф. А. М Пешковского и развивается в настоящее время (с некоторыми видоизменениями) в учебных пособиях Л. А. Булаховского.

А. М. Пешковский противопоставлял предложение, как собственно-синтаксическое или формально-грамматическое единство, имеющее форму сказуемости, фразе как единству интонационно-смысловому. По словам этого ученого, «. .понятия фразы и предложения . оказываются в довольно сложных и запутанных отношениях друг с другом»[24] Так, все так называемые «сложные предложения», по мнению А М. Пешковского, принадлежат к фразам и должны рассматриваться как «единства ритмо-мелодические». Анализ фраз как синтаксически сложных, цельных грамматических единств выводится за пределы «формальной грамматики». На этой почве возникает механическое переплетение понятий фразы и предложения «Если мы условимся,— писал А. М. Пешковский,— называть всякое ритмо-мелодическое единство, выражающее законченную мысль, „фразой“, причем в это понятие не включим абсолютно никаких собственно-формальных признаков, а с другой стороны, всякое собственно-формальное единство, выражающее законченную мысль,— „предложением“, не включив в него абсолютно никаких ритмо-мелодических признаков, то соотношение между этими двумя понятиями установится чрезвычайно простое и ясное: так называемое „простое предложение“ будет „односоставной фразой“, а так называемое „сложное предложение“ — „двусоставной“ или „многосоставной фразой“, причем под отдельным „составом“ будет разуметься именно то, что выше названо „предложением“ (термины „односоставный“ и „многосоставный“ приходится употреблять только из-за неуклюжести терминов „однопредложенский“ и „многопредложенский“)»[25]. Таким образом, включение в систему синтаксиса термина «фраза» фактически, кроме путаницы основных понятий и кроме механического рассечения разных структурных признаков предложений, приводит также к исключению из сферы структурно-грамматического изучения, с одной стороны, внутреннего синтаксического единства сложных предложений, а с другой стороны, всего многообразия типов простых предложений. Ведь то, что выводится за рамки «предложения» и что относится только к «фразе» или «фразам», синтаксистами этого направления обычно рассматривается или с чисто фонетической, интонационно-мелодической, или с своеобразной семантико-психо-

[24] А М. Пешковский, указ. соч, стр. 411.

[25] А М Пешковский, Научные достижения русской учебной литературы в области общих вопросов синтаксиса, Прага, 1931, стр 5—7.

логической точки зрения (особенно, если «фраза» не может быть сведена к «предложению»).

К каким противоречиям и неясностям приводит использование понятия фразы для описания типов предложений в живом славянском языке, можно видеть по «Курсу современного украинского литературного языка». Здесь тоже выступает фраза как самая общая, основная единица языкового общения. Термин «фраза» применяется для обозначения ритмо-мелодического целого, которое любыми синтаксическими способами выражает законченную мысль. «Следовательно, с этой точки зрения, — читаем в «Курсе современного украинского литературного языка», — фразой будет всякое самостоятельное предложение, а также и эквиваленты предложения»[26]. Эквивалентами предложений тут называются фразы, образованные из слов или словосочетаний, «в которых не выявлены и практически не могут быть выявлены ни подлежащее, ни сказуемое, что не препятствует этим словам или словосочетаниям концентрировать в себе, высказывать содержание целых предложений: «*Спасибі* вам за науку»... «*Ні*»... «*Цур їй!*»[27]. Под понятие же предложения здесь подводятся лишь такие коммуникативные единицы, в которых словесно выражены «... носитель признака и признак, приписываемый ему во времени и наклонении. Грамматическим выразителем первого чаще всего является именительный падеж имени или какое-либо другое слово (член предложения), которое выступает в функции имени в именительном падеже... Типичным грамматическим выразителем второго является личная форма глагола, как форма, которая обладает четкими признаками времени и наклонения...»[28]. Таким образом, термин «предложение» здесь применяется лишь к глагольным и глагольно-именным двучленным предложениям. Разного рода именные («номинативные») односоставные предложения относятся к эквивалентам предложений. «Можно сказать, что слово, например, *пожар*, прочитанное в словаре, не является предложением, а крик человека, увидевшего огонь: „Пожар!“ — является эквивалентом предложения, потому что мы мыслим *пожар* во времени и наклонении, невзирая на отсутствие глагола и трудность его подстановки»[29]. Впрочем, в «Курсе современного украинского литературного языка», кроме эквивалентов предложения, фигурируют еще «недоразвитые» предложения. Сюда относятся так называемые номинативные предложения, состоящие из именительного бытийного (вроде: *Ночь*, *Тишина*, *Море* и т. п.). Такое распыление категории предложения, естественно, приводит к отказу от определения предложения. По словам авторов «Курса современного украинского литературного языка», все многообразие структурных типов речевых высказываний «...подвести под один тип, под одно определение было бы напрасной затеей. Но можно говорить о существовании одного о с н о в н о г о типа предложения, который представляется предложением как таковым, и о том, что все другие типы предложений воспринимаются на фоне этого основного типа как разновидности его или как некоторые отклонения от него»[30].

Таким образом, введение в область синтаксиса понятия «фразы» чаще всего служит поводом к отказу от собственно синтаксического анализа многочисленных видов речевых высказываний. Это разнообразие форм и типов предложения побуждало некоторых буржуазных языковедов вообще отказываться от их грамматической характеристики. Так, известный

[26] «Курс современного украинского литературного языка», т. II, стр. 8.
[27] Там же, стр. 73.
[28] Там же, стр. 9.
[29] Там же.
[30] Там же, стр. 8.

датский лингвист О. Есперсен утверждал, что «предложение является целиком понятийной категорией (a purely notional category): от слова или группы слов не требуется никакой специальной грамматической формы для того, чтобы их можно было назвать предложением»[31]. А структуралист Ельмслев в своей общей или универсальной грамматике вообще обходится без категории предложения и считает это преимуществом своей «теории»[32].

IV

Многообразие типов предложений в русском языке обнаруживается в специфических особенностях их структуры, их состава. В двусоставных или двучленных предложениях легко выделяются соотносительные члены, связанные друг с другом предикативными отношениями. Например: «*Он порча, он чума, он язва* здешних мест!» (Крылов, Кот и Повар): «*Уста жуют*» (Пушкин, Евгений Онегин); «*Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел...*» (Чехов, Попрыгунья).

Соотносительные члены предложения, связанные предикативными отношениями,— это подлежащее, выраженное формой именительного падежа существительного или местоимения (а также субстантивированным словом), и сказуемое, выраженное личной формой глагола, краткой формой причастия, прилагательного или другими морфологическими средствами.

Члены предложения — это синтаксические категории, возникающие в предложении на основе форм слов и форм словосочетания и отражающие отношения между структурными элементами предложения. Между частями речи и членами предложения есть связь и даже взаимодействие, но нет параллелизма. Синтаксическая сущность слова или неделимого словосочетания как члена предложения определяется той функцией, которую несут они в строе предложения.

В строе предложения одна и та же форма слова, в зависимости от ее отношения к другим словам, может выполнять функции разных членов предложения. Осмыслить целиком эти функции в плане разных типов словосочетания не всегда оказывается возможным. Словосочетания, вступая в строй предложения, подвергаются здесь преобразованиям. Они группируются около основных конструктивных центров предложения, т. е. вокруг его предикативного ядра. Например, в предложении *Этот человек — с умом* сочетание *с умом* выступает в роли сказуемого. Его синтаксическим эквивалентом является краткая форма прилагательного *умен*. Предикативная функция этого выражения может быть непосредственно выведена из атрибутивной: *человек с умом*. Однако в строе предложения *Человек с умом не пропадет* словосочетание *человек с умом* с семантической точки зрения неразложимо и в целом выполняет функцию подлежащего. Одно слово *человек* в роли подлежащего само по себе слишком абстрактно и неопределенно (ср. *Умный человек не пропадет* и *Человек умный не пропадет*). Но ср. индивидуализацию слова *человек* посредством указательного местоимения *этот* и обособления сочетания *с умом* в предложении: *Этот человек, с умом, с талантом, с большими страстями, прожил яркую, интересную жизнь*. В предложении *С умом задумано, а без ума сделано* сочетание *с умом* служит для характеристики действия и выступает уже не как определение, а как так называемое обстоятельство образа действия при сказуемом. Его синонимическим эквивалентом является

[31] O. Jespersen, The philosophy of grammar, London, Allen and Unwin; New York, Holt, 1929, стр. 308.

[32] См. L. Hjelmslev, Principes de grammaire générale, Kφbenhavn, 1928.

наречие — *умно*. Наконец, в предложении *Сердце с умом не в ладу* (которое является видоизменением известного грибоедовского афоризма «Ум с сердцем не в ладу») *с умом* выступает в роли дополнения, так как оно здесь обозначает соучастника действия, т. е. объект, сопоставляемый с субъектом состояния, с подлежащим *сердце*.

С другой стороны, в разговорно-диалогической речи есть предложения, представляющие собой односложную реплику яркой модальной окраски, экспрессивную оценку сообщения собеседника (например: *Конечно! Еще бы! Как не так! Разве?* и т. п.). Такого рода нерасчлененные экспрессивные однословные предложения, естественно, не обрастают другими словами или членами, так как формы синтаксической связи здесь не имеют для себя даже морфологической опоры. По отношению к таким предложениям вообще неприменимо понятие «члены предложения».

Грамматическое членение двусоставного (двучленного) предложения в русском языке определяется (и даже предопределяется) устойчивостью так называемого номинативного строя предложения в семье индоевропейских языков. Подлежащее имеет вполне определенную и строго стабильную форму выражения: оно может быть выражено именительным падежом существительного и предметно-личного местоимения (или субстантивированным «эквивалентом» имени — словом или целым словосочетанием, например, у Гоголя в «Сорочинской ярмарке»: «Слышал ли ты, что поговаривают в народе? — продолжал *с шишкой на лбу*, наводя на него искоса свои угрюмые очи»), количественно-именным сочетанием, инфинитивом (*Грачи прилетели*; *Куда ты идешь? Обидеть, обмануть его было бы и грешно, и жалко*).

С формально-грамматической точки зрения «...название предмета в предложении (разумеется, данное в независимой форме, т. е. в именительном падеже.— *В. В.*) будет всегда грамматическим подлежащим в отношении к сочетавшемуся с ним глаголу или прилагательному»[33]. Форма сказуемого (там, где это морфологически возможно) уподобляется форме подлежащего или координируется с ней. Морфологические способы выражения сказуемого в русском языке очень разнообразны. В роли сказуемого могут выступать не только глаголы в личных формах, а также в форме инфинитива, причастия, в единичных случаях — деепричастия, но и прилагательное полное и краткое, местоимение, числительное, существительное в именительном и косвенных падежах с предлогом и без предлога, наречие, междометие. Сказуемое бывает простым и составным или сложным; в роли сказуемого нередко выступают целые фразеологические обороты, устойчивые словосочетания, иногда даже сложные предложения, например, в приписываемом А. П. Чехову афоризме: «Любовь — это когда кажется то, чего нет». (Ср. в повести Ю. Трифонова «Студенты»: «Где-то у старого писателя: „Любовь — это когда хочется то, чего нет и не бывает“. Так было всегда — Монтекки и Капулетти, мадам Бовари, Анна Каренина. Для них любовь была жизнью, а жизнь — мучительством. И трагизм их страданий — в том, что, борясь за свою любовь, они боролись за жизнь. Так было прежде, в глухие времена. „Любовь — когда хочется того, чего нет, но что обязательно будет“»). Несмотря на многообразие форм выражения сказуемого, формально-грамматический механизм его нахождения не очень сложен.

Языковая форма предложения не определяется всецело его грамматическим составом — отношением подлежащего и сказуемого. Фактически предложение существует как определенное единство своего состава, интонации и порядка слов. Воспользуемся простейшим примером для обоснования и развития этой мысли. Предложение *Поезд пришел* таит в себе возможности разных осмыслений, если изменять порядок слов и варьировать

[33] А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 25.

так называемое логическое ударение. Так, *Поезд* ***пришёл*** (с ударением на грамматическом сказуемом) — это сообщение о приходе поезда; ***Пóезд*** *пришел* (с ударением на подлежащем) — это сообщение о том, что пришел именно поезд. При перестановке слов выступают новые оттенки: *Пришел* ***пóезд*** (какой-то поезд, о котором не было речи, которого не ждали); ***Пришёл*** *поезд* (тот самый, который нужен, которого ждали). (Пример заимствован мною из доклада покойного доцента А. В. Бельского об интонации как средстве детерминирования и предицирования в современном русском языке.) Само собой разумеется, что смысловые возможности данной грамматической конструкции неизмеримо возрастают, если воспользоваться при ее звуковой реализации всем многообразием интонационно-синтаксических ресурсов русского языка.

Разнообразие возможных смысловых применений одного и того же «формально-грамматического предложения», обусловленных порядком слов, ударением и интонацией, у нас еще не было предметом широкого и всестороннего синтаксического исследования. Обычно все эти вопросы относятся к стилистике, которая еще не успела установиться как научная дисциплина. Лишь так называемое логическое ударение и достигаемые его перемещением смысловые эффекты интересовали отдельных наших синтаксистов. Логическое ударение рассматривается некоторыми из них как одно из средств выражения и выделения предиката (сказуемого), как способ разрешения конфликта между экспрессивной задачей сообщения и устоявшимися схемами формально-грамматического предложения.

Сущность логического ударения заключается в подчеркивании того или иного слова или словосочетания в данном предложении. Обычно говорится, что выделенный ударением член предложения становится приписываемым или приписанным остальной части предложения как предикат в логическом или психологическом смысле этого термина (по устаревшей терминологии, «психологическое сказуемое» или «психологический предикат»). Согласно такой точке зрения, чаще всего опирающейся на психологические или логические теории предложения, любое слово предложения (или целое словосочетание — при его интонационном подчеркивании), несущее на себе логическое ударение, может стать предикатом, сказуемым (иногда выражаются осторожнее и точнее: выражением логического предиката). Иными словами, утверждается, что при соответствующем использовании интонационных средств логический (или психологический) предикат может быть выражен любым словом предложения. С этим связывается возможность выражения ряда мыслей, иногда совершенно различных, при посредстве одного и того же лексико-синтаксического состава предложения. При перемещении логического ударения одно и то же «формально-грамматическое предложение» по-разному членится на части, различающиеся между собой по степени важности, «новизны» сообщения: одна из таких частей выражает данное, уже известное содержание мысли, другая высказывает новое, открываемое и сообщаемое в речи. Выделяемая ударением часть предложения становится важнейшим в данной связи и в данной ситуации его членом, словесным выражением логического или психологического предиката («психологическим сказуемым»), а все остальные члены предложения должны выражать по отношению к этому предикату субъект (или подлежащее). С этой точки зрения грамматическое учение о главных и второстепенных членах предложения устанавливает лишь внешнюю, формальную схему строения предложения, так как в одном и том же предложении находят разное выражение субъекты и предикаты разных суждений. Так, например, указывается, что благодаря ударению выражением предиката может стать дополнение с его атрибутами.

Совершенно ясно, что такого рода рассуждения соединяются с опирающимися на те или иные философские предпосылки анализом отношения суждения и предложения. До сих пор эти рассуждения чаще всего приводили к терминологической путанице и к противопоставлению грамматического и логического (а иногда говорят: смыслового) членения предложения. Между тем вопрос о типических способах смыслового использования одного и того же формально-грамматического предложения очень важен для синтаксиса, особенно для синтаксиса стилистического. Изучение типизованных форм применения одной и той же синтаксической схемы предложения для выражения разного содержания — интересная задача стилистики национального языка.

Есть заслуживающие внимания попытки освободить изучение соответствующего круга явлений от голой формально-логической интерпретации. Так, чешский лингвист В. Матезиус [34] предлагал различать общее формально-грамматическое, структурное членение предложения и его «актуальное членение», выражающее непосредственный, конкретный смысл данного предложения в соответствующем контексте или ситуации. Если основными элементами формального членения являются подлежащее и сказуемое (грамматический субъект и грамматический предикат, иногда, как у Шахматова, «группа подлежащего» и «группа сказуемого»), то при актуальном членении следует прежде всего выделять «исходный пункт» (vychodiště věty) или «основу» (základ) высказывания, т. е. то, что в данной ситуации, в данных условиях общения, речи известно или по крайней мере очевидно и из чего говорящий исходит, и «ядро высказывания», т. е. то, что говорящий высказывает в связи с «исходным пунктом» или по отношению к нему. Связи одного и того же по своему формальному строению предложения с конкретной ситуацией и контекстом могут быть очень различными. Следовательно, в зависимости от различия возможных ситуаций и контекста актуальное членение предложения может быть очень разнообразным. Очень часто эти различия в осмыслении одного и того же предложения выражаются в вариациях порядка слов, а соответственно с этим и порядка, в котором следуют друг за другом основа и ядро высказывания. В повествовательном предложении обычен порядок слов, начинающийся с изложения основы (т. е. того, что известно) и направляющийся к ядру высказывания, этот порядок можно назвать объективным. Но когда — вследствие специфической эмоциональной мотивировки (обусловленной взволнованностью, внутренней заинтересованностью говорящего, его желанием подчеркнуть что-нибудь и т. п.) — возникает необходимость грамматически выразить эмоцию, отношение говорящего к предмету сообщения, тогда образуется субъективный порядок слов. В этом случае говорящий начинает с ядра высказывания и только потом добавляет его основу, раскрывая лишь в самом конце речи связь с ситуацией или контекстом. Такой субъективный порядок словорасположения, размещения ядра высказывания и его основы является нормальным в предложениях вопросительных, побудительных и восклицательных. Актуальное членение является основным фактором, определяющим порядок слов в предложении, а также его членение на интонационно-смысловые группы.

---

[34] См. V. Mathesius. O tak zvaném aktuálním členění větném (сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947, стр. 234—242), Rozpor mezi aktuálním členěním souvetí a jeho organickou stavbou (там же, стр. 360—366), Základní funkce českého pořadku slov (там же, стр. 327—352). Ср. его же, Řec a sloh, сб. «Čtení o jazyce a poesii», sv. I, Praha, 1942, стр. 11—102. См. также статью О. Лешки «К вопросу о структурализме» («Вопросы языкознания», 1953, № 5, стр. 97—98).

Необходимо отметить, что сходные мысли по поводу смыслового членения предложения не раз высказывались и нашими языковедами (например, А. В. Добиашем, акад Л. В. Щербой). Едва ли не последней по времени была попытка К. Г. Крушельницкой рассмотреть смысловое соотношение частей предложения с точки зрения наличия в них «данного» и «нового»[35]. Согласно этому взгляду, различная смысловая нагрузка членов предложения, выражаемая порядком слов, логическим ударением и т. п , заключается в том, что они обозначают либо нечто данное, известное для слушающего, служа исходным пунктом высказывания, либо же нечто, сообщаемое как новое, основное в высказывании; новое — это то, ради чего и делается сообщение,— его смысл, цель. Состав данного в устной речи определяется ситуацией, в письменной речи — контекстом Но часто предмет, явление, даже и не будучи упомянутыми в контексте, представляются автору данными — в силу своей связи с другими, уже упомянутыми фактами или в силу своей общеизвестности.

Как данное, так и новое может выражаться различными членами предложения, в распространенных предложениях — целыми группами слов, в сложных — целыми предложениями.

Основным принципом обычного словорасположения в спокойной деловой речи является постановка на первое место члена предложения (или группы их), выражающего данное, а за ним того, что сообщается как новое Однако в языке сплошь и рядом имеют место отклонения от такого словорасположения, суть которых состоит в том, что новое предшествует данному. Этим достигается более сильное выделение нового, следовательно, большая выразительность речи. Такой порядок слов особенно характерен для эмоционально окрашенной речи, а также применяется как эмфатический прием в стилистических целях. Таким эмфатическим порядком слов может быть не только обратный, но и прямой, если подлежащее выражает не данное, а новое. Ср. *Несчастье случилось у них* и *У них случилось несчастье* и т. п.

Все относящиеся сюда вопросы очень интересны для грамматики Исследование их несомненно будет содействовать более глубокому пониманию всех экспрессивно-выразительных синтаксических средств русского языка. Роль порядка слов как способа различения грамматических подлежащего и сказуемого или как средства выделения подлежащего выступает лишь в строго определенных типах предложения в предложениях тождества, в предложениях с инфинитивом и предикативным наречием или формой существительного в именительном падеже (например *Мечта моего сына — стать художником Стать художником — его затаенная мечта*) и некоторых других.

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения противопоставляются второстепенным определению, дополнению и обстоятельству Это противопоставление иногда принимает довольно своеобразный характер. Так, при логической интерпретации предложения у некоторых синтаксистов возникает мысль, что второстепенные члены предложения нельзя сопоставлять с главными, так как они выделяются не в результате членения предложения, а в результате членения частей предложения, а именно «группы подлежащего» и «группы сказуемого», соответствующих субъекту и предикату высказывания (например *Побелевшие от инея деревья//стояли по обеим сторонам дороги*) Отсюда поспешно делается вывод, что деление самого предложения на главные и второстепенные

---

[35] См кандидатскую диссертацию К Г Крушельницкой, а также ее статью «Смысловая функция порядка слов в немецком языке (сравнительно с русским)» («Ученые записки Военного ин-та иностр языков», 5, 1948, стр 21—36)

члены неправомерно, что предложение как таковое не имеет второстепенных членов, что второстепенные члены образуются лишь при расчленении основных частей предложения — группы подлежащего и группы сказуемого.

Оторванность этой точки зрения от живого разнообразия конкретно-языковых синтаксических явлений состоит, между прочим, в том, что она не учитывает широкого использования второстепенных членов предложения в обособленном употреблении, т. е. именно в тех случаях, когда их нельзя включить ни в группу подлежащего, ни в группу сказуемого. Например: «Народ, *с Петей в середине*, бросился к балкону» (Л. Толстой, Война и мир). Для понимания соотношения между главными и второстепенными членами предложения процессы обособления второстепенных членов посредством пауз, характерной интонации и более сильного ударения очень показательны. Обособление придает второстепенному члену относительно самостоятельное положение в предложении. Некоторые грамматисты видят в этом признак так называемой полупредикативности обособленных членов предложения и доказательство близости их к «придаточным предложениям».

Обособляются чаще всего те второстепенные члены предложения, которые не могут быть связаны или намеренно не связываются с соседними словами, нагружены зависимыми от них пояснительными словами, значительно отдалены от слов, ими определяемых, или относятся к числу так называемых слабоуправляемых членов.

Обособленные члены и обособленные конструкции представляют собой своеобразные смысловые синтаксические единства внутри предложения, выделяемые средствами инверсии и интонации,— с целью придать более сильную выразительность содержащемуся в них понятию, образу, характеристике. Обособленные члены предложения обычно наполнены живой экспрессией, подчеркиваются логически или эмоционально; но от этого они не перестают быть второстепенными членами в грамматическом смысле. Хотя обособленный член предложения интонационно ставится в своеобразные синтаксические отношения к остальной — и вместе с тем основной — части предложения, хотя он приобретает относительно больший синтаксический вес по сравнению с соответствующим членом предложения, не подвергшимся обособлению, но он не перестает быть в структуре целого предложения вторичным и второстепенным его членом, синтаксически связанным с его основным предикативным ядром.

В то же время такие второстепенные члены предложения, как обстоятельства времени, пространства, причины, цели, уступки и условия, могут непосредственно относиться ко всей остальной части предложения в целом, следовательно, не связываются непосредственно ни с группой подлежащего, ни с группой сказуемого. Например: «*Кругом* молчанье и покой» (Лермонтов, Беглец); «*Уже поздно ночью* они вместе вышли на улицу» (Л. Толстой, Война и мир); «*Тут* она заплакала и ушла от меня» (Пушкин, Капитанская дочка); «*Несмотря на паклю*, вода скоро появилась у нас под ногами» (Тургенев, Льгов) и т. п.

Во второстепенных членах предложения как бы синтезируются, обобщаются по функции те разнообразные грамматические отношения, которые обнаруживаются между словами в строе словосочетания. В структуре предложения словосочетания соединяются и выстраиваются в строго определенной иерархической перспективе. Служа для пояснения главных членов предложения — подлежащего и сказуемого, второстепенные члены могут в свою очередь определяться и дополняться поясняющими их самих второстепенными членами. Например: «Сквозь *волнистые* туманы Пробирается луна, На *печальные* поляны Льет *печально* свет она» (Пушкин,

Зимняя дорога); «В томленьях *грусти безнадежной*, В тревогах *шумной суеты* Звучал мне долго голос нежный, И снились милые черты» (Пушкин, К Керн); «Устав *от долгих бурь*, я вовсе не внимал Жужжанью *дальному упреков и похвал*» (Пушкин, Желание славы).

Наиболее глубоко и всесторонне развиваются процессы обобщения в системе определительных или атрибутивных конструкций. Поэтому подведение всего многообразия связей этого типа под категорию «определения» меньше всего вызывает затруднений и даже возражений. Правда, и тут не всегда грани между определением и дополнением, а также обстоятельством бывают ясными и точно очерченными. Ср. разную роль в предложении второго члена таких, например, словосочетаний: *полотенце для рук* (ср. *ручное полотенце*), *таз для умыванья*, *кольцо для штор*, *ножик для разрезания бумаг*, *стакан для лекарства*, *ключ от комода*, *лекарство от головной боли*, *яблоня в цвету*, *певица с хорошим голосом* и т. п.

Вместе с тем в строе распространенного предложения даже качественные определения, выраженные прилагательными, могут приобретать обстоятельственный оттенок. Так, нередко отмечаются оттенки обстоятельственного значения в определительных словах, примыкающих в составе предложения к личной форме глагола. Совершенно ясно, что в этом случае в термин «обстоятельственное определение» вкладывается совсем другое значение по сравнению с обстоятельственно-определительными словами в словосочетаниях типа: *домик в саду*, *беседка у реки*, *крестьянин от сохи* и т. п.; «обстоятельственный» понимается как синонимичный или соотносительный по функции, а отчасти и по характеру синтаксической связи с так называемыми обстоятельствами, зависящими от глагола. Такого рода обстоятельственное определение по смыслу связывается со сказуемым и в силу этого обозначает признак с оттенком образа действия, с оттенком причинным, условным, уступительным, а иногда даже не столько признак предмета, сколько его состояние, которым сопровождается действие. Обстоятельственное определение в известной степени эквивалентно деепричастному обороту при глаголе. Например: «*Довольный праздничным обедом*, Сосед сопит перед соседом» (Пушкин, Евгений Онегин); ср.: «...ласково переругиваясь, *веселые, с улыбками на потных лицах*, мужики подходили к нему и тесно окружали его» (Горький, Фома Гордеев).

И все же синтаксические признаки второстепенных членов предложения складываются и развиваются на базе твердо установившихся морфологических категорий и их функционально-синтаксического усложнения в системе разных типов словосочетаний. Именно так установилась категория определения, морфологическим ядром которой явились качественные и относительные прилагательные. Не менее определенны морфологические основы категории дополнения: формы и функции косвенных падежей имен существительных и местоимений в тех случаях, когда предметное значение имени не поглощается оттенками определительного и обстоятельственного характера и не растворяется в них. Морфологическую базу синтаксической категории обстоятельства составляют наречия и функционально близкие к ним формы косвенных падежей существительных (обычно с предлогом), когда в них закрепляются значения обстоятельственных отношений. Но функционально-синтаксические оттенки, облекающие морфологическое ядро категорий определения, дополнения и особенно обстоятельства, оказываются настолько сложными, а иногда и недифференцированными и внутренне противоречивыми, что они очень часто выходят за рамки этих категорий (ср., например, функции так называемого «объектного» инфинитива: *рассчитывал сегодня закончить ра-*

боту; отрадно вспомнить и т. д.) или создают ряд переходных, смешанных типов.

Таким образом, при зыбкости трех категорий второстепенных членов предложения — определения, дополнения и обстоятельства — очень важны наблюдения над случаями переходными и «синкретическими» (т. е. совмещающими значения разных членов предложения). Особенно много таких случаев в кругу обстоятельств. А. А. Шахматов недаром различал в кругу обстоятельств обстоятельство определяющее, обстоятельство дополняющее и обстоятельство сопутствующее. Но не подлежит сомнению, что и в сфере тех дополнений, которые А. А. Шахматов в своем «Синтаксисе русского языка» называл релятивными, современная школьная практика многие отнесла бы к обстоятельствам (а иногда и к определениям). Например: «У нас есть общество, и тайные собрания *По четвергам*» (Грибоедов, Горе от ума); ср.: «И жену он сыскал *по себе*» (Тургенев, Однодворец Овсяников); «Соседушка, я сыт *по горло*» (Крылов, Демьянова уха); «Кутузов был доволен успехом дня *сверх ожидания*» (Л. Толстой, Война и мир); «Старый ты человек, а глуп, прямо сказать, *до святости*» (Андреев, Жили-были); «Коляска помчалась *во все ноги лошадей*» (Л. Толстой, Война и мир)[36].

Вообще признаки, которые кладутся в основу категории обстоятельства, двойственны: с одной стороны, сюда относятся наречия и слова наречного типа, выражающие отношения, а с другой стороны, сюда же включаются формы косвенных падежей имен существительных из определенных семантических разрядов, чаще всего в сочетании с предлогами (или в творительном, а также в винительном падеже без предлогов), если они несут обстоятельственную функцию (т. е. могут быть ответом на вопросы обстоятельств: где, когда, куда, зачем и т. п.). Ср. «Стоял богинин храм *меж множества столпов*» (Богданович, Душенька); «Но часто похвалы Бывают *меж людей* опаснее хулы» (там же); «Сидит невеста *меж подруг*» (Лермонтов, Демон); «*В родине моей Между пустынных рыбарей* Наука дивная таится» (Пушкин, Руслан и Людмила); «Ты шагом едешь *меж полей*» (там же).

Несомненно, что эти одинаковые и однотипные конструкции с предлогами *меж*, *между* и формой родительного падежа выступают в качестве разных членов предложения (обстоятельств и дополнений) только в зависимости от лексических значений соответствующих слов. Следовательно, выделение трех второстепенных «членов предложения» и распределение по их рубрикам всего многообразия живых синтаксических связей слов в составе предложения связано с искусственной схематизацией структуры предложения и далеко не всегда основано на собственно грамматических принципах.

Таким образом, традиционное учение о второстепенных членах предложения нуждается в коренном пересмотре. Этот пересмотр требует углубленного изучения всех видов синтаксических связей между словами как в формах словосочетаний, так и в структуре предложений. Дело в том, что в строе предложения синтаксические связи между словами, характерные для основных типов словосочетаний, расширяются и пополняются иными видами и типами связей. Особенно многообразны связи, возникающие и развивающиеся при предикативных отношениях. Поэтому общепризнано, что правила образования словосочетаний не охватывают всей грамматической схемы предложения и всех возможных ее осложнений. В числе правил, по которым составляются предложения, рядом с правилами образования словосочетаний находятся правила об отношениях

[36] См. А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 358—392.

членов предложения, правила о построении сложных или составных членов предложения, правила об осложнении предложения обособленными членами, вводными, модальными словами и частицами и т. п.

В речевой общественной практике разговорного обмена мыслями, в связи с конкретной ситуацией, при наличии мимики и жестов как вспомогательных выразительных средств, при большой экспрессивной силе интонаций формируются такие структурные типы предложений, в которых отсутствует словесное выражение каких-нибудь отдельных членов, ясных из контекста и ситуации. Например: «Нет ни одной души в прихожей. *Он взалу; дальше: никого*» (Пушкин, Евгений Онегин); «Осип. *Куда тут*? Мишка. *Сюда, дядюшка, сюда*» (Гоголь, Ревизор); «Хлестаков. *Как, только два блюда*? Слуга. *Только-с*» (там же); «*А вы на каком факультете*? — спросила она у студента.— *На медицинском*» (Чехов, Именины); «— *Горячей воды!* — говорит он ей на ходу.— *И чистый халат*, а этот сегодня же выстираете» (Панова, Спутники).

Такие предложения, в словесной ткани которых «не хватает» одного или нескольких членов, обычно называются неполными. Однако чаще *всего такие предложения не могут быть грамматически пополнены без* нарушения синтаксических норм современного русского языка[37]. Это — своеобразные типизированные формы предложений разговорной речи, их особые структурные типы, которые вовсе не представляют собой нарушения норм «полных» предложений, требуемых абстрактно представляемой грамматической схемой. Эти живые структурные типы предложений разговорной, по преимуществу диалогической речи, следует изучать не с точки зрения их предполагаемой формальной недостаточности или неполноты, а со стороны их собственных, специфических для них структурных свойств и функций. При таком анализе, при учете всех средств выражения, ситуации и контекста, при учете структурно-грамматических особенностей так называемых неполных предложений, почти каждое из них окажется «полным», т. е. адекватным своему назначению и соответствующим образом выполняющим свою коммуникативную функцию.

Изучение этих форм предложений помогает еще лучше понять качественные отличия предложений от словосочетаний и содействует более глубокому и всестороннему пониманию вопроса о членах предложения и о их структурной роли. Необходимы углубленные исследования структуры простого предложения, синтаксических соотношений и взаимоотношений между членами предложения, посвященные детальному расчленению и грамматической характеристике тех форм синтаксической связи, которые подводятся под категории определения, дополнения и обстоятельства, а также описанию переходных или «синкретических» случаев. Этим будет подготовлена научная база для углубленного, всестороннего решения вопроса о членах предложения в современном русском языке[38].

---

[37] См. И. А. Попова, Неполные предложения в современном русском языке, «Труды Ин-та языкознания», т. II, М., 1953, стр. 3—136.

[38] Синтаксис простого предложения тесно связан с изучением форм и типов словосочетаний, присущих данному языку. Общие принципы теории словосочетаний на материале русского языка изложены мною в статье «Вопросы изучения словосочетаний», которая печатается в сб. «Материалы Всесоюзного совещания по вопросам описательной грамматики, лексикографии и диалектологии».

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1954

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Е. А. БОКАРЕВ

О КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА

(Применительно к дагестанским языкам)

Вопрос о категории падежа представляет большой теоретический интерес для описательной грамматики. По отношению к целому ряду языков разрешение этого вопроса связано с серьезными разногласиями. Общеизвестна, например, полемика по вопросу о падежах в английском языке. Большую сложность представляет разрешение этого вопроса также в некоторых финно-угорских и иберийско-кавказских языках.

Причиной разногласий по вопросу о падеже является недостаточная разработанность методологических основ описательной грамматики, недостаточно четкое определение самого понятия «падеж», а в связи с этим недостаточная разработанность конкретной методики выявления категории падежа. Более или менее единообразно определяется падеж с точки зрения функциональной как форма имени, выражающая его синтаксические отношения к другим словам[1]. Но с той же функциональной точки зрения определяются аналогичным образом предлог, а также послелог в тех языках, где он существует вместо предлога или наряду с ним.

Понятие «падеж» требует не только функционального определения, но и формально-грамматического, которое исходило бы из структурных особенностей, характерных для того или иного конкретного языка. Вопрос о падежах должен по-разному разрешаться для таких структурно различных языков, как, например, английский, русский или какой-нибудь дагестанский.

*

Для разрешения вопроса о падежах будет поучителен беглый обзор той литературы, которая была посвящена категории падежа. Само собой разумеется, что данная статья не только не может в какой-либо мере дать более или менее полное изложение всей истории вопроса, но даже и показать наиболее яркие ее страницы. Автор ставит перед собой задачу коснуться тех моментов, которые, по его мнению, наиболее существенны для разрешения конкретных вопросов, поставленных в статье.

Термин «падеж» и понятие, связанное с ним, восходит к античной науке[2]. Но вначале он употреблялся в значении, совершенно отличном

---

[1] Ср. близкое по существу и по форме определение В. В. Виноградова: «Падеж — это форма имени, выражающая его отношение к другим словам в речи» («Русский язык», М.—Л., Учпедгиз, 1947, стр. 167).

[2] Об античных теориях грамматики см. сб. «Античные теории языка и стиля», под общ. ред. О. М Фрейденберг, М.— Л., Соцэкгиз, 1936 (в частности, вводную статью И. М. Тронского «Проблемы языка в античной науке», стр. 7—28); см. также И. В. Нетушил, Этюды и материалы для научного синтаксиса латинского языка, т. II— О падежах, Харьков, 1885, стр. 1—5.

от современного. Аристотель под названием «падеж» (ptōsis «падение») имел в виду всякого рода изменения как имени, так и глагола, причем падежом называлась не основная, исходная форма слова, а только его производная косвенная форма. В своей «Поэтике» он пишет: «*Падеж* имени или глагола — это обозначение отношений по вопросам „кого", „кому" и т. п.: или — обозначение единства или множества, например „люди" или „человек", или отношений выразительности, например вопрос, приказание: „пришел ли", „иди". Это глагольные падежи, соответствующие этим отношениям»[3]. В другом сочинении «Об истолковании» Аристотель специально останавливается на «глагольных падежах»: «...„он был здоров" и „он будет здоров" — не суть глаголы, а падежи глагола и отличаются от глагола тем, что глагол обозначает собой нынешнее время, а падежи — время до и после нынешнего»[4].

Более поздние грамматисты сузили и уточнили круг употребления слова «падеж». Так, стоики стали уже относить термин «падеж» только к изменению имени, они же включили и именительный падеж в число форм, называвшихся падежом. Причем стоики, этимологизируя этот термин «падеж», рассматривали его как падение имени «...с душевного представления»[5]. Стоикам же принадлежат и названия падежей[6], которые через александрийских, а затем и латинских грамматистов приобрели всеобщее употребление у самых различных народов. Римские грамматисты, заимствовав от греков грамматическую систему в целом, приспособили также и греческую систему падежей к особенностям латинского языка. В результате этого приспособления римские грамматисты пополнили перечень одним падежом, которого в греческом языке не было. Этот падеж не имел вначале особого наименования. Так, Варрон называет его просто casus sextus «шестой падеж». И только у Квинтилиана он получает особое название ablativus.

Понятие падежа, система падежей и связанная с этим специальная терминология постепенно переходят от греков к римлянам и другим народам, приспособляются к различным и разнотипным языкам. Иногда это приспособление оказывается удачным, учитывающим специфические особенности того или иного языка, своеобразие его грамматического строя; иногда же это приспособление носит характер совершенно некритического, слепого подражания.

Древнегреческая система и номенклатура падежей легко могла быть приспособлена к русскому языку, структурно близкому к древнегреческому. В статье «О восьми частях слова», древнейший из списков которой относится к XV—XVI вв., являющейся, по утверждению старых исследователей (И. В. Ягич, В. К. Поржезинский)[7], удачным приспособлением греческой схемы к древнерусскому языку, указывается на следующие пять падежей: «права, родна, виновна, дательна, звательна».

Шестой падеж — творительный — впервые был введен Лаврентием Зизанием в его грамматике 1596 г. Седьмой падеж — сказательный — введен в 1619 г. в знаменитой грамматике Мелетия Смотрицкого, которая, в основном, утвердила грамматическую терминологию, ставшую уже традиционной. Последующие труды сравнительно немногое изменили.

---

[3] Сб. «Античные теории языка и стиля», стр. 63.

[4] Там же, стр. 61.

[5] Там же, стр. 70—71.

[6] Впрочем, И. М. Тронский на 26 стр. указ. статьи допускает, что эти наименования могли быть даны и до стоиков.

[7] См.: В. Поржезинский, К истории русской грамматики и грамматической терминологии, «Сб. статей, посвященных В. О. Ключевскому», М., 1909; И. В. Ягич, Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке (тит. л.: V. Jagič, Codex slovenicus rerum grammaticarum), СПб., 1896.

В частности, надо указать на то, что термин Смотрицкого «сказательный падеж» был заменен М. В. Ломоносовым термином «предложный»[8]. Таким образом, русская наука о языке, исходя из падежной схемы античной грамматики, дала совершенно оригинальную систему, точно отображающую грамматические факты русского языка.

Попытаемся дать суммарную характеристику склонения и системы падежей русского языка. В последнем существует три основных типа склонения имен существительных:

К I типу относится склонение имен существительных мужского рода с нулевым окончанием именительного падежа, а также склонение имен существительных среднего и мужского рода с окончаниями *-о* (*-ё*), *-е*; ко II типу относится склонение существительных женского и мужского рода с окончанием *-а* (*-я*); к III типу относится склонение имен существительных женского рода на мягкий согласный (кроме *j*) и на шипящие с нулевым окончанием именительного падежа. В первых двух типах различаются твердый и мягкий варианты. Можно было бы также указать и на некоторые особенности склонения имен существительных среднего рода на *-мя*, на особенности склонения некоторых единичных слов (например, *путь*), на особенности склонения в зависимости от места ударения в существительном, на особенности склонения одушевленных и неодушевленных существительных, на особенности склонения единственного и множественного числа, наконец, на различные типы склонения других частей речи (прилагательных, числительных, местоимений).

И все же, несмотря на все многообразие типов склонения, в русском языке выявляется единая система падежей, которая становится ясной лишь при сопоставлении различных типов склонения и не может быть понята на материале какого-нибудь одного из этих типов. В самом деле: если мы рассмотрим, например, склонение существительного *дверь*, то в единственном числе мы обнаружим только три различные формы: *дверь*, *двери*, *дверью*. Склонение же этого слова во множественном числе выявит уже пять различных форм: *двери*, *дверей*, *дверям*, *дверями*, (*о*, *на*) *дверях*. Сопоставление форм единственного и множественного числа показывает, что форма *двери* в единственном числе представляет собой грамматический омоним, соответствуя во множественном числе ряду форм: *около двери — около дверей*; *к двери — к дверям*; *о двери — о дверях*. Омонимичность же формы *дверь* в единственном числе или формы *двери* во множественном числе выявится лишь в результате сопоставления этих форм с формами, например, I склонения: *дверь окрашена — стена окрашена*; *дверь окрасили — стену окрасили*. Попытаемся выявить число падежей какого-либо другого слова, не выходя за пределы его собственных падежных форм. Возьмем, например, слово *стол*. В единственном числе оно имеет только пять форм: *стол*, *стола*, *столу*, *столом*, (*о*, *на*) *столе*. Наличие всех шести падежей становится явным только после сопоставления склонения этого слова со склонением, например, имени существительного одушевленного, принадлежащего к тому же типу склонения, например, *отец*: *стол стоит — отец стоит*; *я вижу стол — я вижу отца*. Форма *отца* в свою очередь оказывается омонимичной при ее сопоставлении с формами родительного и винительного падежа слова *стол* (*стола*, *стол*) или слова *стена* (*стены*, *стену*). Таким образом, наличие всех шести падежей русского языка не может быть выявлено мате-

---

[8] Историю русской грамматической теории в древнейший ее период дает, кроме вышеуказанных работ В. К. Поржезинского и И. В. Ягича, капитальный труд С. К. Булича «Очерк истории языкознания в России», т. I (СПб., 1904). Специально о падежах см. у В. В. Виноградова («Русский язык», стр. 168).

риалами ни одного, изолированно взятого слова, а становится очевидным лишь в сопоставлении различных типов склонения.

Обратившись к значениям падежных форм, мы сразу же увидим, что ни один из падежей не имеет единого значения, которое могло бы служить падежным критерием при отнесении той или иной формы к определенному падежу, а следовательно, и критерием при подсчете числа падежей[9]. «Мы привыкли,— говорит А. А. Потебня,— например говорить об одном творительном падеже в русском языке, но на деле этот падеж есть не одна грамматическая категория, а несколько различных, генетически связанных между собою. Всякое особое употребление творительного есть новый падеж, так что собственно у нас несколько падежей, обозначаемых именем творительного... каждое особое значение предлога дает новый падеж»[10]. Вслед за Потебней о возможности такой постановки вопроса говорит А. И. Соболевский: «Сколько падежей? Ответ на этот вопрос не только труден, но прямо невозможен. Если принять за основание звуковую форму имени... мы должны будем сказать, что одни имена... имеют меньше падежей, чем другие ... и что число падежей неопределенно. Если же принять за основание грамматическое значение... мы должны будем насчитывать большое количество падежей... Тогда, например, форма *хлеба* в разных предложениях (*я взял себе хлеба*, *мясо лучше хлеба*, *мягкость — свойство хлеба*) будет представлять три падежа: partitivus, ablativus, possessivus»[11]. Для Соболевского, как и для Потебни, нет категории падежа как единства формы и значения. Рассмотрение грамматической категории падежа у него подменяется раздельным изучением внешних показателей формы и взятых в отрыве от своего материального оформления значений. Падеж — фактически данная в языке категория, представляющая единство содержания и формы, является основой для изучения всех формальных разновидностей падежа (как связанных непосредственно между собой, так и не связанных) и всех семантических разновидностей его употребления (также связанных непосредственно между собой и не связанных). Раздельное изучение способов грамматического выражения и значений, конечно, не только возможно, но и необходимо, но это лишь черновая, предварительная работа по накоплению и систематизации материала, которая не только не снимает вопрос о категории падежа как единстве языковой формы и языкового содержания, но, наоборот, предполагает постановку вопроса об этом единстве, так как лишь понятие грамматической категории падежа дает этому разрозненному материалу определенное место в грамматической системе языка.

Вопрос о падежных значениях и до сего времени нельзя считать изученным в достаточной степени. Поэтому призыв Потебни к их исследованию сохраняет в известной мере свое значение и до наших дней. В своем труде по вопросам языкознания И. В. Сталин специально говорит о важности изучения смысловой стороны языка. «Семантика (семасиология) является одной из важных частей языкознания. Смысловая сторона слов и выражений имеет серьезное значение в деле изучения языка. Поэтому семантике (семасиологии) должно быть обеспечено в языкозна-

[9] Попытки свести различные значения каждого из падежей к одному основному значению, если бы они даже и были осуществимы, представляют собой по существу попытку восстановления гипотетических первоначальных значений падежей.

[10] А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 56.

[11] А. И. Соболевский, Русский исторический синтаксис. Лекции 1892—1893 г. (литограф. изд.), стр. 52—53.

ний подобающее ей место»[12] Одной из важных задач грамматических исследований является выявление значения грамматических форм и категорий, но грамматические значения являются объектом исследования грамматики лишь постольку, поскольку они находят свое материальное выражение в соответствующих грамматических формах

Установление перечня падежных значений и значений сочетаний различных падежей с различными предлогами — чрезвычайно актуальная задача Но попытка перестройки системы падежей в целом на основе единичных «падежных значений», без опоры на их материальное оформление не может иметь никаких шансов на успех, так как один и тот же падежный показатель или группа различных, но постоянно соответствующих друг другу показателей выражают не одно, а несколько значений и наоборот, одно и то же значение выражается различными показателями или группами показателей И В Сталин, отмечая важность семантики, вместе с тем указывает и на опасность злоупотребления ею «Однако, разрабатывая вопросы семантики и используя ее данные, никоим образом нельзя переоценивать ее значение, и тем более — нельзя злоупотреблять ею»[13] Обратимся к материалу

Обозначение времени может быть выражено различными падежами в сочетании с различными предлогами *нынешнюю ночь*, *в нынешнюю ночь*, *ночью*, *двадцать седьмого сентября*, *в сентябре под вечер*, *за обедом*, *перед рассветом*, *с рассветом*, *среди зимы*, *об эту пору*, *о рождестве* (ср «О рождестве у них была пирушка» Крылов), *при окончании*, *во время по окончании* и т д Та же картина представляется и в отношении обозначения места (*в почтовой конторе*, *на почте*), способа и образа действия (*кричать громко петь басом*, *петь как артист*, *кричать во все горло*, *кричать изо всей силы*, *произносить в нос* и т д)

Аналогичный материал, который мог бы быть привлечен в качестве примеров, неисчислим В самом деле в каждом отдельном случае мы сталкиваемся с особым падежом, если под падежом понимать всякий раз каждое новое значение Однако мельчайшие оттенки значений, которые мы можем констатировать при каждом новом способе выражения, сплошь и рядом настолько субъективны, расплывчаты и даже неуловимы, что надо прямо сказать заниматься значениями без увязки их с системой форм выражения — это значит погрузиться в мир субъективных представлений и догадок Понятие «падежа» в таком случае совершенно потеряло бы всякую объективную реальность[14]

Таким образом, попытка перестроить систему падежей русского языка, исходя как из значений, взятых в отрыве от формальных показателей, так и из формальных показателей, взятых в отрыве от системы значений, терпит полный крах Система падежей, как она дана в традиционной русской грамматике, обнаруживает полное соответствие объективному положению вещей Но если в русском языке, преимущественно синтетическом по строю, учение о падежах, перенесенное из античной науки, чрезвычайно удачно переработано в соответствии с характерными особенностями русского языка, то во многих языках, где преобладают аналитические средства (прежде всего, в английском и французском), весьма существенно отличающихся своим грамматическим строем от древнегре

---

[12] И Сталин Марксизм и вопросы языкознания Госполитиздат 1953 стр 37—38

[13] Там же стр 38

[14] См , например соображения по этому вопросу В И Абаева в его статье «О винительном» падеже в осетинском (сб «Осетинский язык и фольклор», I М — Л 1949 стр 129—137)

ческого и латинского, приспособление античного учения о падежах оказалось далеко не таким успешным

Возьмем в качестве примера английский язык Английский язык в основном, характеризуется как язык аналитического строя с весьма небольшими остатками синтетизма Аналитический строй, если пользоваться этим традиционным термином, отличается от синтетического тем, что для выражения грамматических значений в языках аналитического строя используются преимущественно не окончания слов а порядок слов, служебные слова и некоторые другие средства Английский язык, следовательно, принципиально отличается особенностями своей грамматической структуры от таких языков, как древнегреческий и латинский которые могут быть охарактеризованы как языки синтетические, т е использовавшиеся для выражения грамматических значений преимущественно внутренней и внешней флексией

Исходя из всего этого, следовало бы ожидать что построение грамматики английского языка, учитывающей все своеобразие его строя, должно было бы быть принципиально иным, чем построение грамматики, например, латинского языка Однако своеобразие самого английского языка в посвященных этому языку работах отражено совершенно недостаточно и к тому же крайне непоследовательно В этом можно убедиться, в частности, рассматривая работы, посвященные той области, которая нас непосредственно интересует,— вопросу о падежах Английская грамматическая литература по этому вопросу дает самые разнообразные решения[15] Так, по мнению некоторых грамматистов, в английском языке столько же падежей, сколько и в латинском, т е шесть nominativus genetivus, dativus, accusativus, ablativus, vocativus. При этом падежом в таком случае называется приблизительный смысловой эквивалент соответствующих латинских падежей, т е винительным падежом будет называться имя, стоящее в функции прямого дополнения, однако имя, выражающее направление действия (*eo Romam, I go to London* «иду в Рим», «в Лондон»), винительным падежом не считается Родительным падежом считается в таком случае как саксонская форма (*this man's work* «работа этого мужчины»), так и соответствующие конструкции с предлогами (*the work of this man* «работа этого мужчины») Звательным падежом считается имя, являющееся обращением, и т д

В основе таких рассуждений здесь лежит нелепая мысль, что падежная система латинского языка представляет собой «общечеловеческую» систему падежных категорий, и наивное предположение о четкости функций латинских падежей и полном совпадении этих функций в обоих языках Отсутствие каких-либо мало мальски устойчивых принципов для решения вопроса о падежах в английском языке приводит к тому, что различные лингвисты признают существование в английском языке шести, пяти, четырех, трех или двух падежей Так, например, о пяти падежах (именительном, родительном, дательном, винительном и звательном) в английском языке, т е о таком же количестве, как в греческом, говорят Вебер[16] Несфильд[17] И тот, и другой исключают из английского

---

[15] О полемике по вопросу о падежах в английском языке существует очень большая литература См например Б А Ильиш Современный английский язык 2 е изд, М Изд во лит ры на иностр языках 1948 стр 93 и сл O Jespersen The philosophy of grammar London Allen and Unwin New York Holt 1935 стр 175—187

[16] См G Weber Der Bau der englischen Sprache Leipzig 1934

[17] См J C Nesfield, English grammar past and present, London, 1924

языка аблатив. Дейтчбейн[18] считает, что в английском языке столько же падежей, сколько и в немецком, т. е. четыре (те же, но без звательного). Встречается также и мнение о том, что в английском языке существуют три падежа: основной, косвенный (соответствующий дательному и винительному) и родительный (саксонская форма). Наконец, Есперсен[19] и ряд других англистов говорят только о двух падежах: общем и родительном (саксонская форма).

Одна ссылка на этот вопиющий разнобой в суждениях о падежах в английском языке должна вызвать вполне законное представление, что в этом вопросе царит полный субъективизм. И это действительно так. Обычно авторы берут за основу падежную систему какого-либо языка, чаще всего латинского, греческого или немецкого, и подыскивают в английском языке приблизительные смысловые эквиваленты, получающие наименование соответствующего падежа. При этом, конечно, под названием какого-либо одного падежа оказываются совершенно разнородные явления. Так, например, под названием родительного падежа подразумевается и саксонская форма на *-s*, и сочетание с предлогом *of*, *from*; под названием дательного падежа — сочетание имени с предлогами *to*, *for* и имя, являющееся косвенным дополнением в предложении. Интересно, что показателями падежей в таком случае признаются лишь некоторые, произвольно выбранные предлоги. Например, Дейтчбейн сочетание имени с предлогом *with* не считает творительным падежом, очевидно, потому, что его система падежей английского языка создана по образу и подобию системы немецких падежей, в которой творительный падеж не находит себе места.

Также совершенно произвольно используется и порядок слов как показатель падежа. Совершенно бездоказательно утверждение, что в предложении *John lights the candle* «Джон зажигает свечу» *John* является именительным падежом, потому что его место перед сказуемым, а *the candle* — винительный, потому что его место после сказуемого. Здесь можно утверждать лишь, что на основании данного порядка слов мы считаем *John* подлежащим, а *the candle* дополнением. Попытки рассматривать предлоги или порядок слов как показатель падежа терпят очевидный крах.

Методологический порок работ представителей буржуазного языкознания о падежах в английском языке основан на том, что иногда подсознательно, а иногда совершенно обдуманно и сознательно они какой-либо из языков принимают за стандарт — за язык, в котором основные категории мысли будто бы представлены в наиболее полной и четкой форме. Тому, что таким языком оказывался в большинстве случаев латинский или греческий, не следует удивляться: классические языки в течение долгого времени были основой всякого образования и тем более филологического. Но все попытки построения грамматики различных языков мира, если исходить из такого произвольно выбранного стандарта, не могли дать мало-мальски сносного результата. Традиционное учение о падежах в английском языке — лучшее этому свидетельство.

Интересным дополнением к нашему изложению вопроса о падежах в английском языке может служить также рассмотрение точки зрения голландского романиста де Бура (C. de Boer) на вопрос о падежах во

---

[18] См. M. Deutschbein, System der neuenglischen Syntax, 3-e Aufl., Leipzig, 1928.

[19] O. Jespersen, The system of grammar, London, Allen and Unwin; Copenhagen, Levin and Munksgaard, 1933 и ряд других работ.

французском языке[20]. Французский язык также принадлежит к аналитическим языкам, т. е. к языкам, которые выражают синтаксические отношения между словами не оформлением самого слова, а внешними средствами: порядком слов, предлогами и т. д.

Де Бур поэтому в своем учении о падежах во французском языке прежде всего отвергает морфологическую точку зрения, которая к тому же, по его мнению, применялась до сего времени очень непоследовательно. В качестве примера такой непоследовательности он приводит из латинского языка форму *gladio*, рассматривающуюся в традиционной грамматике и как дательный, и как отложительный падеж, которые в данном, II, склонении совпадают в одной и той же форме. Де Бур думает, что с последовательно-морфологической точки зрения нужно было бы эту форму рассматривать всегда как один и тот же падеж.

Если же, рассуждает де Бур, мы в единой форме *gladio* видим два различных падежа — дательный и отложительный, то мы должны быть последовательными и признать, что эта же форма может быть и третьим падежом — творительным, который по своему значению не совпадает ни с дательным, ни с отложительным. Так де Бур обосновывает свою точку зрения на падеж: падеж не морфологическая категория, а смысловая и синтаксическая.

Рассмотрим альтернативу, предложенную де Буром. В первом случае, трактуя форму *gladio* всегда как один падеж, де Бур выступает как ультраформалист, который не видит никакой связи между внешней формой слова и его значением, синтаксической функцией и не понимает, что форма всегда выступает лишь как показатель каких-то значений, а не сама по себе. Де Бур не видит того, что каждый формальный показатель является лишь элементом системы, соотносительным с другими ее элементами. Так, например, *gladio* выступает то как форма дательного, то как форма отложительного падежа, соответствуя в первом случае функционально *rosae*, *homini*, *fructui*, *diei*, в другом — *rosa*, *homine*, *fructu*, *die*. В латинском языке во всех склонениях дательный и отложительный падежи различаются формально и потому противопоставлены друг другу в отношении значения. Следовательно, и во II склонении в единой форме *gladio* осознается различие этих двух значений и создается основа для противопоставления дательного и отложительного падежа также и во II склонении. Здесь падеж выступает не как чистая форма, никак не связанная со значением, а как раз наоборот — как единство формы и значения. Совершенно иное мы видим в случае противопоставления — на материале латинского языка — творительного падежа дательному и отложительному. По отношению к латинскому языку мы не можем говорить об особом творительном падеже, отличном от отложительного, потому что во всех словах, во всех склонениях одна и та же форма отложительного падежа употребляется и в значении исходности («отложительности»), и орудия.

Обратимся теперь к той точке зрения, которую защищает сам де Бур, называя ее синтаксической. Он, сохраняя по отношению к латинскому языку понятие морфологического падежа, говорит и о синтаксических падежах, определяя их только по синтаксическому употреблению независимо от способа их выражения. Так, например, к синтаксическому творительному падежу де Бур относит морфологические отложительный и дательный падежи, а к синтаксическому винительному — морфологические винительный, родительный, дательный, а также именительный,

[20] C. de Boer, Études de syntaxe française, «Revue de linguistique romane», Paris, 1928, № 15—16, стр. 290—310.

являющимся именной частью составного сказуемого. Система синтаксических падежей де Бура — это своего рода стандарт, приложимый ко всем языкам мира. Она совершенно априорна и в качестве грамматического стандарта, если бы он и был возможен, неудачна: 1) падеж субъекта, т. е. синтаксический именительный; 2) падеж объекта, т. е. синтаксический винительный; 3) падеж локализации, т. е. синтаксический местный; 4) падеж удаления, т. е. синтаксический отложительный; 5) падеж направительный; 6) падеж обстоятельства образа действия, т. е. творительный.

Система де Бура вызывает много возражений. Прежде всего она не учитывает многих падежей, реально существующих в различных языках мира: в этой системе нет родительного падежа как показателя принадлежности, ряда падежей, выражающих различные дополнительные и обстоятельственные значения. В своем стремлении дать для всех языков мира единую систему падежей де Бур закрыл возможность исследования своеобразных черт грамматического строя любого языка и фактически снял вопрос о морфологии языка, подменив вопрос о категории падежа вопросом о членах предложения.

Беспомощная попытка де Бура подвести «теоретическую» базу под его совершенно априорную систему падежей французского языка лишь показывает, что к языкам аналитического строя неприменим термин флективного или синтетического грамматического типа. Такого рода попытки неизбежно ведут к построениям, основанным не на изучении характерных особенностей тех или иных языков, а на абстрактных и искусственных схемах, мешающих изучению как формальной стороны, так и тех реальных значений, которые находят выражение в языках. Вместо богатой языковой действительности в построениях этого рода мы видим лишь пустую схему, в которую с трудом удается втиснуть конкретные языковые факты.

Такой же формалистический отрыв грамматической формы от ее значения мы встречаем у шведского лингвиста А. Норейна[21]. Он считает необходимым отказаться от рассмотрения падежа как единства формы и значения. Значением он занимается независимо от формы, а формой — независимо от значения. Падеж, взятый как чистая форма, у него носит название «казус», падеж как значение, т. е. падежное значение, у него называется «статус». «Казус» — это всякий способ выражения синтаксического отношения имени к другим членам высказывания или, как уточняет сам Норейн, всякий способ выражения отношения дополнительного члена к главному: *schnell aufblühend*, *Wanderredner* и т. д. При таком подходе особым «казусом» окажется и наречие, и чистый корень, являющийся частью сложного слова; например, в немецком языке надо будет считать не 4 падежа («казуса»), а несколько десятков. Сам Норейн, правда, приводит лишь небольшой перечень падежей-«казусов», группируя их по внешним признакам выражения. Так, например, косвенные падежи он подразделяет на суффиксальные и префиксальные (во французском языке), сложные (например, нем. *Rindfleisch*), предложные, послеложные и т. д.

Гораздо сложнее его классификация падежей-«статусов», т. е. падежных значений, число которых, следовательно, должно равняться числу возможных отношений между основным и дополнительным значением. Норейн дает перечень 70 падежей-«статусов», причем совершенно очевидно, что это число далеко не исчерпывает всех возможных «статусов». Возможна и бо́льшая детализация отношений, чем это дано у Норейна. Так, например, он не различает нахождение «на» и «над», «у» и «вблизи», на гори-

[21] A. Noreen, Einführung in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache [перевод со шведского избранных частей работы «Vårt språk»], Halle (Saale), 1923.

зонтальной и вертикальной поверхности. Не различаются разные виды обладания. Очень слабо представлены лативы, т. е. падежи, указывающие на направление движения: 18 эссивам (падежам нахождения), данным у Норейна, соответствует только 7 лативов, к которым относятся и собственно лативы, отвечающие на вопрос «куда», и аблативы, отвечающие на вопрос «откуда». В дагестанских же, например, языках каждому эссиву обычно соответствует и латив, и аблатив, а в некоторых из языков и транслатив. А. Норейн совершенно не отвел места в своем перечне «статусов» транслативам — падежам, показывающим прохождение через какую-то среду. Таким образом, априорность, отрыв от многообразных фактов различных языков мира и совершенно очевидная неполнота перечня падежных значений у Норейна обесценивает его работу и делает ее методологически несостоятельной.

Все построение Норейна ни на шаг не подвигает разрешение вопроса о падежах. Оторвав «статусы» от «казусов», он ликвидировал понятие падежа, представляющее собой единство формы и значения. Конкретные примеры на «статусы» у Норейна показывают, что он совершенно не учитывает формы их выражения; примеры на «статусы» совершенно разнородны. Так, например, на «статус» *вещество* даются такие примеры, как *Maismehl*, *Mehl aus Mais* и т. д.

Работа Норейна, как и рассмотренная выше работа де Бура, фактически снимает вопрос о падеже, раздельно рассматривая значения и способы их выражения. Значения даются в виде перечня априорных понятий, взятых независимо от реально существующих (т. е. формально выраженных) падежей в языках мира. Способы выражения отношений между главным и дополнительным значением, как это формулирует Норейн, даются в виде перечня чисто внешних, технических приемов, также взятых независимо от реально существующих падежей, и поэтому этот перечень приемов совершенно не приближает к разрешению проблему падежей в каком бы то ни было языке.

И если де Бур конструирует свою систему падежей, группируя единичные значения вокруг основных синтаксических понятий, то Норейн единичные значения, априорно выявляемые, лишь располагает в произвольной, абстрактно-логической системе. И то, и другое есть проявление грамматического нигилизма, отмахивающегося от постановки и попыток разрешения грамматических проблем, рассматривающего грамматику как чистую технику и переносящего анализ языка в план чисто субъективных абстрактно-логических схем. Для логистов такого рода понятия существуют сами по себе, независимо от языковой материи, от форм языка. И. В. Сталин дал уничтожающую критику подобных рассуждений, квалифицировав их как проявление идеализма. «Какие бы мысли ни возникли в голове человека и когда бы они ни возникли, они могут возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой „природной материи“ — не существует. „Язык есть непосредственная действительность мысли“ (Маркс). Реальность мысли проявляется в языке. Только идеалисты могут говорить о мышлении, не связанном с „природной материей“ языка, о мышлении без языка»[22].

Грамматическая категория вообще и грамматическая категория падежа, в частности, представляет собой объективный факт, выявляющийся в грамматическом строе как единство смысловой стороны (значения, группы однородных или даже разнородных значений, систематически высту-

---

[22] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 39.

нающих вместе) и материального выражения (показателя или группы показателей, систематически выступающих друг вместо друга).

Беглый обзор литературы, посвященной категории падежа, показывает, что необходим критический пересмотр вопросов методологии грамматики с точки зрения метода диалектического материализма. Марксистское учение о единстве языка и мышления дает принципиально новое решение вопроса о грамматической категории вообще и о грамматической категории падежа, в частности. На новых методологических установках должна быть разработана конкретная методика описания как языков аналитического строя, где падежей или совсем нет, или их очень немного, так и языков синтетического строя, среди которых имеются такие многопадежные языки, как финно-угорские и дагестанские.

*

Подходя к вопросу о системе падежей в дагестанских языках, мы прежде всего должны отбросить попытки строить систему их падежей, исходя из системы какого-либо другого языка: латинского, русского, арабского, грузинского и т. д.; также мы должны отбросить и попытки строить эту систему, исходя из «оголенных» значений, взятых в отрыве от их материальной оболочки. Система падежей каждого дагестанского языка, как и всякого языка вообще, определяется особенностями его собственного грамматического строя, совокупностью форм выражения соответствующих значений.

Определение системы падежей в дагестанских языках связано с необходимостью отличать падежные окончания от послелогов, которые не могут рассматриваться как показатели падежей. Вопрос этот труден потому что между существительным и послелогом не может быть никакого другого слова. Ведь в русском и французском языках предлог нельзя спутать с падежным префиксом просто потому, что между предлогом и существительным может встретиться прилагательное или какое-нибудь другое слово. Этого простого и очевидного приема мы не можем использовать при выяснении системы падежей дагестанских языков, потому что, как было сказано выше, в этих языках между существительным и послелогом не может быть никакого другого слова. Необходимо изыскивать иные приемы, вытекающие из своеобразия грамматического строя дагестанских языков.

Другого рода трудность состоит в том, что с исторической точки зрения многие падежные окончания дагестанских языков являются послелогами, потерявшими свою относительную самостоятельность и превратившимися, таким образом, из служебного слова (т. е. еще более или менее самостоятельного слова) в служебный элемент другого слова. Следовательно, при грамматическом анализе фактов мы можем столкнуться с переходными случаями, когда элемент, подвергающийся анализу, еще не в полной мере потерял свою самостоятельность и превратился в падежное окончание.

Наиболее просто производить грамматический анализ, если в каком-нибудь языке существует несколько типов склонений. Элемент, меняющий свою форму в зависимости от того, к существительному какого типа склонения он присоединяется, несомненно, не может быть признан особым, хотя бы и служебным словом. Наоборот, элемент, остающийся неизменным во всех типах склонения, может быть признан не падежным окончанием, а служебным словом.

Примером языка, в котором несколько типов склонения, может служить аварский. В аварском языке различаются прежде всего «архаи-

ческое» и «живое» склонение, по терминологии Л. И. Жиркова. Живое склонение в свою очередь подразделяется на два подтипа: 1) склонение существительных мужского класса; 2) склонение существительных женского и среднего класса. К тому же склонение во множественном числе также представляет ряд отличий от склонения в единственном числе[23]. Наконец, и склонение местоимений также обнаруживает ряд особенностей. Сопоставление аналогичных форм в различных типах склонения может пролить некоторый свет на вопрос о том, какие из этих форм являются истинными падежами, а какие из них не могут считаться падежами в собственном смысле слова.

Несомненно, особым падежом является так называемый активный, или эргативный, потому что во всех типах склонения он имеет различные окончания: *ца*, *с*, *лъ*, *з* (*инсуца* «отец», *васас* «сын», *ясалъ* «дочь», *васаз* «сыновья»). То же надо сказать о родительном и дательном падежах, потому что они образуются непосредственно от формы активного падежа и, таким образом, сохраняют различия между типами склонения: вместо *ца* в родительном и дательном падежах соответственно *е* и *л*, а к остальным окончаниям активного падежа прибавляются соответственно *е* и *ул* (дательный падеж *инсуе*, *васасе*, *ясалъе*, *васазе*; родительный падеж *инсул*, *васасул*, *ясалъул*, *васазул*).

Но относительно этих падежей, собственно, никто и не высказывал сомнений — разногласий они не вызывали. Всеми они признаются за настоящие падежи. Другое дело — местные падежи. В том, что они являются действительно падежами, кое-кто мог бы усомниться. Ведь это падежи такого типа, который в индоевропейских языках, например, не представлен. Ведь именно эти падежи создают невиданное число значений: 30, 40, 50. Можно было бы подумать, что эти «местные падежи» вовсе и не являются истинными падежами, что исключительная многопадежность дагестанских языков является мифом. Может быть, система падежей дагестанских языков количественно почти ничем не отличается от русского, латинского, немецкого языков? Попробуем подойти к вопросу о местных падежах в аварском языке так же, как мы подходили к выявлению истинности активного, дательного и родительного падежей. Начнем с эссивов, которые во всех сериях падежей нахождения в аварском языке представляют собою начальную форму. Эссив первой серии имеет следующие окончания по различным типам склонения: *да*, *сда*, *лда*, *зда* (*инсуда*, *васасда*, *ясалда*, *васазда*). Если бы мы попытались в этой форме видеть сочетание имени с послелогом, чем бы мы должны были считать элемент *с*, *л*, *з*, стоящий перед *да?*

Если формы *васасда* и *васазда* могли бы создать видимость того, что *да* является послелогом, присоединяющимся к форме активного падежа (*васас* + *да*, *васаз* + *да*), то формы *ясалда*, а тем более *инсуда* сразу же показывают иллюзорность такого предположения, так как *да* присоединяется вовсе не к форме активного падежа. Еще показательнее было бы привлечение для анализа падежных форм эссива первой серии личных местоимений, которые совершенно не могут трактоваться как сочетание имени с послелогом (*дида* «на мне», *дуда* «на тебе»; ср. им. падеж *дун* «я», акт. падеж *дица*; им. падеж *мун* «ты», акт. падеж *дуца*).

Таким же образом мы должны признать истинными падежами в аварском языке эссивы и других серий, которые соответственно оканчиваются

---

[23] См. Л. И. Жирков, Аварско-русский словарь, М., ОГИЗ РСФСР, 1936; несколько подробнее об этом см. в его же «Грамматике аварского языка» (М., 1924).

на *хъ*, *сулъ*, *лъулъ*, *зухъ*[24]; *кь*, *сукь*, *лъукь*, *зукь*; *лI*, *сулI*, *лъулI*, *зулI*[25]. Несколько сложнее вопрос о местных падежах пятой серии, оформляемых классными показателями. Аварские школьные учебники относили их по к падежным формам имени, а, вопреки П. К. Услару, Л. И. Жиркову и А. А. Бокареву, к наречиям места. Интересная статья Ш. И. Микаилова дает большой материал, относящийся к этой серии[26]. Из приведенных им фактов очевидно, что лишь небольшая группа слов такого образования может быть отнесена к наречиям. Основная же масса имен образует форму, являющуюся таким же местным падежом, как и все остальные, относящиеся к другим сериям. Не останавливаясь на этом материале, я отсылаю читателя к указанной статье.

Лативы вышеуказанных серий образуются так: в первой серии вместо *-да* используется *-де*, во всех остальных сериях к форме эссива прибавляется окончание *-е*. Если латив первой серии является несомненным падежом (легко заметить, что это действительно так), то полный параллелизм в образовании как лативов, так и эссивов заставляет нас и их считать истинными падежами: если латив в одной серии является падежом, то и в других сериях его надо считать падежом. Следовательно, ряд *магIарда* «на горе» — *магIарде* «на гору»; *ваца́сухъ* «у брата» — *ваца́сухъе* «к брату»; *ахикь* «в саду» (буквально: «под садом») — *ахикье* «в сад» (буквально: «под сад»); *ххарилI* «в траве» — *ххарилIе* «в траву»; *рокъов* «в доме» — *рокъове* «в дом» позволяет выделить форму на *-де* | *-е* в качестве особого падежа.

Таким же образом мы убедимся в истинности и аблативов исходных падежей всех пяти серий. В первой серии аблатив образуется при помощи *-са*, присоединяемого к форме эссива, в отличие от латива, который образуется путем замены окончания эссива другим окончанием (*магIарда* «на горе», *магIарде* «на гору», *магIардаса* «с горы»). Во всех же остальных сериях эссив образуется путем присоединения окончания *-а* также соответственно тому, как латив образуется путем присоединения окончания *-е*: *ххарилI* «в траве», *ххарилIа* «из травы»; ср. латив *ххарилIе* «в траву».

Обзор образования всех рассмотренных местных падежей в аварском языке показывает, что каждый из этих падежей является членом единой, внутренне связанной, объективно данной в фактах языка системы, и этим подтверждается истинность всех этих падежей. Признав одни из этих форм падежами, мы неизбежно должны признать падежами и другие. Закончим их рассмотрение сводной таблицей:

Серии / Падежи	1-я серия „на"	2-я серия „около"	3-я серия „в" (в сплошном пространстве)	4-я серия „под"	5-я серия „в (в замкнутом вместилище)
Эссив (где?)	*ххарида* „на траве"	*ххарихъ* „около травы"	*ххарилI* „в траве"	*ххарикь* „под травой"	*рокъов* „в доме"
Латив (куда?)	*ххариде*	*ххарихъе*	*ххарилIе*	*ххарикье*	*рокъове*
Аблатив (откуда?)	*ххаридаса*	*ххарихъа*	*ххарилIа*	*ххарикьа*	*рокъосса*

[24] *хъ* — транскрипционная передача увулярного надгортанного аффриката; орфографически пишется *х*.

[25] *лI* — транскрипционная передача латерального надгортанного аффриката вместо принятого в орфографии написания *лъ*.

[26] Ш. И. Микаилов, Функции локативов в аварском языке, «Труды первой научной сессии [8—11 октября 1947 г.] Дагестанской науч.-исслед. базы АН СССР», Махач-Кала, 1948, стр. 309—322.

Совершенно иначе мы должны отнестись к некоторым другим формам, которые П. К. Услар рассматривал как падежные. Это, во-первых, форма на *-гун*, которую он назвал союзным падежом, и форма на *-гIан*, которую он назвал сравнительным падежом. Их нельзя считать падежными, потому что во всех типах склонения эти формы выступают как сочетание имени с неизменной служебной частицей, причем *гун* следует считать послелогом, так как она сочетается всегда с одной и той же падежной формой (с именительным падежом), а *гIан*—союзом, так как он, выражая сравнение, может сочетаться с любым падежом (*вацгун* «с братом», *вацгIан* «как брат», *вацасегIан* «как брату» и т. д.).

Точно так же мы не можем считать в аварском языке особыми падежами и сочетания лативов и аблативов с частицей *хун*, которая, показывая лишь общее направление, не указывает при этом, соприкасалось ли движущееся тело с тем предметом, от которого оно движется, и будет ли оно соприкасаться в результате движения с тем предметом, по направлению к которому оно движется. Основанием нашего мнения служит то, что эта частица в неизменной форме соединяется с прямо противоположными по значению падежами: с лативом и аблативом.

Выясняя истинность того или иного падежа, мы до сих пор обращали внимание лишь на показатель отношения, пытаясь выяснить, является ли он падежным окончанием или же служебной частицей. Но наш анализ следует продолжить, обратив внимание на форму имени, сочетающуюся с этим показателем: в каких случаях мы имеем дело со словом, способным к самостоятельному функционированию, и в каких — с падежной основой, встречающейся лишь в сочетании с теми или иными падежными окончаниями.

В аварском языке основа косвенных падежей, к которой присоединяются падежные окончания, отличается от основы именительного падежа. В «живом» склонении это отличие невелико. Для образования, например, активного падежа к основе именительного падежа присоединяется *-с/ /-ас*, *-лъ/ /-алъ*. Остальные падежи образуются уже от формы активного падежа, которая, строго говоря, и представляет собою основу косвенных падежей[27]. Гораздо сложнее обстоит дело с образованием основы косвенных падежей в «архаическом» склонении. Большинство имен, склоняющихся по «архаическому» типу, подвергается довольно значительной внутренней флексии, причем основа косвенных падежей употребляется только в сочетании с падежными окончаниями и не может употребляться самостоятельно без них. Это дает нам возможность использовать изменение основы имени, склоняющегося по «архаическому» типу, для разрешения вопроса об истинности тех или иных падежей.

Для доказательства того, что все рассмотренные нами падежные окончания действительно являются таковыми, лучше всего брать имя, склоняющееся по архаическому склонению, например, *гьобо* «мельница». Для архаического склонения характерно то, что все падежи, кроме именительного, образуются от основы косвенных падежей *гьаби*, которая самостоятельно, без падежных окончаний, не встречается. Вот почему все падежи, рассмотренные нами, включая и местные, являются истинными падежами, а не сочетанием имени с различными послелогами, как могли бы подумать некоторые. В самом деле, активный падеж *гьабица*, эссив первой серии *гьабида* «на мельнице», эссив второй серии *гьабихъ* «около мельницы» можно рассматривать только как падежные формы, но никоим образом не как сочетание имени *гьаби* с предполагае-

[27] Вопрос об именной основе в аварском языке, хотя и непосредственно связан с темой настоящей статьи, все же требует особого рассмотрения, которое целесообразно провести в специальной статье.

мыми послелогами *ца, да, хъ*, так как нет имени *гьаби*[28] (а есть только имя *гьобо*) и нет послелогов *ца, да, хъ* (а есть только падежные окончания, меняющиеся в зависимости от типа склонения: *-ца, -с, -лъ, -з* и т. д.).

Для того чтобы закончить формальный анализ системы падежей аварского языка, мы должны еще упомянуть о форме на *лъун* или *дальун*. Этой форме посвящена специальная статья А. А. Бокарева[29]. Форма на *лъун* или *дальун* возникла в результате сочетания формы именительного падежа или эссива первой серии с деепричастием прошедшего времени от гипотетического глагола *лъизе* «стать, сделаться». Эта форма получила значение творительного орудного и творительного предикативного в связи с тем, что активный падеж выполняет одновременно функции и субъекта при переходных глаголах, и дополнения орудия. Форма на *лъун* отмечалась многими авторами, но она формально настолько сильно выбивается из системы падежей аварского языка, что, несмотря на свою несомненно падежную функцию, так и не включается в перечень падежей.

Тот формальный анализ падежной системы аварского языка, который был приведен выше, конечно, еще недостаточен для того, чтобы дать полную характеристику этой системы. Мы исходили из падежных значений, как будто бы они представляют собой нечто простое и единое. На самом же деле падежи многозначны, и только рассмотрение многообразия синтаксических функций падежей дало бы нам более или менее отчетливое представление о том, какую систему падежей выработал аварский язык для того, чтобы облечь в материальную языковую оболочку человеческие мысли.

В большинстве же дагестанских языков нет различных типов склонения. В таком случае вопрос о выявлении системы падежей обстоит несколько сложнее. Но и в этих языках можно найти объективные критерии, которые позволят нам определить в каждом отдельном случае, имеем ли мы дело с особым падежом или же с сочетанием имени и послелога[30].

Возьмем в качестве другого примера табасаранский язык с его сложной и еще недостаточно изученной системой падежей. В нем единый тип склонения. Но для выяснения вопроса об истинности того или иного падежа надо использовать все возможные варианты склонения: особенности склонения во множественном числе, особенности склонения местоимений, числительных и т. д. Выяснению вопроса об истинности падежей поможет также использование слов, меняющих основу при склонении.

Перейдем к материалу табасаранского языка[31]. Здесь, при его рассмотрении, сразу возникнет ряд вопросов. Является ли активный падеж действительно настоящим падежом? Нельзя ли его рассматривать как сочетание с послелогом? Но такому предположению противоречит то, что образование формы активного падежа не является единообразным, существует десять типов его образования: *маркв* «чернила» — м*аркв*ели;

---

[28] В данном случае основа косвенных падежей от *гьобо* «мельница» — *гьаби* совпадает с именительным падежом множественного числа от *гьей* «собака» — *гьаби*, что, конечно, также косвенным образом делает невозможным предположение о том, что *ца, да* и т. д. являются послелогами.

[29] А. А. Бокарев, Аварское соответствие русскому творительному предикативному падежу, сб. «Язык и мышление», X, М.— Л., 1940, стр. 15—47.

[30] Конечно, в различных языках может встретиться немало случаев, когда при данной степени их изученности нелегко будет найти какой-либо определенный критерий, и вопрос потребует еще дополнительных исследований.

[31] См. Л. И. Жирков, Табасаранский язык, М.— Л., Изд-во АН СССР, 1948; см. также А. М. Дирр, Грамматический очерк табасаранского языка (Тифлис, 1905), где описан один из северных диалектов табасаранского языка, сильно отличающийся от литературного языка.

жилур «муж» — *жилурди*; *фекер* «мысль» — *фекерну*; *халу* «дед по матери» — *халуйи*. Наличие десяти разных способов образования этой формы и заставляет нас считать ее особым падежом. К тому же можно указать во многих случаях, что основа именительного падежа с основой активного не совпадает и даже в ряде случаев от нее резко отличается: *гату* «кошка» — *гатди*; *бай* «сын» — *бали*; *шар* «вода» — *шире*; *селеб* «дуб» — *селебе*; *чи* «сестра» — *чичу*; *веллур* «верблюд» — *велле*; *риш* «дочь» — *шуру*; *юкI* «сердце» — *кIва*; *думу* «он» — *дугъу*; *фуж* «кто» — *шли*. Поэтому немногочисленные случаи совпадения форм именительного и активного падежей [см. личные местоимения 1-го и 2-го лица: *изу* «я», *иву* «ты», *ихьу* «мы» (инклюзивное), *ичу* «мы» (эксклюзивное), *учву* «вы»] не мешают считать их особыми падежами.

Но нельзя ли думать, что активный падеж — единственный косвенный падеж, к которому присоединяются различные послелоги? Обратимся под таким углом зрения вначале к родительному и дательному падежам. В большинстве случаев они образуются от активного простым присоединением *-н* (для родительного) и *-з* (для дательного падежа). Однако основа родительного и дательного падежей не всегда совпадает с активным падежом: *фекерну* «мысль» — *фекернан* (*-з*); *йицру* «желание» — *йицран* (*-з*): *микIлу* «ветер» — *микIлан* (*-з*); *дугъу* «он» — *дугъан* (*-з*); *узу* «я» — род. падеж *йиз*, дат. падеж *узуз*. Этот факт и заставляет нас считать данные формы истинными падежами, а не сочетаниями активного падежа с послелогами.

Перейдем к следующей группе падежей: к эссивам всех восьми серий (нахождение внутри, на горизонтальной поверхности, «под», «около», «у», «за», между частями чего-либо). Падежи ли это? Или, может быть, как в русском языке, это сочетания какого-либо падежа, но уже не с предлогом, а послелогом? Ряд примеров мог бы внушить это предположение: им. падеж *фур*, акт. падеж *фури* «арба» — *фуриъ* «в арбе», *фуриин* «на арбе», *фурикк* «под арбой», *фуригь* «около арбы», *фурихь* «у самой арбы», *фурихъ* «за арбой», *фуригъ* «между частями арбы». Могло бы показаться, что это — сочетание различных послелогов (*ъ*, *ин*, *кк*, *гь*, *хь*, *хъ*, *гъ*) с активным падежом. Но совпадение основы косвенных падежей с формой активного падежа встречается далеко не всегда. Используем те же примеры, которые мы приводили в связи с родительным и дательным падежами: акт. падеж *фекерну* «мысль» — эссив *фекернаъ* «в мысли»; акт. падеж *дугъу* «он» — эссив *дугьагь* «около него» и т. д. Эти примеры опровергают возможность толкования эссивов как сочетаний активного падежа с послелогом.

От формы эссивов регулярно образуются аблативы и лативы: *фуриъан*, *фурикан*, *фуриккан*, *фуригьан*, *фурилан*, *фуригъян* и т. д., *фуриъна*, *фуринна*, *фуриана* и т. д. Как следует отнестись к трактовке этих форм? Надо ли их считать также падежными формами или же следует их рассматривать как сочетание послелогов с соответствующим эссивом? Можно было бы обосновать истинность этих падежей таким же образом, как это делалось выше, т. е. указать, что не всякую из этих форм можно фактически рассматривать как сочетание эссива с предполагаемым послелогом. Например, в седьмой серии (нахождение на горизонтальной поверхности) основы эссива и аблатива не совпадают (*фуриин* — *фурилан*). Но в данном случае, очевидно, особое значение имеет обратная сторона явления. Все местные падежи так тесно связаны между собой регулярностью своего образования, дают такую четкую систему, что трудно их рассматривать отдельно, независимо друг от друга. Их сугубая парадигматичность как бы делает невозможным рассмотрение одних из них в качестве падежей, а других — в качестве послеложных конструкций.

Сложнее обстоит вопрос с двумя группами местных падежей, которые упомянуты в работе Дирра, но очень слабо представлены в его материалах. Это общенаправительные и совместные падежи. Общенаправительные падежи образуются при помощи показателя *-инди*, присоединяемого к эссивам всех серий, хотя у Дирра имелись примеры только для серий *-гь* и *-хъ*. Значение этих падежей состоит в том, что указывается, по направлению к чему происходит движение, но при этом не предполагается, что соприкосновение с целью движения обязательно произойдет («по направлению к дому», а не «в дом»). Совместные падежи были отмечены Дирром только для серий *ф*, *гь*, *хъ*, однако они могут быть образованы от всех серий. Значение этих форм довольно своеобразно: совместное движение, причем предмет, обозначенный именительным падежом, находится «на», «в», «около» того предмета, который выражен этим совместным падежом: *фуриъри* «двигаться с арбой, находясь внутри нее», *фурихъри* «двигаться, находясь позади арбы» и т. п. Выяснить, являются ли эти две группы форм падежами в полном смысле этого слова, нелегко. Они совершенно регулярно образуются от формы эссива и этим создают полную аналогию лативу и аблативу. С другой стороны, характер показателей *-инди* и *-ри* может вызвать сомнение в том, что их можно считать падежными окончаниями. Элемент *-инди* несомненно сложного состава: *ди* — показатель наречия, характер *ин* неясен. *Ри*, как будет указано ниже, может употребляться не только с эссивами, но и с другими падежами. Следовательно, его следует, быть может, рассматривать как послелог или прилепу агглютинативного характера, а не как падежное окончание. Во всяком случае формы с *инди* и *ри* потребуют еще дополнительных исследований.

Таким образом, с полной уверенностью можно утверждать, что ряд форм, которые Дирр считал падежными, таковыми не являются. Это относится к формам, которые Дирр называл сравнительным I (*саь*// *си*), сравнительным II (*тIан* «чем»), временным (*лан*), обстоятельственным (*ди*) и сопроводительным (*ри*). Все эти формативы могут присоединяться к самым различным падежам, в том числе и к форме именительного падежа. Вот это обстоятельство и заставляет нас усомниться в том, что они действительно являются падежными окончаниями. Некоторые из формативов способны сочетаться и с именительным падежом, и с основой косвенных падежей. Это относится, в частности, к *на* (направительность) и *ри* (совместность). В таком случае эти формативы выступают то в роли падежных окончаний, то в роли служебных частиц, грамматический характер которых еще требует изучения.

*

Можно было бы подвергнуть специальному анализу падежные системы и других дагестанских языков. Мы увидели бы, что в каждом языке своя система падежей, которая может быть выявлена только путем тщательного и углубленного изучения фактов. Для выяснения частного вопроса о падежах надо глубоко проникнуть в структурное своеобразие всей грамматической системы языка. Только грамматическая система каждого отдельного языка, ее специфические особенности могут определить и конкретную методику выявления падежей. Поверхностным скольжением по фактам языка без углубленного их изучения можно объяснить появление универсальных падежных систем, основанных или на априорных, логически сконструированных схемах отношений, или же на падежной системе какого-либо одного языка, произвольно выбранного в качестве универсального языкового стандарта.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1954

Е. Д. ПАНФИЛОВ

К ВОПРОСУ О ТАК НАЗЫВАЕМОМ АНАЛИТИЧЕСКОМ СКЛОНЕНИИ

В мае 1952 г. на совещании в Институте славяноведения АН СССР происходило обсуждение проспекта будущего коллективного труда «Основные вопросы болгарской грамматики»[1]. Предметом дискуссии явились многие важные проблемы, в том числе проблемы, выходящие за рамки болгаристики. Естественно поэтому, что в докладе проф. С. Б. Бернштейна было высказано пожелание «...услышать мнение не только болгароведов, но и специалистов по другим языкам»[2]. «Некоторые аналогии,— справедливо заметил докладчик,— могут возникнуть перед специалистами по романским языкам»[3]. Однако романисты не принимали участия в работе совещания. Это обстоятельство побуждает нас высказать некоторые соображения по одному из затронутых на совещании вопросов. Мы будем оперировать главным образом материалом испанского языка, в котором, действительно, наблюдаются факты, аналогичные фактам языка болгарского.

Проблема падежа в общелингвистическом ее аспекте служила и продолжает, как видим, служить предметом оживленнейших дискуссий. Сущность спора сводится к вопросу о том, являются ли падежи средством выражения понятий об определенных отношениях между предметами и между действием и предметом, или же сами эти понятия составляют содержание категории падежа. С точки зрения семантической верно последнее Поэтому ее сторонники считают возможным говорить о различных способах выражения падежа и, таким образом, приходят к выводу о всеобщности категории. Ход их рассуждений при этом таков: понимание связей между предметами, явлениями, действиями и качествами может быть передано и. действительно, передается на всех языках; следовательно, во всех языках имеется категория падежа.

Сторонники семантической точки зрения учитывают лишь значение и отвлекаются от способов его выражения[4]. «...и без особой падежной

---

[1] См. сокращенную стенограмму совещания «Основные вопросы грамматики современного болгарского литературного языка» («Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР», вып. 10, М., 1953). См. также хронику И. К. Буниной «Обсуждение основных вопросов болгарской грамматики» («Вопросы языкознания», М., 1953, № 1, стр. 155—157).

[2] «Основные вопросы грамматики современного болгарского литературного языка», стр. 17.

[3] Там же.

[4] См., например, F. R. Blake, A semantic analysis of case, «Curme volume of linguistic studies.— Language monographs publ. by the Linguistic soc. of America», № VII, Baltimore, 1930, стр. 34—49.

формы можно иметь особый падеж»,— пишет А Теодоров-Балан[5] И далее «Нет речи об падежах»[6] В данном случае болгарский языковед не оригинален Совершенно тот же тезис выдвигался за пять лет до него датским структуралистом Л Ельмслевом «Порядок слов,— писал Л Ельмслев — может выражать падеж Тщетно желали бы мы утверждать будто те же самые падежи, которые в немецком или латинском языке проявляются в окончаниях выражаются в классическом китайском языке порядком слов Китайские падежи не тождественны падежам немецкого или латинского языка Но это — падежи»[7] И далее «Нет универсальных падежей Универсальна сама категория нет языка без падежей»[8]

Иная точка зрения отчетливо сформулирована русским языковедом Н П Некрасовым, который полемизируя с А И Томсоном, писал в 1909 г «Под падежом я разумею не одно его внутреннее грамматическое значение, но и ту внешнюю звуковую сторону слова, в которой оно выражается и которая обусловливается изменениями в окончаниях имен и местоимений, обозначающими грамматические отношения склоняемых слов к другим словам в речи Где нет этих изменений, там, по моему мнению, нет склонений, нет и падежей»[9]

Еще большее значение морфологии придает проф В И Абаев «Совершенно очевидно что при установлении морфологической системы слово изменения имени (т е склонения) можно исходить только из морфологической характеристики, а не и функции»[10] Тезис В И Абаева слишком прямолинеен и заставляет вспомнить сомнения, высказанные в свое время акад А И Соболевским в «Русском историческом синтаксисе» «Если принять за основание звуковую форму имени то мы должны будем сказать что одни имена (например, *кость* — только с тремя разными звуковыми формами единственного числа) имеют меньше падежей, чем другие »[11] В западной лингвистике с аналогичным возражением против узко морфологического критерия выступал голландский романист де Бур По его словам, морфологист не вправе утверждать что, например лат *gladio* представляет собой две совпадающие формы — форму дательного и форму отложительного падежа, потому что форма то одна[12] К этому можно добавить что с узко морфологической точки зрения следовало бы признать разными падежами русск *сахара, сахару пилой, пилою*

Де Бур выдвигает «чисто синтаксический» критерий Он пишет «Если сравнить между собой конструкции вроде следующих

Je suis a Rome — Romae sum (я нахожусь в Риме)
Je vais a Rome — Romam eo (я иду в Рим)
La maison de Pierre — domus Petri (Дом Петра)
Il se nuit — sibi nocet (Он вредит себе)
Il vient de Rome — Roma venit (Он приходит из Рима)—

---

[5] А Теодоров Балан Нова българска граматика София 1940 стр 43 (Цит по кн «Краткие сообщения Ин та славяноведения АН СССР» вып 10 стр 29)

[6] Там же

[7] L Hjelmslev La categorie des cas etude de grammaire generale I «Acta Jutlandica Aarhus 1935 VII 1 стр 68—69

[8] Там же стр 70

[9] Н П Некрасов По поводу двух статей А И Томсона о роде вин падеже «Известия Отд ния рус языка и словесности Имп акад наук , т XIV, кн 3 СПб 1910 стр 51—52

[10] В И Абаев Осетинский язык и фольклор М — Л Изд во АН СССР 1949 стр 130

[11] Цит по кн В В Виноградов Русский язык М — Л Учпедгиз 1947 стр 109

[12] См C de Boer L'idee de «cas» ou de «rapports casuels» dans des langues mine le latin et le français «Revue de Linguistique Romane» t IV Paris 1928, стр 290

то в этих двух рядах можно установить морфологические различия, но (не удается установить) никакого различия в синтаксическом плане»[13] Далее автор рекомендует различать морфологические падежи (падежи) и синтаксические падежи (падежные отношения) При этом не всякое сочетание предлога с именем во французском языке следует, по мысли де Бура, считать синтаксическим падежом «Мы будем иметь право говорить о родительном, отложительном, местном и других падежах также и во французском, лишь если соответствующие предлоги функционируют точно таким же образом, как и падежные окончания латинского»[14]

Остается без объяснения, почему именно латинский язык должен служить в данном случае каким то эталоном Построения де Бура опираются на субъективные восприятия и на произвольный выбор терминов сравнения Одним из наиболее слабых мест в цепи его рассуждений оказывается попытка установить какие то чисто падежные отношения в отличие от локальных, временных, причинно следственных и других отношений Де Бур приходит в конце концов к антиисторическому универсализму, объявляя всеобщими шесть синтаксических падежей

Е В Чешко которая выступала на совещании с докладом о проблеме падежа в применении к болгарскому языку, повторила некоторые положения де Бура «В системе выражения синтаксических отношении существительного,— читаем в докладе,— можно выделить две группы синтаксических отношении

1 Собственно падежные отношения, выражаемые системои падежей Из предложных сочетании в эту группу входят сочетания с предлогом *на* в значении дательного адресата и приименного дополнения

2 Синтаксические отношения, которые нельзя назвать падежными, так как они не имеют в болгарском языке падежного выражения»[15].

Де Бур «установил» чисто падежные синтаксические конструкции во французском языке по соотношению их с латинскими падежами Е В Чешко отвергает подход к изучению грамматических категорий данного языка с точки зрения грамматических категорий какого то другого хотя бы и родственного языка Она устанавливает «собственно падежные» синтаксические отношения существительного в болгарском языке по соотношению предложно именных конструкций с системой местоименного склонения в болгарском же языке В этом отличие позиции Е В Чешко от позиции де Бура Общим является компромиссный характер предлагаемого решения и де Бур, и Е В Чешко, как и поддержавшие ее участники совещания, пытаются соединить на почве синтаксиса две противоположные точки зрения, охарактеризованные выше (семантическая, морфологическая) Посмотрим, как это делается

В В Бородич построила следующую цепь умозаключений «Падеж — категория грамматическая, а не только морфологическая Грамматическая система — единая система Если есть выражение падежей в местоимениях, естественно (? — *Г П*) оно должно быть и в именах»[16] Ей возражала А М Френкель, высказавшаяся против перенесения категории одной части речи на другую[17] Замечание А М Френкель справедливо В самом деле, никто ведь не считает, например, грамматическую категорию числа акциденциеи имен прилагательных в английском языке на том основании, что этои категорией охватываются имена существительные

[13] Там же стр 300

[14] Там же

[15] «Основные вопросы грамматики современного болгарского литературного языка» стр 32

[16] Там же стр 49

[17] См там же стр 53

английского языка. Высказывание В. В. Бородич бездоказательно. Е. В. Чешко в заключительном слове разъяснила, почему она считает правомерным рассматривать падеж как грамматическую категорию существительного. Оказывается потому, что «местоимение-существительное и имя существительное в синтаксическом отношении тождественны...»[18].

Но так ли это? Фактический материал, которым оперировали участники дискуссии—и сторонники,и противники точки зрения Е. В. Чешко,—довольно скуден и очень напоминает отбор примеров, использованных де Буром. Между построениями *domus Petri* и *la maison de Pierre* де Бур, как уже говорилось, не усматривал никакого различия в синтаксическом плане. И это верно: здесь трудно заметить различия. Стоит, однако, выйти за пределы подобных элементарных сопоставлений, чтобы с достаточной очевидностью выявилась синтаксическая неадекватность сравниваемых грамматических средств. Ср.:

... pasemos a recordar otros sucesos del mes de Octubre; de este mes *de* grata transición ... entre los placeres del campo y los no ménos sabrosos *de* la córte y la ciudad (D. Ramón de Mesonero Romanos, Tipos y caractéres, 9[a] ed., Madrid, 1881, стр. 186).

«... напомним теперь о других событиях, (произошедших в) октябре, в этом месяце благодатн*ого* перехода от удовольствий дачного сезона к не менее приятным (удовольствиям) столичного города (буквально: двора и города)».

Если бы флективный показатель падежа целиком равнялся предлогу, мы должны были бы поставить в переводе: «... месяце благодатного переход-...» или «...благодатн- перехода...» и «...(удовольствиям) двора и город-.» Ср. еще:

... asombrando con mis hechos heróicos *a* españoles y franceses (Benito Pérez Galdós, Cádiz, Moscú, 1951, стр. 19).

«...удивляя своими (буквально: моими) подвигами испанц*ев* и французов».

Или

A la mañana siguiente ... encontré *a* Daniel Suárez, mi compañero de cuarto (Armando Palacio Valdés, La Hermana San Sulpicio, ed. Th. Nelson, s. d., стр. 74).

«На следующее утро .. я встретил Даниэля Суареса, м*ое*го товарища по комнате».

Неадекватность падежа и предложной конструкции еще более рельефно проступает в построениях такого, например, типа:

Pero al fin sucedió lo de siempre ... (D. Ramón de Mesonero Romanos, указ. соч., стр. 231).

«Но в конце концов произошло всегдашнее...»

Lo de siempre синтаксически ничем не отличается от *la casa de Pedro*. Если следовать де Буру, пришлось бы утверждать, что в испанском склоняются даже наречия, не говоря уже о любом субстантивированном слове или словосочетании. Ср.:

... y siguiendo el sagrado precepto del *crescite et multiplicamini*... (D. Ramón de Mesonero Romanos, указ. соч., стр. 223).

«... и следуя священному завету, (гласящему:) плодитесь и размножайтесь...»

Или:

Su diversión favorita consiste en ir de un corro a otro diciendo: — Hoy tenemos conejo al vino blanco...

---

[18] «Основные вопросы грамматики современного болгарского литературного языка», стр. 61.

— Seguro que Miguel está de operaciones — me dice el del conejo al vino blanco... (J. Izcaray, 30 días con los guerrilleros de Levante, Moscú, 1951, стр. 56, 58).

«Излюбленное его развлечение состоит в том, что он переходит от одного кружка к другому, приговаривая: „сегодня (на обед) у нас кролик, (вымоченный) в белом вине“[19].

— Наверняка Мигель сейчас в деле,— говорит мне тот, (кто обычно толкует о) кролике, (вымоченном) в белом вине».

Последние два примера чрезвычайно показательны. Они свидетельствуют об особых синтаксических возможностях аналитической техники, о специфике ее сравнительно с морфологическим словоизменением. Если приравнивать *el precepto del crescite et multiplicamini* к лат. *verbum vindictae* «слово „мщение“», лат. *oppidum Antiochiae* «город Антиохия» и видеть здесь этакий аналитический genetivus epexegeticus, то по необходимости придем к утверждению, что в испанском склоняются... латинские императивы. Между тем, оставаясь в пределах сопоставлений вроде лат. *verbum vindictae* — франц. *le mot de vengeance* «слово „мщение“»; лат. *oppidum Antiochiae* — франц. *la ville de Paris* «город Париж», легко сбиться на то, чтобы усмотреть в них синтаксическое тождество. Но тогда возникает вопрос: как очертить границу той совокупности языковых единиц, которые охватываются «аналитическим склонением»? Ведь во втором нашем примере показатель аналитического «родительного» относится не к слову *el conejo*, а к словам *el conejo al vino blanco*, что можно изобразить, употребляя скобки:— *me dice el d(el conejo al vino blanco)*.

Надо полагать, что исследование конкретного материала болгарского языка позволит установить еще и другие особенности, отличающие аналитический способ выражения грамматических значений от способа морфологического. Пока ясно только, что коротенькие примеры (типа *кожа на лисица* и др.), которые приводились участниками дискуссии, не могут составить достаточно солидной базы для окончательных выводов.

Е. В. Чешко, поясняя свой тезис о синтаксическом тождестве местоимения-существительного и имени существительного, говорила, что «они выполняют одни и те же функции и могут в предложении заменять друг друга»[20]. Но это не точно. Сама Е. В. Чешко привела в докладе пример, где замена местоимения существительным невозможна. Мы имеем в виду плеонастическое построение, иначе именуемое построением с местоименной репризой (*на Иван му се сторило*), в котором местоимение, с одной стороны, и существительное, с другой, играют различную синтаксическую роль.

В испанском языке тоже встречаются плеонастические конструкции. Представляется целесообразным остановиться на одной их особенности: возможно, нечто похожее можно будет наблюдать и на болгарском материале. Ср.:

Demostró que a los comunistas, como dice Dolores Ibarruri, se *les* puede romper, pero no se *les* puede doblar [Fernando Claudín, Los héroes de Barcelona, «¡Por una paz duradera, por una democracia popular!» (Bucarest) 4 VII 52].

«Он показал, что коммунистов, как говорит Долорес Ибаррури, можно убить, но нельзя согнуть (буквально: можно *их* убить, но нельзя *их* согнуть)».

---

[19] Шутка партизана-повара состоит в том, что в дальнейшем никакого кролика на обед не подается.

[20] «Основные вопросы грамматики современного болгарского литературного языка», стр. 61.

Плеонастическое местоимение ставится, как видим, перед каждым глаголом В построении без местоименной репризы повторение имени существительного не требуется Ср

Demostro que se puede romper, pero no se puede doblar a los comunistas

Таково тонкое, но вместе с тем важное, на наш взгляд, различие, наблюдаемое в синтаксическом плане между именем существительным и местоимением [21] Это различие не противоречит синтаксической соотносительности, которая наблюдается между падежной формой местоимения и предложной конструкцией Сошлемся опять-таки на испанский материал, при анализе которого нельзя не учитывать эту сторону грамматической структуры языка

Вейганд, конечно, неправ в своем утверждении, будто «в испанском *a* ощущается совершенно одинаково (независимо от того), скажу ли я *voy a la puerta* (я иду к двери), или *doy pan a la vieja* (я даю хлеба старухе) *A la vieja* для языкового чутья испанца в такой же мере не дательный падеж, как и *a la puerta*» [22] Верно только то, что *a la vieja* не является дательным падежом Но нельзя поставить знак равенства между *a la vieja* и *a la puerta*, ибо можно сказать *le doy pan*, но невозможно предложение *le voy* (например, в ответ на вопрос *Vas a la puerta?* — нельзя сказать *Sí, le voy*)

В первом случае косвенное дополнение, выраженное сочетанием предлога *a* с несклоняемым словом, соотносительно с дательным падежом неударенного личного местоимения (*le*), во втором случае — не соотносительно

Различная семантическая наполненность одинаковых по форме конструкций не только воспринимается с помощью языкового чутья, но находит еще свое объективное проявление Так, наличие в испанском предложении косвенного дополнения с предлогом *a*, которое не поддается замене дательным падежом местоимения, не отменяет постановки предлога *a* перед прямым дополнением Ср

Rosario llevo *a* su primo *a* una hermosa habitacion (Benito Pérez Galdos, Doña Perfecta, 8ª ed, Madrid, 1896, стр 35)

«Росарио повела двоюродного брата в красивую комнату »

Или

llamando *a* los trabajadores *a* la huelga y *a* la protesta [Antonio Mije, La clase obrera, a la cabeza del pueblo español, en la lucha contra

---

[21] Попутно заметим что Н И Толстой, уже обративший внимание участников дискуссии на возможность истолковать пример *на Иван му се сторило* не в пользу Е В Чешко, повидимому упрощает вопрос о происхождении плеоназма «Недостаток средств для выражения определенных падежных отношений — говорит Н И Толстой — и заставил здесь изыскивать новые средства этого выражения » (там же стр 52)

Испанский материал показывает что местоименная реприза широко практикуется в народной речи даже в тех случаях, когда никакая двусмысленность фразе не угрожает Ср

Decíle a Teresa que *la* mande a la Juana al mercado (Berta Elena Vidal de Battini, El habla rural de San Luis Bs Aires 1949, стр 384)

«Скажи Терезе, чтобы послала Хуану на базар»

Согласно литературной норме

Dia Teresa que mande a Juana al mercado

Или

La vieje viendu d'ai qu il dispot *la*'sta bizandu*le* a la mose [M A Luria A Study of the Monastir Dialect of Judaeo Spanish based on oral material collected in Monastir, «Revue Hispanique» LXXIX, New York 1930, стр 355]

«Старуха видя оттуда как епископ целует девушку »

Здесь обращает на себя внимание двукратный плеоназм («сверхплеоназм»)

[22] G Weigand Spanische Grammatik fur Lateinschulen Universitatskurse und zum Selbstunterricht, Halle, 1922 (§ 85)

el fascismo, «¡Por una paz duradera por una democracia popular!» (Bucarest) 8 VI 51]

« призывая трудящихся к забастовке и протесту »

Если же косвенное дополнение соотносительно с дательным падежом местоимения, то прямое дополнение вводится непосредственно (без предлога)[23] Ср

Como el Cid quiere encomendar en la batalla *sus yernos a* Pero Vermuez, asi Carlomagno encomienda *el joven Roldan*, que pelea por primera vez en Aspremont, *a* la custodia de Ogier el Danes (R Menendez Pidal, Cantar de Mio Cid, t II, Madrid, 1911, стр 464)

«Как Сид хочет препоручить на время сражения своих зятьев Педро Бермудесу, так и Карл Великий отдает молодого Роланда, впервые вступающего в бой у Аспремонта, под покровительство Ожье Датчанина »

Итак, соотносительность некоторых предложных конструкций с соответствующим падежом склоняемого местоимения нельзя оставлять без внимания, когда речь идет об исследовании синтаксических норм, действующих в языке типа испанского, французского, болгарского Но соотносительность не есть тождество Ошибка Е В Чешко, на наш взгляд, в том как раз и состоит, что из верного наблюдения она делает не вытекающий из него вовсе и потому ложный вывод, который тянет за собой требование признать кое какие из сочетаний неизменяемого имени с предлогом аналитическими формами падежа

Ю С Маслов пытался подкрепить тезис Е В Чешко такими соображениями «Почему, когда мы говорим, что глагол *съм* плюс причастие или, в русском языке, глагол *буду* плюс инфинитив есть форма времени, мы не боимся смешения морфологии и синтаксиса? Почему форма времени может быть сложной, состоящей из двух слов, а форма падежа — не может?»[24]

Строго говоря, сочетание *буду писать* не есть форма слова Здесь сочетание двух слов, каждое из которых имеет свою собственную форму[25] Правда, в науке утвердилось использование термина «аналитическая форма будущего времени»[26] (лучше бы говорить об аналитическом способе передачи будущего времени) Но эта терминологическая неточность в отношении глагольной категории не грозит такими осложнениями, какие неизбежно возникают, если применять термин «аналитический падеж» Дело в том, что аналитическая конструкция «буду + инфинитив» четко соотносится с морфологическим выражением категории времени, причем соотношение это имеет место в пределах одной и той же части речи Кроме того, внутри сочетании «буду + инфинитив» не встречается грамматиче-

[23] Нарушения этой закономерности имеют место Ср — Tengo el honor de presentar a usted, al senor Sanjurjo (A Palacio Valdes La hermana San Sulpicio стр 263) «Имею честь представить Вам сеньора Санхурхо » Причины нарушении не ясны до конца Однако общая тенденция сформулированная выше, проступает достаточно отчетливо

[24] «Основные вопросы грамматики современного болгарского литературного языка», стр 60

[25] Характерно, что когда будущее время передано аналитическим способом прямое дополнение в отрицательном предложении ставится не в родительном, а в винительном падеже Ср *Я не читал этои статьи* но *Я не буду читать эту статью* нельзя сказать *Я не буду читать этои статьи*, т е так как в предложении *Я не хочу читать эту статью* где, по общему мнению, мы имеем сочетание двух слов — *хочу* и *читать*

[26] См , например В В Виноградов, Русский язык, стр 569 Попутно заметим что акад В В Виноградов признает «некоторую синтаксическую самостоятельность» ф о р м ы *буду*

ских омонимов[27]. Этих условий нет внутри сочетаний несклоняемых имен с предлогами. Поэтому термины «аналитический падеж», «аналитическое склонение» только запутывают дело.

Целям научного исследования наиболее соответствует, на наш взгляд, определение падежа как морфологической категории. Е. В. Чешко и В. В. Бородич усматривают в таком определении падежа, повидимому, тот минус, что синтаксические отношения имени будто бы остаются вне поля зрения исследователя[28]. Но это — недоразумение. Определив категорию падежа как категорию морфологическую, мы тем самым отнюдь не устраняем необходимости исследовать синтаксические отношения склоняемых слов[29]. «Мы изучаем правила изменения слов данного языка и, следовательно, изменение имени по падежам в морфологии, но установить, имеем ли мы дело с двумя различными падежными формами или с двумя дублетными формами одного и того же падежа, мы можем лишь на основании тождества или различия синтаксических значений соответствующих форм, т. е. на материале той области, задачей которой является изучение „сочетания слов в предложении„»[30]. Таким образом, нет серьезного основания спорить о том, является ли категория падежа категорией морфологической или грамматической. Это — морфологическая, тем самым и грамматическая категория.

О категории падежа можно говорить лишь постольку, поскольку в языке обнаруживается определенная система словоизменительных форм, с помощью которых выражаются понятия о связях между предметами, явлениями, действиями и качествами в мире объективной действительности. В языках, где такой системы нет, нет склонения, а потому нет и падежей.

В грамматической категории падежа, там, где она есть, проявляется национальная самобытность языков (как, впрочем, и во всех других грамматических категориях). Специфика языков сказывается не только в том, что количество падежей разнится от языка к языку, и не только в том, что один и тот же падеж в различных языках имеет, как правило, неодинаковый объем значений. Специфика языков сказывается еще и в том, что категорией падежа охватываются в различных языках различные лексико-грамматические разряды слов. Так, в русском языке склоняются имена существительные, прилагательные, числительные, местоимения и причастия; в испанском, португальском, итальянском и современном французском языках склоняются только личные местоимения безударные. В болгарском языке система падежей имеет также свою специфику, но по своему характеру является более близкой к системе падежей в перечисленных выше романских языках.

---

[27] Под грамматическими омонимами мы подразумеваем случаи типа франц.: 1) les portes de la ville *sont fermées* tous les jours à 8 heures (= нем. werden geschlossen, лат. clauduntur) «городские ворота запираются ежедневно в 8 часов»; 2) les portes de la ville sont fermées (=нем. sind geschlossen, лат. clausae sunt) «городские ворота заперты».

[28] См. «Основные вопросы грамматики современного болгарского литературного языка», стр. 63 и 49.

[29] Если мы будем игнорировать синтаксис, то встанем на узко морфологическую точку зрения, которая не позволяет вскрыть систему словоизменительных форм.

[30] П. С. Кузнецов, О возникновении и развитии звуковых чередований в русском языке, «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, вып. 1, стр. 61.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1954

Р. Г. ПИОТРОВСКИЙ

О НЕКОТОРЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ

Отставание в разработке вопросов стилистики общеизвестно. Причин этого отставания несколько.

Во-первых, определение самого объекта, предмета изучения в области стилистики представляет собой значительные трудности по сравнению с аналогичными задачами других разделов языкознания. Это и понятно, поскольку стилистическая характеристика языкового элемента (слова, формы и т. п.) часто имеет слабые и порой неясные контуры и выступает всегда гораздо менее отчетливо, чем его основное лексическое или грамматическое значение. Именно в силу этого при стилистическом анализе действительно научные выводы часто подменяются импрессионистическими и субъективными оценками.

Во-вторых, принципы стилистического выделения и классификации языковых единиц не только не совпадают, но иногда даже резко расходятся с принципами классификации языкового материала в области фонетики, лексикологии и грамматики[1].

В-третьих, стилистические нормы языка изменяются неизмеримо быстрее, чем звуковая система языка, его словарный состав и тем более грамматический строй. Вместе с тем стилистические изменения неравномерны не только в различных социальных, профессиональных, возрастных группах говорящих, но и по отношению к отдельным индивидам. В связи с этим установление общеязыковых стилистических норм представляет часто значительные трудности.

В-четвертых, некоторые языковеды в своих стилистических исследованиях ограничиваются письменной формой литературной речи, а иногда замыкаются в рамки языка художественных произведений. Поэтому бывает, что стилистические явления, свойственные лишь литературно-художественной речи, рассматриваются как явления, присущие всему языку в целом. Все эти трудности стилистического исследования дают себя знать уже при определении основных категорий и понятий стилистики.

*

Обратимся к понятию речевого (языкового) стиля. Сам принцип выделения в языке отдельных его стилей пока еще недостаточно очерчен.

---

[1] Так, например, с точки зрения грамматики французские формы *je marchai, tu marchas, il marcha, nous marchâmes, vous marchâtes, ils marchèrent* являются членами одной парадигмы простого перфекта (Passé simple) от глагола *marcher*. С точки зрения стилистики эти формы вовсе не представляют собой единства. Формы *je marchai, il marcha, ils marchèrent* принадлежат к книжному стилю, но могут изредка встречаться и в устно-литературной речи; формы *tu marchas, nous marchâmes, vous marchâtes* имеют отчетливое книжно-архаическое звучание и в устной речи недопустимы. (См. Ph. Martinon, Comment on parle en français, Paris, 1927, стр. 347).

Многие языковеды видят в речевых стилях разновидности общенародного языка, связанные с определенными жанрами литературы. Этот принцип классификации проводится особенно прямолинейно тогда, когда речь идет о стилях литературного языка.

В качестве примера можно привести статью Э. Г. Ризель «Проблема стиля в свете трудов И. В. Сталина», в которой автор, пытаясь дать универсальную для всех языков систему стилей, пишет, что стиль художественной литературы, противопоставленный деловому, публицистическому и другим стилям, подразделяется на три «жанровые стиля»: стиль драмы, поэзии и художественной прозы. «Более того,— продолжает Э. Г. Ризель,— ... внутри стиля поэзии происходит новое дробление на ряд мелких подвидов, имеющих также свои специальные закономерности. Таким образом возникают стили народной песни, баллады, сонета и пр.» [2]

Жанрового принципа придерживается и А. И. Ефимов, различающий в современном русском литературном языке наряду с другими «стили художественно-беллетристические, в составе которых выделяются две основные разновидности: стили поэзии и стили прозы. В свою очередь,— продолжает А. И. Ефимов,—эти стили выделяют такие разновидности, как стиль сатиры, стиль басен и т. п. Поскольку существует такой литературный жанр, как басня, то есть все основания говорить о существовании баснописного стиля как исторически оформившейся системы речевых средств, способов и приемов словоупотребления, характерных для этого литературного жанра» [3]. Жанровый принцип используется А. И. Ефимовым и при выделении общественно-публицистических, профессионально-технических, научных, официально-документальных и эпистолярных стилей [4]. Этот же подход прослеживается, хотя и менее отчетливо, в классификации стилей русского языка, предлагаемой проф. А. Н. Гвоздевым [5].

Жанровый принцип классификации речевых стилей, как известно, имеет многовековую историю. Он использовался еще в античной поэтике (три стиля Аристотеля, древнеиндийские теории стиля). На жанровом разделении стилей построена поэтика и стилистика французского классицизма (ср., например, теорию трех стилей, на которую опирался в своем «Поэтическом искусстве» Буало и которая являлась постоянным критерием и ориентиром в языковедческих построениях Малерба и Вожла).

В настоящее время в западноевропейском языкознании жанровый принцип различения речевых стилей широко используется представителями так называемого неофилологического направления. Это и понятно: языковеды школы К. Фосслера и Б. Кроче видят в языке художественной литературы, точнее, в языке отдельного писателя, выступающего в роли «творческой личности», организующее и движущее начало общенародного языка.

Следует отметить, что сторонники жанровой классификации стилей выступают против размежевания стилистики общенародной речи и стилистики литературно-художественной речи, считая их лишь разделами

---

[2] Э. Г. Ризель, Проблема стиля в свете трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания, «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 2, стр. 14—15.

[3] А. И. Ефимов, Некоторые вопросы развития русского литературного языка XIX — начала XX в., «Вопросы языкознания», М., 1953, № 4, стр. 31. Ср. также его же, Об изучении языка художественных произведений, М., Учпедгиз, 1952, стр. 11.

[4] См. А. И. Ефимов, Некоторые вопросы развития русского литературного языка..., стр. 31.

[5] См. А. Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, М., Изд-во АПН РСФСР, 1952, стр. 14.

одиной общеязыковой стилистики. Однако развитие стилистических норм языка показывает, что выделение речевых стилей в связи с определенными литературными жанрами оказывается объективно оправданным лишь применительно к определенным периодам развития отдельных языков и их литературных норм. Так, вряд ли кто-нибудь будет возражать против отчетливой стилистической очерченности литературных жанров русской литературы вплоть до начала XIX в. Можно говорить о басенном стиле внутри русского литературного языка XVIII—XIX вв.; общность отбора лексики, фразеологии, синтаксических синонимов в баснях Крылова, Сумарокова или Дмитриева служит этому иллюстрацией. Жанровое разграничение языковых стилей отчетливо прослеживается во французском литературном языке XVII—XVIII вв., в классической латыни «золотого века» и т. д.

Однако вряд ли возможно стилистическое богатство прозы Пушкина и Гоголя, Толстого и Горького ограничить узкими рамками художественно-беллетристического стиля. Точно так же невозможно стилистическое разнообразие русской поэзии XIX и XX вв. ограничивать лишь «высоким» поэтическим стилем. Разве можно говорить об унифицированном с точки зрения языковых средств стиле сатиры в языке Гоголя или Щедрина, И. Эренбурга или Ильфа и Петрова? Что общего в стиле басен Демьяна Бедного и Михалкова? Разве лишь аллегорическое использование названий животных. Но это факт скорее поэтики, чем стилистики.

Закрепление языковых стилей за теми или иными литературными жанрами характерно лишь для определенных направлений в литературе. Так, эстетика классицизма строго ограничивала использование тех или иных речевых стилей в определенных жанрах (разговорно-бытовая речь — в комедии, книжная речь — в прозе, высокий стиль — в поэзии). Наоборот, эстетические нормы романтизма и особенно критического реализма допускали и даже требовали свободного варьирования и комбинирования в рамках одного произведения различных речевых стилей. Широкие социальные полотна в произведениях Гоголя и Толстого, Бальзака и Золя рисовали судьбу не одного или нескольких персонажей, но изображали социально-исторические конфликты, в которых участвовали многие действующие лица, представлявшие различные слои общества. Все это требовало от писателя широкого привлечения изобразительных возможностей, заключенных в различных стилях общенародного языка. «Укрепившийся под влиянием Пушкина,— пишет акад. В. В. Виноградов,— в передовой русской литературе реализм как метод глубокого отражения действительности — в соответствии с свойственными ей социальными различиями быта, культуры и речевых навыков — требовал от писателя широкого знакомства с словесно-художественными вкусами и социально-речевыми стилями разных сословий, разных кругов русского общества»[6].

Укрепление жанра «многолюдного» и многопланового произведения в русской литературе XIX и XX вв. и особенно в советской литературе окончательно утвердило и дало все права гражданства варьированию элементов разных стилей не только в рамках целого произведения или главы, но и в пределах одного абзаца и даже предложения. Наоборот, использование в произведении только одного речевого стиля становится все более редким явлением. Такое «одностилевое» построение чаще всего выступает как средство пародии или является признаком бедности слога писателя.

[6] В. В. Виноградов, Язык Гоголя и его значение в истории русского языка, «Материалы и исследования по истории русского литературного языка [Ин-та языкознания АН СССР]», т. III, М., 1953, стр. 15.

Условность и произвольность традиционной жанровой классификации стилей ощущает каждый языковед, работающий в области стилистики русского, немецкого, французского, английского и других высокоразвитых языков В этом смысле следует признать вполне своевременным выступление Ю С Сорокина, предложившего пересмотреть традиционное понимание термина «стиль языка»[7] Однако, справедливо указывая *на постоянное соединение в языке художественной литературы разностилевых элементов* и на отсутствие каких либо «замкнутых семантико стилистических систем, соответствующих тому или иному жанру литературы или письменности»[8], Ю С Сорокин распространяет это утверждение на весь общенациональный язык в целом Считая, что «решающим для характеристики того или иного стиля речи являются принципы соотношения и приемы объединения различных языковых средств в контексте речи»[9], Ю С Сорокин приходит к выводу, что по существу понятие стиля совпадает с понятием контекста Такое решение вопроса приводит к отрицанию объективного существования в языках речевых стилей

Но ликвидация научного понятия языкового стиля как «целесообразно организованной системы средств выражения»[10], как разновидности общенародного языка обозначает уничтожение основной стилистической категории А это грозит самому существованию этого важного раздела языкознания Чтобы выйти из этого затруднения, Ю С Сорокин предлагает различать стилистику аналитическую и стилистику функциональную «Стилистика аналитическая,— пишет автор,— прямой своей задачей имеет изучение синонимических соответствий слов и форм языка и определение границ общенародного употребления слов и форм языка при определенном состоянии его синонимической системы»[11], она регистрирует лишь определенные стилистические *возможности слов, форм и синтаксических конструкций. Таким* образом, стилистика аналитическая должна изучать инвентарь стилистических средств Наоборот, «стилистика функциональная изучает *конкретные принципы отбора, выбора* и объединения слов в контексте речи в связи с общим смыслом и назначением высказывания»[12] Следовательно, функциональная стилистика изучает применение стилистических средств в отдельных стилях контекстах

Таким образом, Ю С Сорокин в созданной им системе как будто бы обходится без речевых стилей Между тем объективное существование различных стилей языка неоспоримо, это ощущает каждый человек, говорящий или пишущий на том или ином языке Пожалуй, особенно отчетливо объективное существование речевых стилей обнаруживается в практике диалектологической работы даже неграмотные или малограмотные крестьяне прекрасно ориентируются в различных стилях речи Затрудняясь иногда в объяснении значения того или иного слова или формы, опрашиваемый, как правило, хорошо представляет себе соотнесенность данного слова, грамматической формы или оборота с тем или иным стилем

---

[7] См Ю С Сорокин, Об основных понятиях стилистики, «Открытое расширенное заседание Ученого совета [Института языкознания АН СССР], посв 3 ей годовщине выступления И В Сталина по вопросам языкознания 19—23 июня 1953 г Тезисы докладов», М 1953, стр 13

[8] Там же, стр 13

[9] Там же стр 15

[10] См В В Виноградов О задачах истории русского литературного языка преимущественно XVII—XIX вв , «Известия АН СССР Отд ние лит-ры и языка» М 1946, вып 3, стр 225

[11] Ю С Сорокин, указ тезисы стр 13

[12] Там же

речи (ср стилистические оценки, которые часто приходится слышать диалектологу от говорящего на диалекте «это по-городскому, а это по нашему, по-деревенскому», «это по ученому», «так пишут в газетах, в книгах» и т п)

Наблюдения над живой разговорной речью показывают, что в сознании говорящего стилистические значения произносительных вариантов, слов, грамматических форм и конструкций живут не разрозненно, в виде лишь определенных возможностей (ср «аналитическую стилистику» Ю С Сорокина), но имеют системный характер [13]

Любое стилистическое исследование выявляет объективное существование речевых стилей Речевые стили незримо присутствуют и в построениях Ю С Сорокина направленных на отрицание этих стилей («гони природу в дверь — она влетит в окно») Указывая, что «с т и л и с т и к а а н а л и т и ч е с к а я прямой своей задачей имеет изучение синонимических соответствий слов и форм языка и о п р е д е л е н и е г р а н и ц о б щ е н а р о д н о г о у п о т р е б л е н и я с л о в и ф о р м я з ы к а» [14] (разрядка моя — *Р П*) и считая необходимым произвести « пересмотр системы стилистических помет, принятых в толковых словарях современных языков» [15], Ю С Сорокин молчаливо признает факт существования определенных разновидностей общенародного языка, т е стилей Ведь границы употребления тех или иных языковых элементов могут быть определены лишь относительно стилей речи, а стилистические пометы, как известно, являются ничем иным, как указанием на принадлежность данного языкового элемента к тому или иному языковому стилю (см ниже)

Обнаружившееся в докладе Ю С Сорокина стремление поставить под сомнение объективное существование речевых стилей не случайно оно отражает те возникающие при классификации стилистических явлении трудности, которые обусловлены особым, многоплановым характером этих явлении, отражающих и объединяющих в себе элементы грамматической, лексической и звуковой систем языка Короче говоря — это трудности научного обобщения, встающие перед исследователем, стремящимся найти правильное соотношение общего и частного Аналогичные

---

[13] В качестве примера на «чувство речевого стиля» приведу случаи из моей диалектологической практики В анкете использующейся для составления молдавского диалектологического атласа есть вопрос на выявление формы притяжательного артикля *ал* По нормам литературного молдавского языка этот артикль изменяется по родам и числам (*ал а-аи-але*), диалектная речь и просторечие дают повсеместно лишь одну форму — *а* Но вот однажды совершенно случайно вместо обычно использовавшихся бытовых слов «сын», «ребенок», «лошадь» «дом и т д крестьянину было подсказано «книжное» слово — «карандаш» (*креион*) с которым и нужно было употребить притяжательный артикль Опрашиваемый — неграмотный старик — ответил литературным оборотом — *ун креион ал меу* «мои карандаш» Характерно, что наряду с книжной формой артикля он употребил и литературную произносительную форму неопределенного артикля (*ун* вместо *ў*) и *меу* вместо диалектно просторечного притяжательного местоимения *н еу* Вслед за этим крестьянину была подсказана эта же конструкция, но редкое для него слово «карандаш» было заменено бытовым словом «лошадь» Последовал ответ с просторечными формами артиклей и притяжательного местоимения — *ў кал а н'еу* На вопрос, нельзя ли сказать *ў креион а н' еу* (т е соединить «ученое» слово с просторечными грамматическими и фонетическими формами), опрашиваемый ответил отрицательно подтвердив, при общем одобрении присутствовавших односельчан что «правильно по молдавски можно только сказать *ў кал а н еу* но *ун креион ал меу*» Этот эксперимент повторенный мной в беседах с жителями и других сел повсюду давал аналогичный результат Само собой разумеется, что у грамотных и вообще образованных людей степень овладения системой стилей родного языка является еще более высокой

[14] Ю С Сорокин указ тезисы стр 13

[15] Там же, стр 16

трудности научного обобщения оказались непреодолимыми для буржуазных диалектологов школы Жильерона, которые, отказавшись от научного понятия «территориальный диалект», признали единственно реальными отдельные диалектные явления Эти же трудности в определении правильного соотношения частного и общего оказались непреодолимыми и для Ф де Соссюра, противопоставлявшего язык как систему лингвистических знаков индивидуальной речи, в которой реализуется эта система

Явление не должно рассматриваться в отрыве от его функции, как не должно противопоставляться общее частному « отдельное,— писал В И Ленин,— не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему Общее существует лишь в отдельном, через отдельное»[16] Нельзя отказываться от общего понятия речевого стиля только потому, что трудно наблюдать тот или иной стиль «в чистом виде» Постоянное комбинирование в языке художественного произведения различных речевых стилей еще не обозначает, что стили языка реально не существуют. «Значение *общего*,— указывал В И Ленин,— противоречиво оно мертво, оно нечисто, неполно, etc etc , но оно только и есть *ступень* к познанию *конкретного* »[17] Понятие речевого стиля является абстракцией, правильно отражающей объективные внутриязыковые связи

Объективное существование речевых стилей, представляющих собой «семантически замкнутые, экспрессивно ограниченные и целесообразно организованные системы средств выражения»[18], обусловливается некоторыми специфическими особенностями языка, отличающими его от других общественных явлений Существование различных сфер, условий и задач общения вызывает к жизни различные формы функционирования языка Иллюстрацией этого положения может служить существование речи устной и письменной, диалогической и монологической Различия в целях общения отражаются в разграничении бытовой, научно деловой и литературно-художественной форм речи

Эти различные формы функционирования языка постоянно взаимодействуют и переплетаются между собой Многоплановость взаимопроникновения стилистических явлений служит одной из причин тех трудностей и ошибок, которые возникают при классификации и характеристике разновидностей и форм языка Так, некоторые языковеды склонны отождествлять понятие речевого стиля с понятием формы и разновидности языка[19] Они полагают, что поскольку каждая из форм функционирования языка характеризуется обычно особым отбором языкового материала, а вопрос отбора языкового материала является основным элементом научного понятия «стиль», постольку удобнее говорить о просторечном и литературном стиле, диалогическом и монологическом стиле, оставляя в стороне термины «норма», «речь», «форма» и т д

Языковеды, отождествляющие понятие речевого стиля с понятием разновидности языка, не различают в данном случае причину и следствие Действительно, различия в исторических условиях, сферах, формах и задачах общения, вызывающие к жизни существование ответвлений, разновидностей и форм функционирования языка, определяют выбор

---

[16] В И Ленин, Философские тетради Госполитиздат 1947, стр 329

[17] Там же, стр 261

[18] В В Виноградов, О задачах истории русского литературного языка преимущественно XVII—XIX вв , «Известия АН СССР Отд ние лит ры и языка , М , 1946, вып 3, стр 225

[19] Такое отождествление понятий «речевой (языковой) стиль» и «форма языка» характерно, например, для интересной в целом статьи Н Н Амосовой «К проблеме языковых стилей в английском языке в связи с учением И В Сталина об общенародном характере языка» (см «Вестник Ленингр ун-та», Л , 1951 № 5 стр 35 и сл) (ср в этом же плане упоминавшиеся уже статьи Э Г Ризель и А И Ефимова

тех или иных элементов из разных синонимических рядов В результате складываются общие нормы этого отбора, т е речевые стили И хотя определенные речевые стили функционально связаны с теми или иными формами и разновидностями языка, эта связь не обозначает их полного совпадения Так, если для научно деловой речи характерен особый отбор языкового материала, то это еще не значит, что этот материал не может быть использован в литературно-художественной речи И наоборот, научно-деловая речь может иногда обращаться к стилистическим средствам бытовой речи Стиль устной речи может использоваться и в письменной речи (например, диалог в художественном произведении), и, наоборот, устную речь можно построить в стиле, характерном для письменной речи

С другой стороны, не все разновидности речи имеют единые принципы отбора речевого материала Так, невозможно говорить о едином литературно-художественном стиле, поскольку в художественной литературе используются языковые средства, присущие обычно самым разнообразным стилям Нельзя говорить и о литературном стиле вообще Литературный язык, являясь высшей обработанной формой общенационального языка и обслуживая самые широкие массы общающихся, сам функционирует в формах речи письменной и устной, диалогической и монологической, научно-деловой, художественной и бытовой А все эти формы речи различаются по отбору в них языкового материала

Таким образом, речевые стили создаются на базе взаимодействия разновидностей и форм функционирования языка, поэтому основным принципом выделения и разграничения стилей должен быть принцип функциональный [20]. Что касается жанрового принципа, то он опирается на временные и непостоянные связи отдельных стилей с определенными литературными жанрами Эти связи не обусловлены внутренней спецификой речевых стилей, они возникают в связи с определенными поэтико эстетическими установками некоторых литературных направлений

*

Одним из основных понятий, которыми оперирует стилистика, является понятие экспрессивно-стилистической характеристики Этим понятием постоянно пользуются и другие отделы языкознания, в частности лексикология (ср стилистические характеристики слов) Однако именно здесь отчетливо обнаруживается нечеткость, а иногда и внутренняя противоречивость понятия стилистической характеристики, под которое часто подводятся очень разные явления В этом легко можно убедиться, знакомясь с системой стилистических помет, используемых при составлении словарей

Так, в «Толковом словаре русского языка» под ред Д Н Ушакова стилистические пометы объединяются в пять групп 1) «пометы, указывающие на разновидности устной речи» разговорное, просторечье, фамильярное, детское, вульгарное, арго, школьное, областное 2) «пометы, указывающие на разновидности письменной речи» книжное, научное, техническое, специальное газетное, публицистическое, канцелярское, официальное, поэтическое, народно поэтическое 3) «пометы, устанавливающие историческую перспективу в словах современного языка» новое, церковно-книжное, старинное, устарелое 4) «пометы к словам, обозначающим предметы и понятия чуждого быта» историческое, дореволюционное, заграничное, 5) «стилистические пометы, указывающие на выра-

[20] Одно из наиболее последовательных применений этого принципа в классификации речевых стилей мы находим у Л В Щербы (см Л В Щ е р б а Современный русский литературный язык «Русский язык в школе» М , 1939 № 4 стр 21—23) Функциональный критерий в определении стилей английского языка пытается использовать Н Н Амосова (см Н Н А м о с о в а указ соч , стр 33 и сл)

нительные оттенки (экспрессию) слов»: бранное, ироническое, неодобрительное, шутливое, презрительное, пренебрежительное, укоряющее, торжественное («употребительное только в торжественном стиле»), риторическое («употребительное только в стиле риторическом, патетическом или направленном на то, чтобы внушить слушателю то или иное отношение к предмету»); эвфемистическое («употребительное эвфемистически для замены прямого обозначения чего-нибудь описанием с целью скрыть, прикрыть что-нибудь предосудительное»)[21].

Это распределение помет по указанным пяти группам опирается по крайней мере на три классификационных принципа: на соотнесенность с определенными стилями речи (группы 1-я и 2-я), на соотнесенность с исторической, социальной, профессиональной и т. д. тематикой (группы 3-я, 4-я и отчасти 2-я) и на оценочно-эмоциональную характеристику слов (группа 5). К тому же и эти разные принципы классификации не везде выдержаны. Пометы «специальное» или «техническое», включенные во 2-ую группу, скорее отражают соотнесенность с определенной тематикой, чем связь с особым «техническим» или «специальным» стилем,— вряд ли эти последние реально существуют в языках. Помета «фамильярное» обозначает скорее присущий слову оценочно-эмоциональный оттенок, чем отнесенность слова к особому «фамильярному» стилю. Спорным является отнесение к эмоционально-оценочным помет «торжественное», «риторическое», «эвфемистическое».

Особенно наглядно соединение различных классификационных принципов обнаруживается в системе стилистических помет, используемой С. И. Ожеговым в его «Словаре русского языка». Здесь различается три группы стилистических помет: 1) «пометы, указывающие стилистическую характеристику слова»: книжное, высокое, официальное, разговорное, просторечное, областное, презрительное, неодобрительное, пренебрежительное, шутливое, ироническое, бранное; 2) помета «специальное», которая «обозначает принадлежность слова к определенному кругу профессионального (научного, технического и т. п.) употребления»; 3) «пометы, указывающие историческую перспективу»: старинное, устаревшее[22]. Если последние две группы помет указывают на соотнесенность слова с определенной тематикой, то первая группа включает как пометы, указывающие на принадлежность слов к определенным речевым сферам и стилям, так и пометы оценочно-экспрессивного характера.

Несмотря на явные различия, приведенные стилистические характеристики имеют и общие черты.

Экспрессивно-стилистические характеристики группируются вокруг основного значения слова или грамматической формы. «Все многообразие значений, функций и смысловых нюансов слова,— указывает В. В. Виноградов,— сосредоточивается и объединяется в его стилистической характеристике»[23]. Стилистическая характеристика слова или формы складывается из элементов, разнородных по своему происхождению, значению и функциям. Помимо того, что стилистические оттенки различаются большей или меньшей степенью обобщенности или конкретности, они разграничиваются также «качественно»: в одних преобладает интеллектуально логический элемент, в других на первый план выдвигается момент эмоционально-оценочный. Первый тип стилистической характеристики — стилистическая окраска слова или грамматической формы — возникает на основе

[21] «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, т. I, стр. XXV—XXVIII, §§ 13—17.

[22] «Словарь русского языка», сост. С. И. Ожегов, 3-е изд., М., Изд-во иностр. и нац. словарей, 1953, стр. 6, §§ 16—18.

[23] В. В. Виноградов, Русский язык, М.— Л., Учпедгиз, 1947, стр. 20.

их функциональных и смысловых связей. Стилистическая окраска является как бы отпечатком, отражением того речевого стиля, в котором обычно живет данное слово или форма. При употреблении языковой единицы в привычной для нее стилистической среде стилистическая окраска сливается с общим колоритом речевого стиля. При перенесении слова или грамматической формы в необычную для них речевую «обстановку» стилистическая окраска выступает с особой отчетливостью[24].

В этом плане следует рассматривать и понятие стилистической нейтральности языковой единицы. Слово или грамматическую форму можно считать действительно нейтральным лишь тогда, когда они употребляются абсолютно во всех стилях языка, не различаясь произносительными вариантами. Обычно нейтральными считаются слова и грамматические формы литературного языка; в действительности и эти языковые элементы имеют свою — «литературную» окраску, которая отчетливо обнаруживается при употреблении этих «нейтральных» форм в нелитературной речи. Так, например, в пьесе М. Горького «На дне» на общем просторечном фоне языка большинства действующих лиц наиболее стилистически окрашенной оказывается литературно-«нейтральная» речь Барона и Актера. Аналогичный художественный прием находим в романе А. Барбюса «Огонь». Речь всех солдат взвода — диалектная или просторечная; на этом фоне литературная речь унтер-офицера Бертрана имеет отчетливую стилистическую окраску, которая служит средством речевой характеристики героя — наиболее сознательного и правильно понимающего империалистическую сущность войны солдата.

Наряду со стилистической окраской, отражающей соотнесенность языковых элементов с определенными речевыми стилями, существуют так называемые дополнительные стилистические оттенки. Этот вид стилистических значений отражает ассоциативную или функциональную соотнесенность языковой единицы с определенной тематикой или ситуациями. Многообразие тематики и ситуаций обусловливает поразительную многоплановость и разнообразие этих стилистико-смысловых ассоциаций. Кроме того, отдельные слова и выражения могут соотноситься непосредственно с тем или иным художественным произведением (ср., например, некоторые «крылатые слова и выражения»), с историческими событиями (ср. метафоризацию собственных имен исторических личностей, географических названий и т. п.), с конкретными фактами быта. Дополнительные стилистические оттенки могут быть свойственны не только словам или грамматическим формам, но иногда они могут быть связаны с определенными звуками или сочетаниями звуков[25].

---

[24] Ср. художественное (стилевое) использование этого явления у Л. Толстого: « — Но зато в архитектуре знания Анны Аркадьевны удивительны,— сказал Тушкевич.— Как же, я слышал вчера Анна Аркадьевна говорила: в стробу и плинтусы,— сказал Весловский.— Так я говорю?» («Анна Каренина»). Автора и героя не интересуют значения обоих терминов, они остаются неизвестными Весловскому (ср. последнее «Так я говорю?») да и большинству читателей-неспециалистов. Зато на первый план выдвигается стилистическая окраска терминов, которая вызывает у читателя представление обо всем профессиональном языковом круге.

Приведенный пример еще раз опровергает распространенное мнение о стилистической нейтральности термина. Это представление основывается на ошибочном отождествлении стилистической окраски термина с оценочной экспрессией, которая действительно, как правило, отсутствует у научных и специальных терминов. Впрочем, в ряде случаев термин может приобретать и оценочную экспрессию [см. Р. Г. Пиотровский, К вопросу об изучении термина, «Вопросы грамматического строя и словарного состава языка», 2 («Ученые записки Ленингр. ун-та», № 161, Серия филол. наук, вып. 18), Л., 1952, стр. 28 и 30—33. См. также ниже, стр. 64].

[25] Ср. стилизующий английскую речь подбор ничего не значащих звуковых комплексов у Маяковского: «Есть нравящийся мне размер какой-то американской песенки, еще требующей изменения и руссифицирования:

С другой стороны, рядом с дополнительными стилистическими оттенками, имеющими общеязыковое значение, существуют смысловые ассоциации индивидуального характера [26], источником возникновения которых могут быть не только различия в культурном уровне, профессии, жизненном опыте, но также и психо-физиологические особенности данного индивидуума. Стилистические оттенки, возникающие в результате индивидуальных ассоциаций, не являются предметом исследования стилистики общенародного языка, но они должны учитываться при изучении слога писателя. Стилистической окраске и дополнительным стилистическим оттенкам слов и форм противополагаются очень разнообразные эмоционально-оценочные значения языковых единиц[27].

Вместе с тем эмоциональная оценочность по-разному соотносится с номинативным значением, дополнительными стилистическими оттенками и стилистической окраской слова или грамматической формы. В связи с этим различны и пути возникновения самой оценочной экспрессии. Во-первых, эмоционально-оценочное значение может быть единственным содержанием того или иного звукового комплекса, примером могут служить междометия и модальные слова, которые или полностью лишены номинативного значения, или сохраняют его частично. Во-вторых, эмоционально-оценочное значение может порождаться самим значением слова или другой языковой единицы (ср. такие слова, как *герой*, *красавец*, *трус* и т. д). При этом оценочная экспрессия может подавлять основное значение (ср. восклицания· *Чорт! Молодец!* и т. д). В-третьих, оценочное значение может возникать на основе переосмысления дополнительных стилистических оттенков слова или грамматической формы. Через такие дополнительные смысловые ассоциации передаются не только общенародная оценочная экспрессия, но оценки классовые (ср. осмысление термина *коммунизм* в различных классах капиталистических стран), профессиональные [28], специальные [29] и просто индивидуального характера.

Хат Хардет хена
Ди вемп оф совена
Ди вемп оф совена
Джи-эй».

(В Маяковский, Как делать стихи, М , «Советский писатель», 1952, стр 12)

[26] Ср. у Тургенева «Я заметил, это часто случается с плачущим точно будто одним известным словам, большею частью незначительным,— но именно *этим* словам, а не другим,— дано раскрыть источник слез в человеке, потрясти его, возбудить в нем чувство жалости к другому и к самому себе .. Помнится, одна крестьянка, рассказывая при мне про внезапную смерть своей дочери во время обеда, так и заливалась и не могла продолжать начатого рассказа, как только произносила следующую фразу. „Я ей говорю Фекла? А она мне мамка, соль-то ты куда . соль куда... со-ль". Слово „соль" ее убивало» («Несчастная»)

[27] Это разнообразие эмоционально-оценочных значений, их качественное различие обнаружилось уже при первых попытках их классификации. Ср , например, классификацию оценочных экспрессий, предлагаемую Ш. Байи (см Ch B a l l y, Traité de stylistique française, vol I, 3-e éd , Geneve, Georg, Paris, Klincksieck, 1951, стр. 175 и сл)

[28] Ср художественное использование оценки профессионального характера у Л Соболева («Капитальный ремонт») Армейский штабс-капитан обращается к юному гардемарину Юрию Левитину « — А юнкера флота тоже могут произвести в мичманы? — Так точно, в мичмана Юрия это забавляет, но штабс-капитан запыхтел два подряд исправленных ударения его бесят Но флот во многом отличается от армии юнкер — гардемарин, обыкновенный рапорт — по-флотски рапорт, в армии на север указывает компас, во флоте — компас Все это — мелочи, но мелочи только подчеркивают, что штабс капитану никогда не понять пышной четкости флотской службы» Пышную» стилистическую «четкость» морских терминов ощущает лишь гардемарин, для штабс-капитана они остаются неэкспрессивными и стилистически нейтральными

[29] Так, разоблачение антимарксистской и ненаучной сущности так называемого «нового учения» о языке поставило под удар всю терминологию этого «учения» Тер-

*

Советскими языковедами за последние тридцать лет проведена большая исследовательская работа в области стилистики различных языков. И хотя выводы из этих исследовании настойчиво подсказывают, что «вопросы стилистики национального языка не следует смешивать с теорией и практикой литературно-художественной речи, с вопросами стилистики индивидуально-словесного творчества»[30], пока еще не выработаны четкие и общепризнанные принципы разграничения этих разделов языкознания В школьном и вузовском преподавании языков такого разграничения, по существу, не проводится в «стилистику» включаются все не нормативные явления общенародного языка и слога писателя Вместе с тем некоторые языковеды вообще отрицают целесообразность разделения стилистики общенационального языка и стилистики литературно-художественной речи Так, например, Э. Г. Ризель видит в языке писателя лишь частный «подвид» стиля языка или жанрового стиля[31] Возражает против размежевания стилистики общенационального языка («лингвостилистики») и стилистики литературно-художественной речи («литературоведческой стилистики») Ю С. Сорокин[32].

Существуют по крайней мере два фактора, объясняющие смешение указанных стилистик. Первый фактор — субъективного порядка. Из-за того, что некоторые языковеды-стилисты работают лишь над языком художественных произведении, каждый элемент общеязыковой стилистики выступает перед ними одновременно и как часть художественно-языковой системы произведения, т. е его стиля. Обе стилистики оказываются связанными между собой единым материалом Эта по существу внешняя связь воспринимается исследователем как связь органическая, внутренняя[33]. Языковед, изучающий не только литературно-художественную, но также бытовую и научно-деловую речь, обычно не допускает смешения категорий стилистики общенационального языка и явлений индивидуально-художественного стиля.

Второй фактор имеет объективный характер. Дело в том, что в задачи обеих стилистик входит решение вопроса о возможности и целесообразности выбора из равнозначных языковых средств такого варианта, который бы наиболее подходил — с точки зрения определенного речевого стиля или художественного контекста — для выражения данного содержания. Таким образом, изучая экспрессивно-стилистическую характеристику

мины *элементный анализ, четыре элемента, стадиальность, единый глоттогонический процесс, понятийная категория, яфетическая теория, новое учение о языке* и др получили в устах специалистов резко отрицательную эмоциональную оценку Наоборот, утрачивают эмоциональную оценку бывшие однозными для представителей «нового учения» о языке термины *сравнительно-исторический метод, языковая семья, славянское единство* Ср интересное высказывание Л А Булаховского «Вряд ли стоит сейчас защищать термин праязык .. потому, что он за ряд лет стал однозен и от полученной им эмоциональной окраски его сразу сейчас трудно освободить » («О некоторых вопросах и задачах сравнительно-исторического изучения славянских языков», «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М — Л , 1950, вып 2, стр 106).

[30] «Задачи советского языкознания в свете трудов И В Сталина и журнал „Вопросы языкознания“» [передовая], «Вопросы языкознания», М , 1952, № 1, стр 30 Характерно, что уже в первых исследованиях советских языковедов по вопросам стилистики (см статьи в сборниках «Русская речь» I — Пг , 1923 и II — Л , 1928) проблемы стилистики общенародного языка отделялись от вопросов художественного использования языка в индивидуально-словесном творчестве (язык и стиль писателя). В дальнейшем разрабатывались преимущественно вопросы языка и стиля писателя; проблема стилистики общенационального языка привлекала меньше внимания.

[31] См Э Г Ризель, указ соч , стр 15

[32] См Ю С Сорокин, указ тезисы, стр 12.

[33] Иные причины — методологического порядка — определяют позицию, занятую в этом вопросе представителями западноевропейской неофилологии. Считая язык творческой личности (т е писателя) движущим началом в развитии общенародного

слов и грамматических форм, обе стилистики примыкают к семасиологии

Однако эти черты сходства и связи стилистики общенационального языка и стилистики индивидуально художественной речи не должны скрывать существующих между ними и определяющихся внутренним своеобразием каждой из них глубоких различий Стилистика общенационального языка, изучающая систему выразительных средств языка оперирует собственно лингвистическим материалом Иное — стилистика индивидуально художественной речи Выполняя функцию общения, полностью сохраняя свою языковую специфику, индивидуально художественная речь является одновременно и материалом искусства — «первоэлементом литературы» В связи с этим, включаясь в словесную ткань произведения, слово или грамматическая форма становится элементом двух систем — системы общенационального языка и художественно языковой системы произведения, т е «системы средств речевого выражения организованной в сложное единство и спаянной мировоззрением и творческой личностью художника»[34] Поэтому каждый элемент художественно языковой системы произведения, наряду со своими обычными функциями в языке (смысловой, смыслоразличительной, организующей, стилистической), выполняет и художественное (стилевое) задание Эту стилевую функцию языка художественного произведения нельзя сводить к экспрессивным возможностям отдельных слов или выражений

Во первых, художественную (стилевую) нагрузку могут получать не только дополнительные экспрессивные оттенки и стилистическая окраска слова или грамматической формы художественное осмысление может приобретаться и основным значением языкового элемента Так, например, «Исповедь» Ж Ж Руссо имеет два композиционно-повествовательных плана с одной стороны, писатель излагает факты своей жизни (план автора героя), с другой — постоянно перебивает последовательность событий философско моралистическими рассуждениями и собственными замечаниями (план автора рассказчика) Эта композиционная раздвоенность повествования закрепляется нормативным употреблением времен речь автора рассказчика опирается на формы так называемого хронологического плана настоящего времени [35] (настоящее время, простое будущее, сложный перфект) в речи автора героя используются формы хронологического плана прошедших времен (имперфект, претерит, плюсквамперфект)[36].

языка, неофилологи фоссерианцы подчиняют задачам изучения стиля писателя все остальные разделы языкознания Индивидуально художественная стилистика становится для них основным предметом языкознания Ср в этом плане такие работы K Voßler, Frankreichs Kultur und Sprache Heidelberg 1929 L Spitzer, Stilstudien (t 1 — «Sprachstile» t 2 — «Stilsprache») München 1928 и его же, Romanische Stil und Literaturstudien, Marburg, 1931, I Strohmayer, Der Stil der franzosischen Sprache, 2-e Aufl , Berlin 1924

[34] Задачи советского языкознания в свете трудов И В Сталина » [передовая], стр 50

[35] Как известно французские времена первого хронологического плана передают события происходящие в момент речи, или события прошлого и будущего, связанные с моментом речи времена второго плана указывают на события прошлого не связанные своими результатами с моментом высказывания

[36] Ср начало «Исповеди» Первый план — автор обращается к читателю, рассказывая о построении книги и ее художественном замысле

«Je *veux* montrer a mes semblables un homme Je *sens* mon coeur et je *connais* les hommes *Je ne suis fait* comme aucun de ceux que j *ai vus j ose* croir n etre fait comme aucun de ceux qui *existent* Voila ce que j *ai fait* ce que j *ai pense* J *ai dit* le bien et le mal avec la meme franchise Je *n ai* rien *tu* de mauvais rien *ajoute* de bon et s il m *est arrive* d employer quelque ornement indifferent ce n *a* jamais *ete* que pour remplir un vide occasionne par mon defaut de memoire» (см «Confessions», ed

Другим примером может служить драма Горького «Враги» Характерной чертой ее стиля является подчеркнутое использование основных значений слов вместе с тем автор умышленно избегает употребления экспрессивно и стилистически окрашенных слов и выражений [37]

Во вторых, одно и то же стилистическое явление может получать неодинаковое стилевое осмысление в разных индивидуально художественных стилях Так, например, с точки зрения стилистики общенационального французского языка формы 1 го и 2 го лица множественного числа простого перфекта (ср *nous marchâmes vous marchates, nous fîmes, vous fûtes*) уже в течение двухсот лет имеют книжно архаическую окраску Однако эта стилистическая окраска по разному используется писателями У Вольтера, отрицавшего эстетическую ценность архаизмов, эти формы получают пародийно комическое осмысление [38] Наоборот, А Франс для стиля которого характерно широкое использование архаизмов употребляет форму 1 го лица простого перфекта для передачи возвышенно патетического тона речи[39] Наконец, в автобиографической повести М Тореза «Сын народа» эти формы подчеркивают эпический характер повествования [40]

Своеобразие индивидуально художественного использования языка, конечно, не означает, что индивидуально художественный стиль следует рассматривать как замкнутую, независимую от общенародного языка систему Индивидуальный стиль является одной из форм существования общенародного языка, а индивидуально стилевые приемы автора опираются на нормы общенародного языка Вместе с тем между индивидуально-художественным применением языка и общенародными нормами суще-

---

Garnier стр 1—2) Второй план—автор рассказывает о своем рождении «Mon pere, apres la naissance de mon frere unique *partit* pour Consantinople, ou il *devint* horloger du serail Ma mere *aimait* tendrement son mari Elle le *pressa* de revenir il *quitta* tout et *revint* Je *fus* le triste fruit de ce retour Dix mois apres je *naquis* Infirme et malade Je *coutai* la vie a ma mere et ma naissanse *fut* le premier de mes malheurs (там же стр 3) (здесь и в дальнейших цитатах курсив мой — *Р П*)

[37] См Б Ларин Диалектизмы в языке советских писателей, «Литературный критик», М 1935 № 11 стр 214—234

[38] Ср в разговоре Кандида и Кунигунды встретившихся после долгой разлуки «Quoi, c est vous lui dit Candide vous vivez! Je vous retrouve en Portugal! On ne vous a donc pas violée! On ne vous a point tendu le ventre? — Si fait—dit la belle Cunégonde — mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents mais il faut auparavant que vous m apprenniez tout ce qui vous est arrivé depuis le baiser innocent que vous me *donnates* et les coups de pied que vous *recûte* » (Candide Oeuvres completes v III Paris стр 142) Приподнятое и архаично книжное звучание форм *donnates, reçûtes* так не соответствующее непринужденному характеру беседы влюбленных усиливает комический эффект и вскрывает ироническую колкость последней реплики Кунигунды которая обижена и слегка раздражена наивной бестактностью своего возлюбленного Вообще употребление passe simple в устной речи обычно имеет оттенок комической претенциозности

[39] Ср в романе «Книга моего друга» (A France Le livre de mon ami M, Изд во иностр лит ры 1948 стр 10) «Que *vous futes belle* lui dis je un jour, madame, et combien admirée!» Архаическая форма *futes* подчеркивает патетичность комплимента Пьера Нозера обращенного к мадам Ганс, в которую когда то был влюблен герои и которой он восхищается и сейчас Ответная реплика мадам Ганс строится уже на использовании passe compose «— Il est vrai me repondit elle en souriant Je puis le dire maintenant que je suis une vielle femme je plaisais J ai ete l objet d hommages assez flatteurs» Употребление passe simple (*je fus l objet d hommages*) придало бы речи героини хвастливо претенциозный оттенок что не входило в замысел автора

[40] Ср «En 1935 nous avions eu la douleur de perdre Henri Barbusse Notre grand ami mourut a Moscou peu apres la cloture du VII e et dernier congres de l Internationale communiste Dans la grande salle du Conservatoire nous *mont mes* une derniere garde autour de Barbusse Deux années plus tard en octobre 1937, nous *eprouvames* une autre perte cruelle C est precisement des bureaux du journal qu on m appelait, pour m annoncer la morte subite de Vaillant Couturier» (M Thorez, Fils du peuple)

ствует еще один вид взаимодействия. Писатель, отражая действительность посредством образов, отбирает те языковые средства, которые наиболее точно, полно и выразительно данный образ воспроизводят. Этой точности, полноты и выразительности словесного образа писатель добивается, поднимая на поверхность самые тонкие и подчас незаметные в бытовом общении стилистико-смысловые оттенки отдельных слов и грамматических форм. Больше того, полностью раскрывая эти оттенки, писатель в своем индивидуально-художественном творчестве уточняет и «шлифует» их, закрепляет их в национальной литературной норме и тем самым способствует дальнейшему совершенствованию общенародного языка. В результате отдельные явления из области индивидуального стиля могут проникать в стилистику общенародного языка.

*

Мы попытались наметить линии разграничения и соприкосновения стилистики общенационального языка и стилистики индивидуально-художественной речи. Одновременно мы стремились выяснить некоторые специфические черты таких общеязыковых стилистических категорий, как стилистическая окраска, дополнительный стилистический оттенок и, наконец, эмоционально-оценочное значение. Разумеется, изложенные соображения не претендуют не только на окончательное решение вопросов, но и на полный охват всего сложного комплекса соответствующих проблем.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1954

М. С. ГУРЫЧЕВА

О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

1

Советские лингвисты, занимающиеся проблемами основного словарного фонда, отмечают, что в основной словарный фонд наряду со словами входят и словообразовательные аффиксы[1]. Принадлежность аффиксов к основному словарному фонду доказывается не только словообразовательной функцией аффиксов — их способностью служить средством обогащения словарного состава языка, но и их устойчивостью по сравнению со словами, входящими в словарный состав языка.

Принадлежность словообразовательных элементов к основному словарному фонду языка может быть доказана вполне лишь при разрешении вопроса о характере лексической абстракции в ее отличиях от грамматической. Однако мне представляется более вероятной мысль о том, что категории деятеля, орудия, места, продукта действия представляют собою результат высшей степени лексической, а не грамматической абстракции.

В основе грамматических категорий лежит определенное отношение между двумя понятиями. Так, например, в основе категории подлежащего также лежит понятие о деятеле, но этот деятель рассматривается в его отношении к действию, т. е. к сказуемому, в то время как в значении агентивных суффиксов такое отношение не выражено. Точно так же значение орудийного или местного падежа отлично по характеру своей абстракции от значения суффиксов орудийного или местного значения. Падежи орудийного и местного значения устанавливают отношение между членами предложения; суффиксы же не имеют этой синтаксической функции.

Аффиксы существуют в языке в течение очень долгого времени. Случаи их исчезновения очень редки. Изменения в морфологическом словообразовании обычно сводятся к ограничению продуктивности одних суффиксов в связи с увеличением производительных возможностей других. Однако, даже когда суффикс теряет свою продуктивность и, таким образом, выходит из основного словарного фонда, он сохраняется в языке и выполняет определенные смысловые функции. Так, например, суффикс *-is*, широко употреблявшийся во французском языке X—XIII вв. для образования имен действия и несомненно принадлежавший в этот период к основному словарному фонду, в дальнейшем хотя и теряет свою продуктивность, но выделяется в таких словах, как *cliquetis* «стук, дребезжанье», *gazouillis* «щебетанье», *éboullis* «обвал», *hachis* «рубленое мясо» и т. п., и сохраняет в них свое значение. При постепенной утрате произ-

[1] См., например, В. В. Виноградов, Об основном словарном фонде и его словообразующей роли в истории языка, «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М.— Л., 1951, вып. 3, стр. 235—236.

водительности суффикса происходит и ограничение производных с ним слов каким-либо одним стилем речи, какой-либо одной функциональной областью языка.

Производные с суффиксом *-is* обнаруживают известную тенденцию к употреблению или в фамильярно-разговорном стиле речи, или в специальной терминологии, например: *fouillis*, *gribouillis* «пачкотня», *gâchis* «путаница». В то же самое время суффикс *-is* дает производные с узко специальным значением, распространенным в различных областях научно-технической терминологии, например: *glacis* (воен.) «гласис», *roulis* (морск.) «боковая качка», *châssis* (техн.) «шасси», *pilotis* (архит.) «свайное основание».

Ж. Вандриес склонен считать суффикс *-is* суффиксом преимущественно специального значения, и нам представляется верным его утверждение о том, что такие суффиксы, перенесенные в общелитературный язык, придают производным словам особую экспрессивность [2]. Однако Ж. Вандриес не учитывает, что специальные суффиксы образуются на основе суффиксов общенародных при их выпадении из основного словарного фонда.

Можно указать также на французский суффикс *-aison*, который в связи с ограничением своей роли в образовании слов общенародного языка закрепляется в специальных областях языка, например: *lunaison* (астрон.) «лунный месяц», *olivaison* «уборка олив», *tomaison* (типогр.) «обозначение тома книги», *tondaison* «стрижка овец».

Таким образом, суффиксы, утратившие свою производительную силу, не давшие в течение столетий ни одного производного, могут выделяться в производных словах, причем значение данных суффиксов ясно осознается говорящими. Так, например, в романских языках суффиксы, развившиеся из народнолатинского суффикса *-or*, *-orem*, относятся к числу наименее продуктивных суффиксов именного словообразования. Суффикс *-eur* из лат. *-or*, *-orem* выделяется в таких словах, как франц. *aigreur* «кислота», *hauteur* «высота», *noirceur* «чернота», *pâleur* «бледность», *rougeur* «краснота». Известное количество слов романских языков, образованных посредством суффикса *-or*, *-orem*, неразложимо, хотя суффикс не утратил своего значения. Например: итал. *stupore* «изумление», франц. *stupeur* «оцепенение»; итал. *odore*, франц. *odeur* «запах»; итал. *vigore*, франц. *vigueur*, исп. *vigor* «крепость, сила»; итал. *rigore*, франц. *rigueur*, исп. *rigor* «суровость»; итал. *tumore*, франц. *tumeur*, исп. *tumor* «опухоль»; итал. *onore*, франц. *honneur*, исп. *honor* «честь».

Большое количество образований с этими суффиксами принадлежит к наиболее древнему словарному ядру романских языков, и значение указанных суффиксов не изменилось до настоящего времени. Интересно отметить, что значения аффиксов более устойчивы, чем значения самостоятельных слов; в этом отношении представляет интерес наблюдение французского лингвиста Э. Пишона в работе по лексикологии французского языка [3].

Э. Пишон доказывает в своей работе жизненность суффиксации в современном французском языке (la vitalité de la suffixation) и приводит в связи с этим такой факт. Девяностолетняя француженка не могла вспомнить слова «ширина» во французском языке; вместо слова *largeur* в ее речи появилось слово *choseur*, образованное от слова *chose* «вещь» с суффиксом *-eur*. В данном случае говорящее лицо ясно осознавало значение суффикса *-eur*, характеризующего имена существительные со значе-

---

[2] См. J. Vendryes, Sur le suffixe «-is» du français, «Études romanes dédiées à Mario Roques...», Paris, 1946, стр. 109.

[3] E. Pichon, Les principes de la suffixation en français, Paris, 1952.

нием качества. Так появился забавный неологизм, зарегистрированный Э. Пишоном[4].

Можно привести ряд примеров, доказывающих, что аффиксы так же, как и элементы грамматического строя, обладают большой устойчивостью. Однако при всей устойчивости способов словообразования в итоге исторического развития языка происходят известные изменения. Эти изменения заключаются в перегруппировке словообразовательных средств, в изменении места отдельных аффиксов в словообразовательной системе языка.

Аффиксация (суффиксация и префиксация) представляет собой широко употребительный способ образования новых слов в современном французском языке. Утверждения А. Доза об упадке деривации как способа, не соответствующего аналитической тенденции современного французского языка[5], представляются нам односторонними, не основанными на изучении национального языка во всей совокупности его речевых стилей. Недооценку разговорных стилей и данных диалектологии в работах тех лингвистов, которые спешили сделать вывод об упадке деривации во французском языке, отметил Ш. Кампру в своей статье «Упадок и жизненность деривации»[6]. Однако несомненно, что закономерность развития деривации во французском языке заключалась в том, что удельный вес деривации в общей системе словообразовательных средств постепенно уменьшался в связи с развитием синтаксических способов словообразования, имевших зачаточный характер в старофранцузском языке.

О перегруппировке словообразовательных средств можно судить на основании следующих фактов. В старофранцузском языке большое распространение имел суффикс *-ance*, служивший для образования отглагольных существительных. Сфера действия этого суффикса постепенно сокращалась за счет распространения других способов суффиксации. Чтобы составить себе известное представление об этом процессе, достаточно сопоставить ряд слов старофранцузского языка с их эквивалентами, образованными от тех же основ, в современном французском языке.

Старофранцузский	Современный французский	
coustance	*coût*	„стоимость, цена“
demandance	*demande*	„просьба“
desirance	*désir*	„желание“
desputance	*dispute*	„ссора“
doutance	*doute*	„сомнение“
espargnance	*épargne*	„сбережения“
fablance	*fable*	„рассказ“
finance	*fin*	„конец“
formance	*formation*	„возникновение, образование“
generance	*génération*	„поколение“
mesprovance	*désapprobation*	„осуждение, неодобрение“
nomance	*dénomination*	„наименование“
predicance	*prédication*	„проповедь“
publiance	*publication*	„опубликование“
renonçance	*renoncement*	„отречение“

[4] См. там же, стр. 13.

[5] См. A. Dauzat, L'appauvrissement de la dérivation en français, «Le français moderne», Paris, 1937, № 4, стр. 289—299.

[6] Ch. Camproux, Déficience et vitalité de la dérivation, «Le français moderne», Paris, 1951, № 3, стр. 181—186.

На основании этих сопоставлений мы можем сделать заключение, что к новофранцузскому периоду особое значение для образования разряда существительных nomina actionis приобрел суффикс *-ation* и что в современном французском языке в той же функции получает распространение нулевой суффикс: *doute, désir* и т. п.

Наблюдения над изменением и развитием способов словообразования позволяют нам сделать вывод о том, что процессы эти обусловлены известной общей закономерностью, весьма ярко проявляющейся в истории французского языка. В области лексики такой общей закономерностью, отражающей развитие языка в сторону его большего совершенствования, является развитие известной специализации в суффиксах.

В более древний период развития языка отсутствует четкая морфологическая дифференциация между именами действия, качества, деятеля и орудия. Например, суффикс *-age* может образовывать имена действия — *voyage* «путешествие», деятеля — *message* «посол» (и «посольство») и качества — *barnage* «доблесть» и «сословие баронов». Подобные случаи многозначности суффиксов наблюдаются и в современных романских языках, но это явление сильно ограничено в новый период.

Р. А. Будагов, останавливаясь на вопросе о многозначности суффикса *-able* в старофранцузском языке, замечает: «Что же произошло с суффиксом *-able* в истории языка? Движение от многозначимости к однозначимости? Отнюдь нет. Такое прямолинейное и наивное представление, согласно которому в старом языке еще все недифференцировано, все многозначимо, а в новом — все дифференцировано и все однозначимо, не соответствует фактам»[7].

Бесспорно, надо стремиться к тому, чтобы не извращать сущность сложнейших языковых процессов и не представлять себе схематически развитие языка. Однако наши наблюдения позволяют нам утверждать, что многозначность суффиксов более типична для древних романских языков, чем для новых, и что эта многозначность очень медленно и постепенно преодолевается; в этом и заключается, в частности, известное совершенствование словообразовательных средств французского языка.

Приведенные выше (на стр. 71) сопоставления косвенно свидетельствуют и о том, что по мере приближения к новому периоду суффикс *-ance* начал употребляться преимущественно для образования существительных со значением качества (например: *abondance* «изобилие», *confiance* «доверие», *constance* «постоянство», *dilligence* «проворство», *insolence* «дерзость», *excellence* «превосходство», *perseverance* «постоянство», *persistance* «настойчивость», *reconnaissance* «признательность» и т. п.) и в настоящее время не является больше продуктивным для образования имен действия, в отличие от старофранцузского языка, где он в равной мере служил для образования имен действия и качества.

Развитие в сторону известной специализации испытал и народнолатинский суффикс *-aticu*. Как известно, этот суффикс служил первоначально для образования относительных прилагательных: лат. *silvaticum* «лесной», итал. *selvaggio* «дикий, лесной» и *selvatico* то же значение, франц. *sauvage* «дикий», исп. *salvaje* «дикий». Такие относительные прилагательные могли субстантивироваться: лат. *coraticu* от *cor* «сердце», итал. *coraggio* «мужество», франц. *courage* «храбрость». В старофранцузский период суффикс *-age* (<*-aticu*) также часто употреблялся для образования прилагательных: *ombrage* «тенистый», *varage* «морской», *emage* «водя-

---

[7] Р. А. Будагов, Некоторые вопросы теории словообразования в романских языках, «Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР]», I, М., 1952, стр. 117.

ной», *ivernage* «зимний», а в средние века этот суффикс был использован для образования существительных со значением различного вида налогов: *peage* «мостовой сбор», *fouage* «налог, взимаемый за очаг», *fournage* «налог, взимаемый за право выпечки хлеба», *panage* «налог, взимаемый за пастбище». Аналогичные образования с суффиксом, развившимся на основе латинского *-aticu*, имели место и в староиспанском языке.

История французского языка, более чем история какого-либо другого романского языка, дает нам основания для суждения о том, что специализация словообразовательных аффиксов есть известная закономерность, свойственная словарному составу языка. Так, во французском языке мы прослеживаем растущую тенденцию к дифференциации именных суффиксов *-ment*<*-mentum* и *-ure*< *-tura*. Эти суффиксы первоначально служили для образования имен существительных со значением действия и состояния. Их функции были адекватны, например: *aisure* и *aisement* «удовольствие», *angoissure* и *angoissement* «тоска», *aresture* и *arestement* «арест, остановка», *adevinure* и *adevinement* «догадка».

В дальнейшем образования с суффиксом *-ure* употребляются во французском языке преимущественно для обозначения результата действия или орудия, т. е. получают более конкретное значение, нежели образования с суффиксом, развившимся на основе латинского суффикса *-mentum*. Ср., например, *armement* «вооружение» (действие) и *armure* «вооружение, доспехи», *serrement* «давление, сжимание» и *serrure* «замок, запор», *glanement* «собирание колосьев» и *glanure* «подобранные колосья». Об этом же более конкретном характере образований на *-ure* свидетельствуют такие существительные, как *pelure* «очистки», *jointure* «сочленение», *égratinure* «царапина», *monture* «верховое животное, станок».

Эта же тенденция к разграничению функций соответствующих суффиксов проявляется, хотя и в меньшей степени, в итальянском языке. Ср., например, *armamento* «вооружение» и *armatura* «доспехи», *abbruciamento* «сжигание» и *abbrucciatura* «пригар, ожог», *abburattamento* «просеивание» и *abburattatura* «отсев, отруби». В испанском языке также имеют место отдельные случаи разграничения функций древних суффиксов *-mentum*, *-tura*. Ср., например, *armamento* «снаряжение» и *armadura* «оружие», *lavamiento* «мытье» и *lavadura* «помои», *amaestramiento* «учение, обучение» и *amaestradura* «хитрость, лукавство».

Однако в итальянском и в испанском языках больше, чем во французском языке, случаев недифференцированного употребления суффиксов, развившихся на основе *-mentum* и *-tura* и служащих для образования существительных со значением действия и результата действия. Так, в итальянском языке в одном значении могут употребляться такие пары существительных, как *calzamento* — *calzatura* «обувь», *addirizamento* — *addirizzatura* «выпрямление», *arrabbiamento* — *arrabbiatura* «бешенство, неистовство». В ряде случаев существительные на *-tura*, кроме значения абстрактного действия, могут иметь еще и значение результата действия, например, *cancellatura*, кроме значения «зачеркивание», имеет еще и значение «подчистка в рукописи»; *affondatura*, кроме значения «погружение», имеет еще и значение «углубление (выемка)» (те же значения имеет и слово *cavatura*). Следовательно, существительные с суффиксом *-tura* лишь частью своего смыслового содержания совпадают с существительными на *-mento*.

В испанском языке мы также наблюдаем синонимическое употребление существительных с суффиксами *-miento* и *-dura*, например: *frotamiento*— *frotadura* «трение, вытирание», *entallamiento* — *entalladura* «гравирование, скульптура», *encrespamiento* — *encrespadura* «завивание, завивка», *sobajamiento* — *sobajadura* «ощупывание», *atildamiento* — *atildadura* «рас-

становка знаков препинания». Подобные синонимические пары — довольно частое явление в лексическом составе современного испанского языка.

Как известно, советские лингвисты признают одним из законов, действующих в развитии языка, неравномерность темпов изменения разных его сторон[8]. Неравномерность темпов языковых изменений наблюдается и при образовании групп родственных языков из языка-основы. В группе романских языков грамматический строй и основной словарный фонд французского языка испытали более значительные качественные изменения по мере приближения к новому периоду, нежели грамматический строй и основной словарный фонд итальянского и испанского языков, относительно замедленные темпы изменения которых, очевидно, были связаны со спецификой формирования национальных языков в Испании и особенно в Италии.

2

Наблюдение над способами словообразования французского, итальянского и испанского языков позволяет сделать любопытные сопоставления испанского и итальянского языков в их современном состоянии со старофранцузским языком. В старофранцузском языке мы наблюдаем богатую лексическую синонимику, особенно широко представленную в одном из разрядов существительных — в так называемых nomina actionis (именах действия). Суффиксы *-is*, *-age*, *-ance*, *-ment*, *-aison*, *-ure*, *-ade*, *-erie*, *-ie* и др. в этот период в равной степени употребляются для образования имен действия, причем сосуществуют образования от одной основы с разными суффиксами для выражения одних и тех же значений. Приведем в качестве примера несколько синонимических групп:

angoissement, *angoissure*, *angoisserie*, *angoisseté* — «скорбь, горе, тоска»

grieté, *grevance*, *grevement*, *greveison* — «потеря, неприятность»

assembleïs, *assemblaille*, *assemblée*, *assemblement*, *assembloison* — «собрание, соединение»

amendacion, *amendage*, *amende*, *amendement*, *amendise*, *amendison* — «исправление, улучшение»

---

[8] См., например, В. В. Виноградов, Труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и развитие советской науки о языке, М., 1951, стр. 14.

Возможность образования однозначных производных от одной основы почти утрачена в современном французском языке, в то время как итальянский и испанский языки сохранили ее, как об этом позволяют судить вышеприведенные примеры тождественных функций суффиксов, развившихся в испанском и в итальянском языках на основе латинских суффиксов *-mentum* и *-tura* (см. стр. 73). В разрядах nomina actionis и nomina qualitatis можно указать на тождество функций и у других суффиксов, дающих производные от одной и той же основы; например, в современном испанском языке сосуществуют такие образования: *frotamiento — frote — frotación — frotadura* «трение, вытирание»; *revelación — revelamiento* «разоблачение, откровение»; *terneza — ternura* «нежность»; *tersura — tersidad* «гладкость, глянец»; *encadenación — encadenadura — encadenamiento* «наложение цепей, связь». Примеры можно было бы увеличить.

Аналогичное явление, но в несколько меньшей степени, наблюдается и в современном итальянском языке, например: *compensamento — compensazione* «возмещение, компенсация»; *compilatura — compilazione* «составление, компиляция»; *dissolvimento — dissoluzione* «расторжение, растворение»; *disunitá — disunitezza* «разобщение, разъединение»; *emendazione — emendamento* «улучшение, направление»; *ponzatura — ponzamento* «напряжение, усилие»; *accoglimento — accoglienza* «прием».

Таким образом, сравнение синонимики испанского и итальянского языков с синонимикой французского приводит к предположению о том, что особенности образования синонимов в отдельных романских языках объясняются различием в темпах изменения этих языков.

Словообразовательные аффиксы, как уже отмечалось выше, распределяются по стилям речи в связи с тем, что они не только подводят слово под общую категорию деятеля, действия, орудия, места действия и т. п., но могут содержать еще и выражение известной эмоциональной оценки. К такого рода аффиксам принадлежат, в частности, суффиксы со значением увеличительности и уменьшительности.

Распространение увеличительных и особенно уменьшительных суффиксов исторически изменчиво; в истории отдельных языков есть периоды, характеризующиеся особым распространением уменьшительных суффиксов. Так, в старофранцузский период до XVI в. производные существительные с уменьшительными суффиксами были широко употребительны. Возможность словообразования такого рода несколько ограничилась к новофранцузскому периоду. Итальянский язык, характеризующийся широким распространением уменьшительных суффиксов, в этом отношении также ближе к старофранцузскому, чем к новофранцузскому.

Уменьшительные суффиксы, в основном, развились на основе латинских суффиксов, получивших особое распространение в разговорном стиле речи латинского языка. Это первоначальное ядро латинских суффиксов постепенно видоизменилось, в результате переразложения производных основ возникли новые суффиксы. Производные слова, образованные посредством уменьшительных суффиксов, в различных языках в большей или меньшей степени подвергались опрощению. Французский язык более, чем какой-либо другой из родственных ему языков, обнаруживает в своей истории тенденцию к опрощению производных слов с уменьшительными суффиксами.

Явления опрощения определялись в известной степени быстрыми темпами фонетических изменений, комбинаторными изменениями звуков, вызвавшими появление разнообразных фонетических форм одного и того же суффикса. Так, например, латинский суффикс *-ula* (*-cula*) в зависимости от характера основы давал во французском языке *-ouille*, *-ille* и

-eille: *ranucula*>*grenouille* «лягушка»; *canicula*>*chenille* «гусеница»; *apicula abeille* «пчела»; *cornicula*>*corneille* «ворона».

Этот суффикс не удержался во французском языке; большинство латинских слов, содержавших суффикс *-ulus*, *-ula*, в Галлии подвергается опрощению [*corbicula*>*corbeille* «корзина»; *butticula*>*bouteille* «бутылка»; *articulum*>*orteil* «палец» (ноги); *vermiculum*>*vermeil* «румяный, алый», «позолоченное серебро»; *soliculum*>*soleil* «солнце»]; такому опрощению содействовало то, что, как правило, соответствующие простые слова (*corbis*, *buttis*, *artus*, *vermis*, *sol*) не удерживались во французском языке. В то же время слова *corbo*, *botte*, *arto*, *verme*, *sole* сохранились в итальянском языке, в связи с чем суффиксы *-olo*, *-ola* (<*-ulus*) и обнаруживают в нем некоторую продуктивность; ср. *figlio*, *figliuolo* «сын»; *figlia* «дочь»; *figliola* «дочь, девочка»; *avo*, *avolo* «дед»; *rivo* «ручей»; *rivolo* «ручей, ручеек».

В других романских языках тоже в большей степени, нежели во французском, сохранились противопоставления слов непроизводных производным с уменьшительным суффиксом. Ср., например, в испанском: *bota* (<*buttis*) «бочка», *botella* (<*butticula*) «бутылка». В данных примерах нас интересует прежде всего то, что в Иберии, так же как и на Апеннинском полуострове, производные с уменьшительным суффиксом не во всех случаях вытесняли соответствующие непроизводные слова и сохранились в этих языках как идеографические или стилистические синонимы. В Галлии же корневое слово чаще вытеснялось производным; производное опрощалось, и суффикс мог терять свою производительность.

В современном французском языке уменьшительные суффиксы — менее живая категория, чем в остальных романских языках. В качестве известной тенденции, свойственной французскому языку, можно указать на быстрое опрощение слов с уменьшительными суффиксами, а также на утрату этими последними своей экспрессивности, своего оценочного характера, благодаря чему они переходят в другие разряды суффиксов. Так, уменьшительные суффиксы дали основу для формирования суффиксов орудийного значения и в качестве таковых служат постоянным средством обогащения французской технической терминологии. Ср., например, *chevalet* «станок» (от *cheval* «лошадь»); *chevron* «стропило» (от *chèvre* «коза»); *chenille* «гусеничная лента» (от *chien* «собака»); *ramette* «рама» (типогр.) (от *rame* «ветка», «подпорка»); *rondelle* «шайба» (от *rond* «круг»); *rouet* «прялка» (от *roue* «колесо»).

Исключительно продуктивным является способ образования имен орудия от глагольных основ посредством суффиксов уменьшительного значения, например: *fauch-et* «серп», *for-et* «бурав», *pass-ette* «щедилка», *fourn-ette* «мотовило», *roul-ette* «ролик», *soufl-et* «раздувательный мех», *têt-erelle* «молокоотсос».

Изучение истории суффиксов уменьшительного значения — мало разработанный в советской романистике вопрос, который связан с проблемой формирования и развития технической терминологии. В технической терминологии существуют известные особенности словообразования. Продуктивными способами образования новых технических терминов обычно оказываются как раз те, которые мало употребительны в общеразговорном языке. Подобное явление, очевидно, связано с широко распространенной тенденцией дифференциации слов общенародных и технических. В русском языке, например, такая дифференциация может достигаться, в частности, средствами ударения: *до́быча — до́быча, и́скра — искра́*.

Способы образования научно-технической терминологии французского языка представляют значительный интерес в сравнительно-историческом плане. Аффиксы в технической терминологии обычно развиваются

на основе суффиксов со значением уменьшительности, собирательности, а также на основе суффиксов деятеля. Так, для образования технических терминов со значением действия в современном французском языке продуктивен суффикс *-age*, который широко употреблялся в старофранцузском языке для образования собирательных имен существительных. Ср., например, *abordage* «абордаж», *accordage* «настройка инструмента» (*accord* «соглашение»), *affinage* «чистка металлов», *mâtage* «установка мачт», *montage* «монтаж», *mêtrage* «метраж», *moulage* «литье», *pavage* «мощение», с одной стороны, и *barnage* «сословие баронов», *vasselage* «вассалы, состояние вассалов», *feuillage* «листва», *ramage* «ветви» — с другой.

Могут использоваться в технической терминологии и суффиксы деятеля. Во французском языке среди них в первую очередь надо отметить суффикс *-euse*, образующий существительные женского рода: *bateuse* «молотилка», *faucheuse* «сенокосилка», *balayeuse* «пылесос», *broyeuse* «трепальная машина» и т. п. В испанском языке названия машин образуются при помощи агентивных суффиксов *-dor*, *-dora*: *trilladora* «молотилка», *segadora* «жатка», *aspirador del polvo* «пылесос», *agramadora* «трепальная машина» и т. п. В итальянском языке продуктивным для аналогичных образований является суффикс *-trice*: *mietitrice* «сенокосилка», *trebbiatrice* «молотилка», *punzonatrice* «дыропробивной станок» и т. п.

В этих случаях мы наблюдаем известную общую закономерность, свойственную не только романским языкам,— превращение агентивных суффиксов в суффиксы орудия; эта закономерность связана и с известной семантической закономерностью: создание имен орудия на основе имен деятеля

Связь значения деятеля и орудия не столь постоянна и характерна для лексики французского языка, но в ряде случаев она имеет место. Например, слово *gueulard* «горлан» употребляется также для обозначения верхнего отверстия доменной печи, слово *judas* имеет значения «предатель» и «слуховое окошечко», *torpilleur* обозначает «миноносец» и «торпедист», *garcette* — производное от *garce* (<*gars* «мальчик») — имеет значение «линек», *femelle* — «самка» и «муфта» (техн.), *radio* — «радио» и «радист». Ср. в итальянском языке: *femmina* — «женщина», «самка» и «гайка», *capone* — «упрямец» и «якорный крюк», *lucernaio* — «большой фонарь» и «ламповщик». Ср. также в испанском языке: *hembra* — «самка», «женщина» и «литейная форма», *patrona* — «хозяйка дома» и «галера». Примеры можно было бы увеличить.

Важно подчеркнуть в связи с этим, что пути развития лексики специальных областей языка определяются словообразовательными и семантическими закономерностями общенародного языка, хотя способы словообразования в технической терминологии имеют свою специфику в отдельных языках, связанных между собою общностью происхождения

Продуктивность аффикса может варьироваться в зависимости от стиля речи. Распределение производных слов по стилям речи является результатом взаимодействия закономерностей, свойственных всей группе родственных языков, с закономерностями, свойственными отдельным национальным языкам. В качестве известной общей закономерности, управляющей распределением производных слов по стилям речи, можно выделить развитие в заимствованных словах иронического или пренебрежительного оттенка. Так, во французском языке приобрели иронически-уничижительный оттенок суффиксы *-ard*, *-aud*, выделенные в словах германского происхождения. Образования подобного рода характеризуют фамильярно-разговорный стиль речи: *geignard* «нытик», *froussard* «трус», *papelard* «ханжа», *guignard* «неудачник» и т. п. Несколько менее произ-

водительны образования с суффиксом *-aud*: *grimaud* «педант, писака», *badaud* «ротозей», *nigaud* «простофиля». Суффиксы *-ardo*, *-aldo* того же происхождения получили некоторое распространение в итальянском языке: *vecchiardo* «старый хрен», *bugiardo* «враль», *codardo* «трус».

Точно так же суффикс *-ade* во французском языке, проникший в него вместе со словами, заимствованными из итальянского, может использоваться для образования существительных, имеющих определенную эмоциональную окрашенность и распространенных в разговорном стиле речи: *bravade* «бравада», *escapade* «проказа», *estocade* «неожиданное нападение», *dégringolade* «спуск, падение».

Суффиксы общероманского происхождения в различных романских языках по-разному распределяются внутри лексической системы. Например, суффикс *-ation* (<*-ationem*) во французском языке образует существительные, имеющие вполне общенародный характер, а в итальянском языке суффикс *-izione* (*-zione*) аналогичного происхождения употребляется преимущественно для образования существительных со специальным значением. Так, итал. *compositura* имеет значение «составление», «смешение», а *composizione* передает те же значения и, кроме того, может употребляться в качестве музыкального, химического и юридического терминов. Характер терминов имеют и слова *congiunzione* (грам.) «союз» и *congiunzione* (астр.) «совпадение», *decomposizione* (физ.) «разложение сил», *collimazione* (астр.) «коллимация», *deflagrazione* (хим.) «вспышка». В испанском языке суффикс *-aje*, проникший с заимствованиями из французского языка, дал начало ряду таких специальных терминов, как *arqueaje* «тоннаж», *braceaje* «измерение глубины», *cordaje* «такелаж», *amaraje* «посадка на воду (гидроплана)», *montaje* «монтаж».

*

Значение производного слова, его эмоциональная окрашенность, его семантические связи с другими словами определяются в итоге взаимодействия значения аффикса с лексическим значением основы. Суффикс, первоначально вносивший в производное слово известный оттенок значения, может получить новое значение при сочетании с основами определенного лексического характера. Так, например, французский суффикс *-ment* (<*-mentum*) служит для образования имен действия, но, кроме этой общей функции, он имеет более специализированное значение и используется для образования существительных, обозначающих особенности речи и крики животных. Это значение суффикс *-ment* мог получить в XII в. в существительных типа *parlement* (первоначально «разговор, беседа»). На этой основе стали возможными такие образования, как *bégaiement* «заикание», *nasillement* «гнусавость», *beuglement* «мычание», *hennissement* «ржанье», *aboiement* «лай», *miaulement* «мяуканье», *gloussement* «кудахтанье», *glapissement* «визг», *croassement* «карканье», *coassement* «кваканье».

Своеобразный пример специализации аффикса находим в испанском языке, где суффикс *-azo* очень продуктивен для образования существительных, обозначающих удар: *alfajazo* «удар саблей», *cañazo* «удар тростником», *garrotazo* «удар дубиной», *testazo* «удар головой», *sombrerazo* «удар шляпой», *topeazo* «удар рогами», *puñetazo* «удар кулаком» и т. п. В других романских языках существительные аналогичного значения не являются столь типичными, а для их образования могут использоваться суффиксы, происходящие от латинского окончания participium perfecti passivi *-ata* (ср., например, итал. *coltellata* «удар ножом»).

3

Словообразование является основным источником развития синонимики, посредством словообразования обогащаются определенные области лексической системы языка. Интересно отметить, что синонимическое богатство определенных лексических слоев языка может зависеть от фонда жизненно важных понятий на определенном этапе исторического развития языка. Вряд ли можно считать случайным необычайное синонимическое богатство лексики, относящейся к войне, в период средневековья. В качестве иллюстрации приведем ряд слов со значением «битва», «сражение», широко распространенных в старофранцузский период: *bataille*, *batalleïs*, *briseïs*, *combat*, *combateis*, *debateïs*, *estor*, *estrif*, *fereïs*, *meslee*, *poigne*, *poigneïs*, *tençon*, *tireïs*. Так же богата в XI—XIV вв. синонимика глаголов со значением «разрушить»: *destruire*, *defondre*, *deforcier*, *defraindre*, *gaster*, *proier*, *pecoier*, *ravager*, *raviner*. Примеры синонимических рядов такого рода отнюдь не исчерпываются указанными случаями.

И. В. Сталин в своих работах по языкознанию говорит, что «...язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка»[9]. Конечно, было бы грубой методологической ошибкой считать, что в период феодализма во Франции существовал особый язык, отличный по строю от языка последующих периодов. Однако лексические особенности языка безусловно связаны с различными общественными формациями. Эта связь проявляется не только в возникновении новых слов, отражающих появление новых реалий или развитие понятий об окружающей природе, но и в развитии определенных областей словарного состава.

В известные периоды особое развитие в языке получают определенные смысловые сферы, которые наиболее тесно связаны с фондом жизненно важных понятий. Лексика старофранцузского периода, отраженная в памятниках различных литературных жанров и дающая известное представление о различных стилях речи,— очень специфична. Она отражает бурную жизнь Франции периода X—XV вв.: междоусобные войны феодалов, борьбу политической власти за объединение феодальных владений, войны против внешних врагов, восстания крестьян и т. д. Развитие денежных отношений тоже своеобразно отражается в словаре. В языке появляется множество синонимических выражений, связанных с понятиями выгоды, хитрости, обмана.

Во французской литературе XIII в., как известно, крупнейшим памятником является «Роман о Лисе», повествующий о проделках и плутнях изворотливого Ренара. Приведем оттуда несколько синонимов со значением «обман»: *boisie*, *boisetê*, *boiserie*, *deçoite*, *decevance*, *enheudissement*, *engin*, *falue*, *guile*, *fauvine*, *malengin*, *pipée*, *reboisement*, *triche* и многие другие. Подобное синонимическое богатство, конечно, невозможно в современном языке. Очевидно, это связано с тем, что слова, выражающие понятие «обман», в большинстве случаев не вошли в основной словарный фонд французского языка, хотя лексическое развитие этого понятия происходит на базе слов основного словарного фонда. В вышеприведенном ряду синонимов слово *falue* образовано от глагола *falloir* (*faillir*), входящего в основной словарный фонд и давшего в течение ряда веков производные: *fallace* (XIII в.) «обман», *falacieux* (XIV в.) «лживый»,

---

[9] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1953, стр. 22.

faillible (XIII в) «подверженный ошибкам», *défaillir* (XII в) «слабеть», *défaillance* (XII в) «слабость, упадок сил» и т п

Изучение развития синонимики может дать ценный материал для разработки проблемы о связи развития языка с развитием общества Ценный материал в плане разработки той же проблемы могут дать наблюдения над развитием общероманского ядра основного словарного фонда в отдельных романских языках Важнейшей проблемой исторической лексикологии является изучение способов развития основного словарного фонда на основе того первичного ядра, которое характеризует язык на первой стадии его формирования

Известно, что старофранцузский язык получил законченную литературную обработку в начале XI в В произведениях XI—XIII вв отобран словарный состав языка французской народности, отличающийся своим богатством от словарного состава ранних памятников старофранцузского языка, относящихся к IX—X вв Однако наблюдение над ранними памятниками старофранцузского языка дает нам возможность выделить то ядро основного словарного фонда, которое послужило базой как для развития самого основного словарного фонда, так и для обогащения всего словарного состава языка Большинство слов, встречающихся в этих памятниках, сохранилось до нашего времени, причем некоторые из них остаются за пределами основного словарного фонда

Семантика слов первичного словарного состава старофранцузского языка разнообразна Наиболее развита лексика, относящаяся к организму человека, к его трудовой и интеллектуальной деятельности, к моральным свойствам и чувствам человека Большинство этих слов — латинского происхождения, они сохранились почти во всех романских языках Например лат *homo*, *hominem* «человек» — рум *om*, итал *uomo*, исп *hombre*, португ *homem*, франц *homme* лат *manus*, *manum* «рука» — рум *mâna*, итал *mano*, исп *mano*, португ *mão*, франц *main* лат *oculus*, *oculum* «глаз» — рум *ochiu*, итал *occhio*, исп *ojo*, португ *olho* франц *oeil*, лат *pes*, *pedem* «нога» — итал *piè*, исп *pied* португ *pé*, франц *pied*

Многие глаголы, обозначающие различные виды трудовой деятельности, имеют общее происхождение в ряде романских языков и входят в первичное словарное ядро французского языка Например лат *facĕre* «делать» — рум *a face*, итал *fare*, исп *hacer*, португ *fazer*, франц *faire*, лат *armare* «вооружать» — рум *a arma*, итал *armare*, исп *armar*, португ *armar*, франц *armer*, лат *findere* «раскалывать» — итал *fendere*, исп *hender*, португ *fendir*, франц *fendre* лат *coquĕre* «варить (пищу)» — рум *a coace*, итал *cuocere*, исп *cocer*, португ *cozer*, франц *cuire*

К первичному словарному ядру французского языка относятся и некоторые глаголы речи, умственного и чувственного восприятия, имеющие эквиваленты того же происхождения в других романских языках Например лат *dicĕre* «говорить» — рум *a zice*, итал *dire*, исп *decir*, португ *dizer*, франц *dire* лат *cantare* «петь» — рум *a cânta*, итал *cantare*, исп *cantar*, португ *cantar*, франц *chanter* нар лат *rememorare* «помнить» — итал *rammemorare*, португ *rememorar*, ст франц *remembrer*, лат *audire* «слышать» — рум *a auzi*, итал *udire*, исп *oir*, франц *ouir*

Глаголы передвижения, встречающиеся в старофранцузских памятниках IX—X вв , также оказываются принадлежащими к общероманскому ядру словарного фонда языка Ср лат *venire* «приходить» — рум *a veni*, итал *venire*, исп *venir* португ *vir*, франц *venir*, нар лат *intrare* «входить» — рум *a intra*, итал *entrare*, исп *entrar*, португ *entrar*, франц *entrer*

В тех же памятниках встречаются слова относящиеся к городской культуре Ср лат *murus*, *murum* «стена» — итал *muro*, исп *muro*, португ *muro*, франц *mur* лат *civitas*, *civitatem* «город» — итал *citta*, исп *ciudad*, португ *cidade*, франц *cite*, лат *templum* «храм» — итал *templo*, исп *templo*, португ *templo*, франц *temple* лат *mansio*, *mansionem* «местопребывание» — итал *mansione*, исп *mansion* франц *maison* «дом», лат *monumentum* «памятник» — итал *monumento*, исп *monumento*, португ *monumento*, франц *monument*

К общероманскому фонду принадлежат также слова, обозначающие небо, землю и различные природные явления, они входят в состав наиболее древней и устойчивой части лексики в отдельных романских языках Особый интерес в плане изучения истории языка в связи с историей народа представляют наименее устойчивые слои лексического состава отдельных романских языков Среди подобных неустойчивых и легко обновляющихся слоев лексики следует отметить в первую очередь названия частей одежды Различные названия одежды, распространенные в романских языках в древний период, исчезли из употребления, и их значение неясно даже для филологов, которые в комментариях к старым текстам обычно ограничиваются указанием на родовое понятие, выражаемое данным словом «род одежды» Бесследно исчезли во французском языке такие названия одежды, как *bliaut*, *doublette* *fallot* *ganote*, *famulaire*, *estival* и многие другие

При сравнении названий одежд мы наблюдаем словарные расхождения в современных романских языках, несмотря на тенденцию к унификации одежды Например «юбка» — франц *jupe*, итал *gonna* или *sottana* исп *falda* или *saya*, «шляпа» — франц *chapeau*, исп *sombrero* «шинель» — франц *capote*, итал *pastrano*, исп *capote*

Относительно неустойчивым слоем в языке оказываются и названия рыб, птиц и растений Эти слова обычно не восходят к общероманскому фонду и с течением времени могут заменяться новыми названиями, отражающими углубление человеческих познании об окружающей природе Так, старофранцузское название электрического ската *dormilleuse* было в дальнейшем заменено заимствованным из итальянского языка словом *torpille* Это слово, проникшее во французский язык в XVI в и обозначавшее также род мины, лучше, чем старое название, характеризовало вредоносные свойства данной рыбы Некоторые прежние названия рыб и птиц могли заменяться новыми наименованиями и в связи с потребностью установить известные соотношения между видами рыб и птиц Например, древнефранцузское название трески *hanon* было заменено словом *merlan*, производным от *merle* «дрозд» То же соответствие между названиями дрозда и трески находим и в других романских языках Ср исп *merla* «дрозд» — *merluza* «треска», итал *merlo* — *merluzzo* В латинском языке слово *merula* употреблялось для обозначения дрозда и рыбы («морской дрозд»)

Названия рыб и птиц в большинстве случаев представляют своеобразные расхождения в романских языках Например, среди названий рыб «щука» — франц *brochet*, итал *luccio*, исп *marion* Французское слово *brochet*, производное от *broche* «вертел», характеризует рыбу со стороны ее формы итальянское название *luccio* (от основы *luc* «блеск, сверкание», ср глагол *lucciare* «блестеть, сверкать») характеризует рыбу со стороны другого признака, наконец, испанское *marión* — производное от собственного имени *Maria*, давшего начало ряду названий животных[10] «Лещ» —

[10] См об этом В Шишмарев Очерки по истории языков Испании М — Л, Изд-во АН СССР, 1941, стр 28

франц. *brème*, итал. *reina*, исп. *brema* и *sargo*. В этом случае во французском языке сохранилось слово франкского происхождения (из **brahisma*); это же слово дало начало испанскому *brema*, в то время как в итальянском языке распространилось метафорическое название *reina* от лат. *regina*.

Подобные расхождения обнаруживаются и в наименованиях птиц. Например, франц. *chardonne* «щегол» образовано от слова *chardon*, обозначающего чертополох, семена которого составляют пищу этой птицы; в испанском языке та же птица называется *jilguero* (слово проникло в испанский язык через посредство арабского). В основу названия малиновки во французском, испанском и итальянском языках лег один и тот же образ («красная грудка»), хотя метафора реализуется в каждом случае при помощи специфических (лексических и грамматических) средств национального языка: франц. *rouge-gorge*, исп. *petirrojo*, итал. *pettirosso*.

В этой области могли сохраниться и древние наименования, восходящие к словам языков автохтонов, могли наблюдаться случаи переноса названий. Видовые наименования могли получать значение родовых. Так, например, лат. *passer* «воробей» в испанском языке получило общее значение «птица» — *pájaro*.

Основной словарный фонд, наряду с внешними словарными ресурсами, т. е. заимствованиями, служит для обновления таких подвижных лексических слоев, как названия орудий, костюмов, домашней утвари, растений и животных. Например, в литературный французский язык из диалектов и иностранных языков проникают названия новой одежды: *blouse* — из диалектов провансальского языка, *rédingote* — из английского. Создаются такие названия, как *capote* «шинель», производное от нар.-лат. *cappa* «покрывало, накидка».

На основе внутренних ресурсов языка и заимствований создаются новые слова для обозначения новых орудий и методов производства, новых достижений науки и техники. Так, развитие авиации вызвало к жизни новое слово *aviation*, образованное от лат. *avis* «птица» при помощи продуктивного во французском языке суффикса *-ation*. Известно, что слово *avis* лежит в основе таких слов, как *oie* «гусь», *oiseau* «птица», *oisif* «беспечный», *avette* «пчелка» (устар.) и многих других производных слов французского языка. У отглагольного существительного *train* «тяга», входящего, начиная с XII в., в основной словарный фонд французского языка, в XIX в. развивается значение «железнодорожный поезд». В XVIII в. появляется слово *usine* «завод», представляющее собою диалектальное развитие слова *officine* «мастерская», бытующего во французском языке с XII в.

*

Подведем некоторые итоги:

1. Словообразовательные аффиксы обнаруживают очень большую устойчивость в языке.

2. Качественные изменения в способах словообразования заключаются в ограничении производительности одних аффиксов и в расширении производительности других.

3. Ограничение производительности аффикса может быть связано с приобретением производными, образованными при его помощи, известной эмоциональной окрашенности и с преимущественным использованием таких производных в каком-либо одном стиле речи.

4. В качестве некоторой общей закономерности в развитии способов словообразования можно отметить ограничение словообразования от одной основы с разными суффиксами и освобождение, таким образом,

языка от однозначных слов, не являющихся необходимыми для коммуникации.

5. В истории языков наблюдается некоторая тенденция к специализации суффиксов именного словообразования. Суффиксы, не имевшие вначале дифференцированных функций, постепенно распределяются по большим классам имен действия, качества, орудия, места и т. п.

6. Реализация известных тенденций не происходит в родственных языках одновременно. Одни языки характеризуются более быстрыми темпами изменения, нежели другие.

7. Специализация функций словообразовательного аффикса может быть результатом взаимодействия значения аффикса с лексическим значением основы. Так возникают специальные суффиксы «разрушительного действия» (например, суффикс *-is* в старофранцузском языке), суффиксы, обозначающие удар (*-azo* — в испанском), и т. п.

8. Специализация функций словообразовательных аффиксов и их распределение по стилям речи специфичны и определяются закономерностями, свойственными отдельным романским языкам.

9. Изменение словарного состава затрагивает, в первую очередь, подвижные лексические слои, которые подвержены постоянному обновлению в связи с развитием общественных отношений, с развитием науки и техники.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1954

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. А. ЛИСИЦКИЙ

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКИ МОЛДАВСКОГО ЯЗЫКА

Историческая фонетика молдавского языка до сих пор остается разделом языкознания, которым, в сущности, никто серьезно не занимается. Достаточно отметить, что в двух обобщающих трудах, вышедших в последнее время, — в сборниках «Вопросы молдавского языка ...»и «Вопросы молдавского языкознания»[1] даже не упомянуты задачи, связанные с изучением звуковых процессов молдавской речи. Что же касается исследований конкретных явлений исторической фонетики, то к ним молдависты после выхода в свет последних работ проф. М. В. Сергиевского фактически не обращались. Создается впечатление, что историческая фонетика не входит непосредственно в круг основных проблем, над которыми должны трудиться исследователи в ближайшее время.

В указанных выше теоретических сборниках неоднократно подчеркивается роль диалектологических материалов в исследовании истории молдавского языка. «Без знания отличительных черт отдельных молдавских говоров, особенностей истро-румынского, дако-румынского и македоно-румынского диалектов,— говорит, например, Б. А. Серебренников,— нельзя надлежащим образом наладить изучение истории молдавского языка...»[2]. Но использовать эти материалы, оказывается, не так просто, поскольку они, как часто на это указывается, далеко не полностью собраны и обработаны, а опубликованные до сих пор труды по диалектологии «...еще не дают обобщающих выводов по говорам молдавского языка...»[3]. Иначе говоря, согласно распространенному мнению, молдавская диалектология еще не доставила (и неизвестно, когда доставит!) материалы, необходимые для изучения истории языка. В результате, изучение истории молдавского языка, особенно последних этапов его развития, фактически откладывается на неопределенный срок. А поскольку историческая фонетика представляет собой один из разделов истории языка, то выходит, что столь же безрадостны перспективы и у этой дисциплины. В установках, опирающихся на подобные мнения, и следует

---

[1] Сб. «Вопросы молдавского языка в свете трудов И. В. Сталина», Кишинев, «Школа советикэ», 1951; сб. «Вопросы молдавского языкознания» (Доклады научных сотрудников Ин-та языкознания АН СССР и Ин-та истории, языка и лит-ры Молдав. филиала АН СССР на совместной сессии, посв. вопросам молдавского языкознания), М., Изд-во АН СССР, 1953.

[2] Б. А. Серебренников, Проблемы сравнительно-исторического изучения языков и вопросы молдавского языкознания, сб. «Вопросы молдавского языкознания», стр. 50.

[3] Д. Е. Михальчи, Задачи молдавского языкознания, сб. «Вопросы молдавского языкознания», стр. 63.

искать, на наш взгляд, причины длительного застоя в изучении проблем исторической фонетики молдавского языка.

Высказывания о недостаточности диалектологических материалов в настоящее время нам представляются неправильными и устаревшими. Они все еще отражают начальный этап молдавского языкознания, наиболее полно запечатленный в трудах М. В. Сергиевского. Труды эти имели (и сохраняют в известной мере до сих пор) большое значение как первый шаг науки о молдавском языке. Но для определения широких перспектив исторической фонетики молдавского языка работы выдающегося советского романиста все же устарели ввиду ряда естественных обстоятельств и прежде всего вследствие ограниченности самих задач, стоявших на первом этапе молдавского языкознания. Так, например, в итоговом труде М. В. Сергиевского речь идет лишь о некоторых наиболее типичных особенностях молдавской фонетики (ротацизм *н*, смягчение губных, аффриката *дз*, отвердение шипящих и свистящих и некоторые другие)[4].

Ограниченность фонетического материала и бедность его сравнительно-исторических характеристик в трудах М. В. Сергиевского в значительной мере были обусловлены и тем, что в распоряжении автора имелись, в основном, лишь диалектологические работы 20-х годов (и более ранние), фактические данные которых не позволяли провести соответствующие исследования достаточно полно. Коренной переворот, произведенный в языкознании трудами И. В. Сталина, а также последние сведения по румыно-молдавской диалектологии (материалы экспедиций по Молдавской ССР и Черновицкой области, «Румынский лингвистический атлас»[5] и др.) создали новые условия для постановки и решения основных проблем исторической фонетики молдавского языка, для подготовки обобщающих трудов и учебника по этой дисциплине. О проблемах, выдвинутых в связи с новыми условиями развития молдавистики, и будет идти речь в настоящей статье.

Основные проблемы исторической фонетики молдавского языка в данном случае закономерно вытекают из самого материала, т. е. из комплекса специфических особенностей молдавской фонетики и из общих законов, нашедших в ней отражение и объединяющих молдавский с другими (прежде всего романскими) языками. Анализ этих явлений и закономерностей неизбежно приводит исследователя к проблеме связей молдавского языка с наиболее близким ему румынским. При сопоставлении данных языков особенно четко вскрывается основное назначение сравнительно-исторического метода в языкознании — установление характерных черт одного языка при помощи анализа закономерностей, объединяющих его с другими родственными языками.

Благодаря большой близости интересующих нас языков и общности их происхождения молдавист может во многом использовать результаты анализа соответствующих явлений в румынском языке. Известно, что историческая фонетика румынского языка уже десятки лет изучается крупными языковедами — как румынистами, так и специалистами в области сравнительного романского языкознания. Естественно, что многочисленные исследования звуковых особенностей народной латыни восточной Романии, дако-романского периода (до появления первых письменных

---

[4] См. М. В. Сергиевский, Проблема происхождения и развития молдавского языка в свете данных языкознания, «Ученые записки Ин-та истории, языка и лит-ры Молдав. науч.-исслед. базы АН СССР», т. I, Кишинев, 1948, стр. 42.

[5] «Atlasul lingvistic român», sub conducerea lui S. Pușcariu: partea I (ALR I) — de S. Pop; partea II (ALR II) — de E. Petrovici. Параллельно составлялись две части «Micul atlas lingvistic român» (ALRM I, ALRM II) — Sibiu — Leipzig, 1938—1942.

памятников) и, в значительной мере, современного румынского языка могут быть с успехом использованы при построении исторической фонетики молдавской речи.

При критическом отношении к этим материалам они послужат опорой дальнейшего изучения общих историко-фонетических проблем молдавского и румынского языков. При этом надо иметь в виду, что общие черты румыно-молдавской фонетики выступают зачастую как яркие специфические особенности, выделяющие восточные районы Романии из всех остальных ее областей. По своему характеру такие особенности могут быть, на наш взгляд, условно разделены на две категории. Прежде всего, это конкретные процессы развития отдельных звуков, создавшие в конечном счете фонетическую систему дако-романского языка, отличную от звукового облика других романских языков. Например, латинское *ŭ* в открытом слоге дает в итальянском языке *o*, во французском *œ* (или *ф*), в румынском *u* (лат. *gŭla* «глотка», итал. *gola* «горло», франц. *gueule* «пасть», рум. *gura* «рот»). Подобные процессы (*ŭ*>*o*, *ŭ*>*œ*, *ŭ*>*u*), выражая специфику каждого из языков, указывают на частные расхождения, постепенно возникшие между ними. Такие переходы звуков различаются лишь по конкретному содержанию, но в принципе каждый из них (например, *ŭ*>*o*) вполне аналогичен другим (*ŭ*>*œ*,*ŭ*>*u*).

С другой стороны, специфика может выражаться в самом характере фонетических законов, действующих одновременно в румынском и молдавском языках. Такого рода особенности, вскрываемые обобщением многих конкретных фонетических процессов, имеют первостепенное методологическое значение для исследования ряда специфических явлений молдавской фонетики. Необходимость их тщательного изучения вызывается, таким образом, самой исследовательской практикой в области молдавистики.

Одной из наиболее ярких черт румыно-молдавского вокализма является своеобразная и весьма сложная комбинаторность изменения гласных. Если взять такой образец подобных процессов, как влияние конечной гласной на ударную, то большинство романских языков (французский, провансальский, испанский, португальский, некоторые диалекты итальянского) знает в этом отношении только сравнительно простые и немногочисленные изменения. Лишь народнолатинские ударные *o* и *ę* в перечисленных языках изменяются под влиянием конечного *i*. Народнолатинское *fęki* «я сделал» обнаруживается во французском в виде *fis*, прованс. *fitz*, исп. *hice*, португ. *fiz*, в то время как при спонтанном развитии *ę* дает повсюду *e* (лишь во франц. *wa*). Ср. нар.-лат. *sęta* «шелк»> франц. *soie*, исп., португ., прованс. *seda*, итал. *seta*. Таким же образом действует конечное *i* на ударное *o*. К тому же этот почти единственный случай действия конечной гласной на ударную отнюдь не имеет всеобщего характера (например, им. падеж мн. числа нар.-лат. *pęli* «волосы»> ст.-франц. *poil*)[6].

На фоне таких сравнительно однообразных закономерностей весьма сложным представляется действие конечной гласной на ударную в дакороманском языке. Характерным примером в этом отношении может служить комплекс законов и исключений, отразивших развитие в восточнороманских языках народнолатинских ударных *ę* (классич. лат. *e*, *ĭ*) и *o* (классич. лат. *ō*, *ŏ*) под действием конечных *a* и *e*. Наиболее простым из этих процессов является дифтонгизация *o* при указанных конечных гласных: *mola*>*moara* «мельница», *sole*>*soare* «солнце» (молд. *моарэ*, *соаре*).

---

[6] См. Э. Бурсье, Основы романского языкознания [рус. перевод], М., Изд-во иностр. литературы, 1952, стр. 132.

Что касается *ę*, то на первом этапе в тех же условиях этот звук переходит в дифтонг *ea*: *crę̨sta* (классич. лат. *crĭsta* > *creastà*) «гребень», *lęgę̨* > *leage* «закон». Но затем в словах с конечным *e* снова наблюдается монофтонгизация (*leage* > *lege*, молд. *леже*), причем эта основная линия развития осложняется еще рядом других влияний. Например, народнолатинское *fęta* «мать» только до появления письменных памятников звучало как *feata* (эта форма сохранилась в македоно-румынском). Но впоследствии, под влиянием предшествующего губного, происходит переход *featà* > *fatà* (молд. *фатэ* «девушка»). Конечное *ea* в молдавском языке и в некоторых говорах румынского переходит в *e* (*stea* > *ste*, молд. *сте* «звезда»)[7]. В молдавском языке в ряде случаев под влиянием различных предшествующих звуков этот процесс идет дальше (рум. *curea*, буков. *куре*, молд. *курэ* «ремень»). Столь сложные комбинации наблюдаются и в развитии многих других гласных румынского и молдавского языков.

Эта в общем хорошо известная черта дако-романской фонетики и представляет собой одну из широких особенностей, указывающих, как мы увидим ниже, пути изучения специфических явлений фонетики молдавского языка и его местных говоров.

Вторая особенность, создающая своеобразные трудности изучения дако-романской фонетики, состоит в том, что в связи с поздним появлением письменности исследование памятников дает сравнительно скромные материалы по истории звуков. Поэтому задачи, стоящие перед румынистом и молдавистом, значительно сложнее, чем задачи, которые должен разрешать исследователь других романских языков. Филологический анализ письменного французского языка различных эпох позволяет не только установить последовательное развитие звуков на протяжении многих веков, но и проследить ряд сложных процессов, показывающих постепенное проникновение различных черт народно-разговорного языка в литературный[8]. Роль известных письменных памятников северных областей Молдавии, Трансильвании и Буковины (Шкеянская и Воронецкая псалтыри, Воронецкий кодекс, псалтырь Хурмузаки и др.) в этом отношении сравнительно невелика для румынского языка и еще менее значительна для молдавского.

Дело в том, что появление письменных памятников (XVI в.) имело место гораздо позже той эпохи, когда сформировались основные черты дако-романского языка[9]. С другой стороны, возникнув сравнительно поздно, литературный язык вскоре воспринимает валашские нормы, в то время как языковые особенности Молдавии становятся постепенно достоянием лишь народно-разговорной речи[10]. Ввиду этого многие широко распространенные местные фонетические черты (например, палатализация губных) в письменном языке выявляются крайне слабо, а иногда и совершенно не оставляют следов. Тем не менее изучение ранних письменных памятников дало уже, как известно, весьма важные сведения по исторической фонетике румынского и молдавского языков. Письменные памятники познакомили нас, в частности, с такой (исчезнувшей теперь) чертой молдавской фонетики, как ротацизм *н*. Несомненно, что и

---

[7] Ср. Э. Бурсье, указ. соч., стр. 473 со ссылкой на работы Тиктина и Й. Йордана.

[8] См. М. В. Сергиевский, История французского языка, 2-е изд., М., Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1947, стр. 211.

[9] О. Денсушяну считает, что эти черты определились еще в XIII в. (см. O. Densusianu, Histoire de la langue roumaine, t. I, Paris, 1901, стр. 398).

[10] См. В. Ф. Шишмарев, Романские языки Юго-Восточной Европы и национальный язык Молдавской ССР, «Вопросы языкознания», М., 1952, № 1, стр. 100.

при дальнейшем сравнительно-историческом изучении текстов молдависты смогут найти интересные материалы по исторической фонетике.

Говоря об особенностях дако-романской фонетики, следует остановиться и на некоторых явлениях, характеризующих языковые связи румын и молдаван с другими народами. Правда, подобные явления по своему характеру не представляют собой ничего специфически дако-романского. Они хорошо известны многим другим языкам и достаточно полно описываются в трудах по общему языкознанию. Поэтому в настоящей статье мы остановимся на них лишь для того, чтобы показать одно из направлений исследовательской работы в области молдавской фонетики.

Описанные в научной литературе факты влияния различных языков на румыно-молдавскую фонетику (не всегда, впрочем, достаточно аргументированные) можно разделить на две основные категории.

Во-первых, это влияния, которые, по мнению исследователей, наложили свой отпечаток на основные фонетические законы дако-романского языка. Так, действием иллирийского языка объясняют, например, переход групп *ct*, *cs*(*x*)> *pt*, *ps* (нар.-лат. *lucta* «борьба», *coxa* «бедро»> рум. *lupta*, *coapsă*)[11], действием итальянского — аффрикатное произношение согласных в сочетаниях *ce*, *ci*[12], славянским влиянием — появление звуков *â* (ы), *ă* (ə)[13] и т. п. Подобные связи между различными языками в области фонетики не часты. Все же они отчетливо вскрываются не только в фонетике дако-романского периода, но и позднее, в фонетической системе молдавского языка. Одним из проявлений такого влияния можно считать, например, широкое распространение в говорах Молдавской ССР и Буковины украинского фрикативного *г*[14]. Естественно, что и дальнейшее изучение этой общности молдавского и территориально близких ему языков других народов может в известной мере по-новому осветить некоторые явления в области фонетики.

Во-вторых, при анализе межъязыковых связей приходится иногда иметь дело с более конкретными фонетическими особенностями, вскрываемыми часто лишь в отдельных словах. Так, например, албанским влиянием разъясняется раннее озвончение конечного *к* в ряде слов: рум. *aprig* «горячий», *vitreg* «не родной»< лат. *apricus*, *vitricus*[15]. При изучении фонетической структуры заимствованных слов обнаруживается приспособление (закономерное, но вскрываемое обычно на незначительном материале) отдельных звуков и сочетаний к нормам дако-романской фонетики. К таким явлениям можно отнести, например, появление *ă* вместо албанского *o*: алб. *mojɛ*, *more*>рум. *măi*, *mări* (оба соответствуют русскому «эй», «послушай»)[16], *š* вместо сербского *č* (перед *к*): сербск. *pročkati*> рум. *împroşcare* «обрызгивание»[17].

Здесь также выявляется один из путей изучения истории звуков, которым не может пренебречь и исследователь молдавской фонетики. Подобные заимствования особенно важны для установления относительной

---

[11] См. O. Densusianu, указ. соч., стр. 26.

[12] См. там же, стр. 215.

[13] См. А. Т. Борщ, Молдавская лексикография, Кишинев, Гос. изд-во Молдавии, 1949, стр. 102. Надо отметить, что это предположение требует более убедительных обоснований; многими исследователями оно вообще не разделяется.

[14] См. Ф. И. Кожухарь, Лексика южных говоров молдавского языка, «Ученые записки Ин-та истории, языка и лит-ры Молдав. науч.-исслед. базы АН СССР», т. II, Кишинев, 1949, стр. 150 (на молдав. яз.). О наличии этого звука на Буковине свидетельствуют материалы диалектологических экспедиций Черновицкого университета (1950—1953 гг.).

[15] См. O. Densusianu, указ. соч., стр. 350.

[16] См. там же, стр. 355.

[17] См. там же, стр. 368.

(а иногда и абсолютной) хронологии развития звуков. В тех же случаях, когда речь идет о словах, перенесенных из дако-романского в другие языки, соответствующий анализ может привести к установлению произношения звуков в ту или иную эпоху.

Настоящая статья, конечно, не претендует на полноту описания особенностей дако-романской фонетики. Что же касается указанных здесь явлений, то легко увидеть, что они неоднородны по своему характеру. Их объединяет между собой лишь то обстоятельство, что каждое подобное явление оказывается общим фонетике и румынского, и молдавского языков. Отсюда их большое методологическое значение. Вскрываемые на сравнительно хорошо изученных материалах исторической фонетики румынского языка, эти особенности уже сами по себе указывают пути изучения звуковых законов молдавской речи. Таким образом, родственность и большая близость обоих романских языков выступает здесь как фактор, существенно помогающий определить основные направления научных разысканий в области исторической фонетики молдавского языка.

Но, с другой стороны, эта близость ставит иногда перед исследователем исключительно трудные задачи. Конкретные явления молдавской фонетики зачастую настолько сближаются и переплетаются со звуковыми процессами румынского языка, что сравнительно-историческое изучение в таких случаях весьма осложняется. Примером подобного сближения может служить судьба дако-романских гласных *ă* и *î* (молд. *э*, *ы*) после согласных *š*, *ž* (молд. *ш*, *ж*). В XVII и XVIII вв. эти гласные испытали своеобразную эволюцию в различных областях дако-романского языкового массива. В Молдавии в XVII в. в результате палатализации согласных *š* и *ž* следующие за ними *ă* и *î* переходят соответственно в *e* и *i*, в то время как в Большой Валахии (где не было еще палатализации согласных) произношение их не менялось. Палатализация (и переход *ă*, *î*>*e*, *i*) происходит в Большой Валахии лишь в XVIII в. Но в это время в Молдавии уже осуществляется известный процесс отвердения согласных, вследствие которого *e*, *i* (после *š*, *ž*) снова переходят в *ă*, *î*. Получается весьма любопытное переплетение фонетических процессов, отмеченных в каждой из областей. В XVII в. союз *и* звучал в Молдавии как *şi*, в то время как в Большой Валахии он произносился с конечным *î*. С XVIII в. наоборот: *şi* становится характерным для валашской нормы, *şî* — для молдавской[18].

В силу этой же близости мы, по крайней мере в настоящее время, не можем говорить о каких-либо более или менее общих принципах, которые отличали бы молдавскую фонетику от румынской. При переходе от дако-романских черт фонетики к специфически молдавским нам приходится иметь дело всего лишь с конкретными звуковыми процессами, в которых вскрываются расхождения между тем и другим языком. Уже первые попытки анализа этих процессов приводят нас к сложной, чисто «молдавской» проблеме. Дело в том, что в современном литературном языке количество специфически молдавских черт в области фонетики весьма незначительно. Ввиду этого, когда дело касается молдавских особенностей, исследователи обычно ссылаются на факты народно-разговорной речи, на материалы, взятые из местных говоров молдавского языка. Закономерно поэтому встает вопрос, следует ли при изучении (и преподавании) исторической фонетики молдавского языка ограничиться явлениями, стоящими в рамках литературной нормы, или необ-

[18] См. A. Philippide, Originea romînilor, t. II, Iaşi, 1927, стр. 45.

ходимо значительно расширить предмет этой дисциплины, включив сюда же основные материалы диалектологии.

Вопрос этот для представителя иной лингвистической специальности может показаться неожиданным. В самом деле, в западноевропейском языкознании (отчасти также в трудах по русскому и украинскому языкам) по традиции давно уже установлено, что основным объектом изучения исторической фонетики являются звуки литературной речи. Материалы же диалектологии привлекаются главным образом для разъяснения различных отклонений от нормы, встречающихся в литературном языке[19], и лишь изредка для установления относительной хронологии.

Но можем ли мы полностью перенести эту традицию в молдавское языкознание? Повидимому, нет. По признанию молдавистов, еще нельзя считать, что нормы современного молдавского литературного языка в достаточной мере установились и освободились от некоторых искусственно привнесенных румынских элементов. Наоборот, одна из основных перспектив развития литературного языка — это творческое усвоение обширного богатства народно-разговорной речи, путь, по которому прошли все развитые литературные языки[20]. Ввиду этого и роль народно-разговорных элементов фонетики для молдавского литературного языка значительней, чем для какого-либо другого, имеющего длительную традицию.

Кроме того, специфика большинства романских языков достаточно ярко передается явлениями, соответствующими литературной норме. Этим, может быть, отчасти и объясняются основные недостатки современной лингвистической географии и, прежде всего, недостаточность сведений, извлекаемых из диалектологических материалов историками языка[21].

И, наконец, если относительно слабое использование диалектологических материалов при изучении исторической фонетики иных языков может быть объяснено приведенными выше и некоторыми другими обстоятельствами (наличием письменных памятников, тем, что каждая из дисциплин имеет свой обширный объект исследования), то само привлечение этих материалов в методологическом отношении не требует оправдания. Оно закономерно вытекает из марксистско-ленинского учения о единстве общего языка и территориальных диалектов. «Конечно,— указывает И. В. Сталин,— были наряду с этим диалекты, местные говоры, но над ними превалировал и их подчинял себе единый и общий язык племени или народности»[22]. И далее: «Следовательно, Маркс признавал необходимость **единого** национального языка, как высшей формы, которой подчинены диалекты, как низшие формы»[23]. По мере развития диалектологии мысль о единстве языка и диалектов постепенно находит все более широкое применение в самых различных областях лингвистической работы. Достаточно указать, например, что в подтверждение близости румынского языка с итальянским приводятся не только факты, общие литературным языкам (произношение групп *ce*, *ge*, форм *noi* «мы», *voi*

---

[19] Так, например, объясняются французские *foin* «сено», *avoine* «овёс» (из нар.-лат. *fenu*, *avena*) вместо ожидаемых **fein*, **aveine* (ср. *plenu*> *plein* «полный», *vena*> *veine* «вена»). Исследователи указывают, что эти формы были заимствованы к началу XVI в. из Бургундии или Лотарингии, где имел место переход *ei*>*wα* и перед носовыми согласными. Ср. E. Bourciez, Précis historique de phonétique française, 3-ème éd., Paris,1907, стр. 71.

[20] Ср. В. Ф. Шишмарев, указ. соч., стр. 105.

[21] Ср. оценку роли лингвистической географии в статье проф. С. Б. Бернштейна «О некоторых вопросах лингвистического картографирования», [сб. «Славянская филология», М., Изд-во Моск. ун-та, 1951, стр. 18].

[22] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1953, стр. 13.

[23] Там же, стр. 15.

«вы», *dai* «даешь», *stai* «стойшь», *apoi* «потом» и др.), но и явления, показывающие близость румынского языка к отдельным диалектам итальянского (ротацизм *l* в ломбардском, эмилианском, генуэзском диалектах, выпадение *e* перед *i* в венецианском и пьемонтском и др.)[24].

Исключительную роль это единство играет для молдавского языка, в котором именно диалектологические материалы содержат наиболее яркие специфические особенности, выделяющие его по отношению к румынскому. Поэтому использование в процессе построения исторической фонетики молдавского языка достаточно разнообразных фактов народно-разговорной речи следует признать, по крайней мере в настоящее время, совершенно необходимым.

Существующие на этот счет взгляды вряд ли можно считать вполне ясными. Как указывалось выше, большинство фактов, приводимых исследователями (проф. М. В. Сергиевский и др.) при характеристике своеобразия молдавского языка, взято из диалектологии. Но теоретически необходимость привлечения с этой целью материалов народно-разговорной речи никем, насколько нам известно, не была обоснована. Сама по себе ценность диалектологических материалов ни у кого из молдавистов, повидимому, сомнения не вызывает. Правда, в начале статьи мы отмечали, что существует мнение о большой отсталости молдавской диалектологии и ее несоответствии «требованиям современности». Можно, однако, указать и на более оптимистические высказывания на этот счет. Так, проф. С. Б. Бернштейн, оценивая материалы «Румынского лингвистического атласа», особо подчеркивает их роль в решении основных проблем исторической фонетики. «Тщательное изучение всех этих колебаний (фонетических колебаний по диалектам и говорам.— *В. Л.*),— указывает он,— является основанием для установления соотносительной хронологии важнейших фонетических процессов румынского языка»[25].

Мы полностью присоединяемся к высказанной здесь мысли (к сожалению, не нашедшей еще воплощения в практической деятельности молдавистов), дающей четкие перспективы использования данных диалектологии в интересах истории языка. Следует лишь добавить, что материалы атласа не меньшее значение имеют и для изучения исторической фонетики молдавского языка, поскольку они достаточно широко отражают звуковые особенности говоров Бессарабии и смежных с ней областей. Кроме того, для выполнения указанной задачи, помимо «Румынского лингвистического атласа», могут быть успешно использованы также иные материалы — данные лингвистических экспедиций, работавших в Молдавской ССР и Черновицкой области УССР, труды М. В. Сергиевского, работы Г. Вейганда, Т. Папахаджи, И. Поповича и других румынистов-диалектологов. Конечно, указанные материалы нуждаются в дальнейшей обработке, проверке, уточнении и т. п. Но это — работа, которая не может быть прекращена ни на каком этапе, достигнутом диалектологией.

Поскольку сама мысль об использовании диалектных данных для построения исторической фонетики не требует особых разъяснений, мы ограничимся лишь несколькими примерами, показывающими, каким образом диалектология может быть внедрена в исследовательскую практику при современном состоянии науки. Материалы взяты нами из «Румынского лингвистического атласа», хотя для более обстоятельного исследования нужно было бы привлечь и другие источники.

---

[24] См. O. Densusianu, указ. соч., стр. 217 и сл.

[25] С. Б. Бернштейн, Румынский лингвистический атлас, «Бюллетень диалектологического сектора Ин-та русского языка АН СССР», вып. 3, М.— Л., 1948, стр. 98.

Возьмем, например, такую особенность молдавского консонантизма, как переходы *f* (молд. *ф*) перед гласными переднего ряда в *s*(*c*), *ŝ*(*ш*) и *h'*(*x'*), представляющие собой одно из проявлений так называемой палатализации губных. До сих пор молдависты занимаются главным образом выяснением районов распространения каждого из вариантов в говорах Молдавской ССР и иногда северных районов Румынии. Последние данные по этому вопросу сводятся к следующему:

1. Переход *f* > *s*, а также *v* > *z* (молд. *в* > *з*) является особенностью северной части левобережной Молдавии (по Днестру), и «можно прямо утверждать, что в таком виде мы их (оба перехода.— *В. Л.*) не находим нигде в румынских областях, по крайней мере, по имеющимся доселе данным...»[26].

2. Процесс перехода *f* > *ŝ* характерен для южной части левобережной Молдавии, хотя достаточно широко представлен и в северной[27].

3. Переход *f* > *h'* отмечен «во многих местах Бессарабии»[28].

Первое из этих утверждений не соответствует действительности По данным «Румынского лингвистического атласа» и другим источникам (Г. Вейганд, Т. Папахаджи) легко установить, что наибольшее распространение переход *f* > *s* получает не в Молдавии (Советской или Румынской), а в Марамуреше. В Молдавии и Буковине он носит спорадический характер. Остальные наблюдения сами по себе верны, хотя и далеко не полны. Но в трактовке этих процессов М. В. Сергиевским и А. Т. Борщом наглядно обнаруживается, насколько мало были использованы до сих пор возможности сравнительно-исторического метода в молдавском языкознании. Переходы *f* > *h'*, *f* > *ŝ* и *f* > *s* в изложении этих исследователей выглядят как разрозненные явления, связь между которыми не ясна. Ни М. В Сергиевский, ни А. Т. Борщ даже не ставят вопроса о какой-либо последовательности этих процессов. Между тем имеющиеся диалектологические материалы вполне достаточны для выяснения относительной хронологии этих переходов, что и представляет собой одну из основных задач исторической фонетики.

Возьмем, например, карту № 301 «Малого румынского лингвистического атласа» (ALRM I), на которой отражена судьба начального *f* в слове *fin* «тонкий» (ср. также карту № 304). Наиболее древняя (исходная) разновидность этого звука *f* занимает обширный район, охватывающий весь юго-запад и почти весь запад дако-романского массива[29]: Большую и Малую Валахии, Банат, Кришану. К этой территории примыкает полоса (различной ширины) населенных пунктов, показывающих следующий вариант интересующего нас звука—*h'*. Наиболее значительную территорию переход *f* > *h'* занимает в районе соприкосновения границ Большой Валахии, Трансильвании и румынской Молдавии. Остальные области массива — Трансильвания, Буковина, северная часть румынской Молдавии и Молдавская ССР (Бессарабия) показывают, в основном, третью разновидность —*ŝ*. И, наконец, в Марамуреше обнаруживается небольшой, но весьма компактный район четвертого варианта — *s*.

Трансформация начального звука в слове *fin* от *f* на юго-западе до *ŝ* на северо-востоке несомненно отражает последовательные этапы в разви-

---

[26] М. В. Сергиевский, Молдавские этюды, М — Л , Изд-во АН СССР, 1936, стр. 18, ср. его же, Проблема происхождения и развития молдавского языка в свете данных языкознания, стр. 49, ср. также А. Т. Борщ, указ. соч , стр. 90 и сл

[27] См. А. Т. Борщ, указ. соч., стр. 104.

[28] Там же, стр. 92.

[29] Здесь мы исключаем из этого массива территории, занимаемые истро-румынским и македоно-румынским (включая мегленский) диалектами.

гии этого звука в местных говорах румынского и молдавского языков. Процесс его изменения можно представить следующим образом. Первоначально *f* был распространен на всей территории дако-романского языка. Следы его сохранились в говорах самых различных районов (см. карту № 1). Вторым этапом развития был *h'*, который появился в свое время на всей территории, лежащей северо-восточнее района современного *f*. Доказательством того, что именно этот звук (а, например, не *ŝ*) отражает

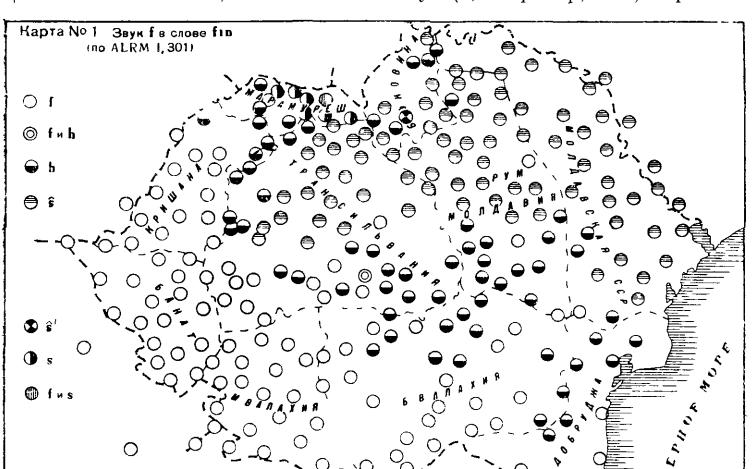

Рис. 1

второй этап, является, помимо непосредственной близости указанных районов, наличие ряда «переходных» пунктов, где отмечены оба варианта. Данная карта показывает лишь один такой пункт, но их несомненно больше (ср. карту № 80 того же атласа). Аналогичную картину мы видим и при переходе к третьему этапу (*ŝ*), о чем свидетельствуют уже говоры нескольких селений, в которых произносится одновременно *h'* и *ŝ*, причем карта отмечает в каждом случае преобладание того или другого звука. Что же касается варианта *s*, господствующего в Марамуреше, то здесь материалы атласа не дают ясной картины.

Анализируя эти материалы, можно было бы предположить, что появление *s* стоит в стороне от основной линии развития (*f* > *h'* > *ŝ*) и звук этот сразу же сменяет исходный *f*. Такому предположению соответствовало бы, с одной стороны, и непосредственное соприкосновение (южной границей) Марамуреша с районом *f* и наличие пункта (по ALRM I — № 848), в котором *f* и *s* сосуществуют. Вопрос, однако, решает утверждение Т. Папахаджи, что *s* в этом районе явление позднее, сменившее *h'* (старики сохраняют еще в произношении *h'*)[30]. Это значит, что появление *s* следует рассматривать как результат расхождения исследуемого звука на последнем этапе его развития, хотя промежуточный пункт свидетельствует, повидимому, о возможности в отдельных случаях и непосредственного перехода *f* > *s*.

[30] T. Papahagi, Graiul şi folclorul Maramureşului, Bucureşti, 1925, стр. LX.

В приведенном здесь описании четко устанавливаются основные этапы, которые прошел в своем развитии звук молдавской народно-разговорной речи $\hat{s}$ (*ш*) перед гласными переднего ряда. Иначе говоря, здесь решена одна из самых типичных проблем исторической фонетики.

Выяснение основной линии развития ($f > h' < \frac{\hat{s}}{s}$), естественно, дает ключ и к сравнительно-исторической характеристике отдельных данных по молдавской диалектологии. Так, например, по материалам диалектологических экспедиций, в говорах Черновицкой области преобладает форма *ш'ербе* «кипит», хотя в западной части области (собственно Северной Буковине) нередко можно встретить и «трансильванский» вариант — *'хербе*. Формы *ф'ербе* и *с'ербе* обнаружены всего лишь в нескольких

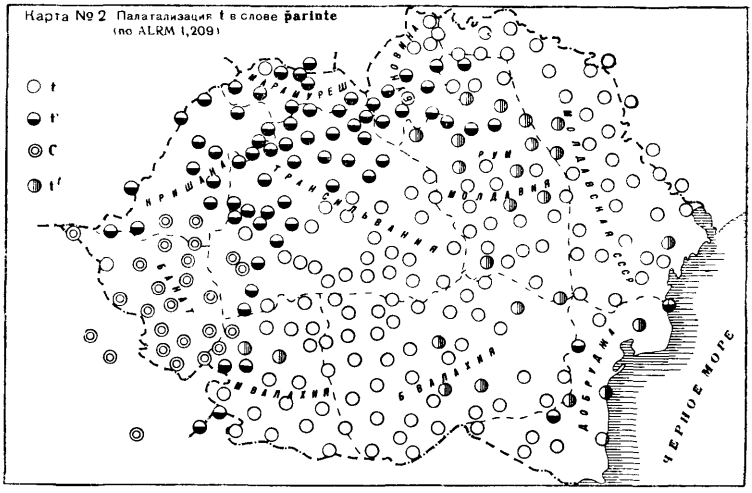

Рис. 2

селах. Эти материалы ясно показывают, что в отношении рассматриваемого явления говоры восприняли уже, в основном, норму молдавской народной речи, хотя в них все еще в значительной мере дает себя знать предыдущий этап развития этого звука (*х'ербе*). Кроме того, в типе *с'ербе* чувствуется близость района второй поздней разновидности — Марамуреша[31].

Аналогичную, но не полностью совпадающую картину развития можно установить и для звонкого варианта этого звука — *v* (молд. *в*) перед гласной переднего ряда. Из карты № 391 «Малого румынского лингвистического атласа» (звук *v* в слове *viu* «живой») следует, что исходная форма *v* распространена на юго-западе и западе массива. К этой территории примыкает полоса населенных пунктов, в которых начальный звук ука-

[31] При оценке буковинских явлений фонетики диалектолог, конечно, должен иметь в виду и многочисленные переселения в этот район крестьян из внутренних областей Румынии. Эти переселения, сопровождавшиеся иногда появлением новых сел на Буковине, продолжались вплоть до 30-х годов XX в.

занного слова произносится как *y* (т. е. как звонкий вариант *h'*, соответствующий, примерно, украинскому фрикативному *г* со смягчением). Районы *h'* и *y*, в основном, совпадают, хотя на севере второй звук представлен слабее, чем первый. Остальную часть массива занимает *ẑ* (молд. *ж*), за исключением Марамуреша, где в тех же селах, в которых обнаруживается *s* (вместо начального *f* в слове *fin*), *viu* произносится с начальным *z* (звонкий вариант *s*).

Материалы диалектологии позволяют нам объяснить, почему в известных случаях говоры молдавского языка придерживаются более древних норм, чем народная речь некоторых внутренних областей Румынии. Карта № 209 «Малого румынского лингвистического атласа» (звук *t* в слове *parinte* «родитель») отмечает распространение палатализации *t* по всему западу румыно-молдавского языкового района (Банат, Кришана, северо-восток Трансильвании, Марамуреш, Южная Буковина). Частично это явление просачивается и в румынскую Молдавию. Однако остальная часть массива и в том числе Советская Молдавия палатализации не знает (см. карту № 2). Поскольку в слове *părinte* исходным звуком мог быть только твердый *t*, указанную палатализацию следует считать явлением весьма поздним.

Нельзя, конечно, думать, что использование диалектологических материалов в построении исторической фонетики молдавского языка всегда будет таким же сравнительно простым и очевидным, как в приведенных здесь примерах. В связи с данными лингвистических атласов и описаний диалектов возникает также ряд проблем, требующих кропотливого изучения фактов и порой весьма тонких приемов исследовательской работы. Анализируя, например, судьбу ударного дифтонга *oa*, мы обнаруживаем, что в словах *oameni* «люди» и *moaşa* «бабка», «тетка» в румынской Молдавии и Молдавской ССР он почти повсеместно звучит как *ua*. Но в форме *el omoara* «он убивает» здесь в подавляющем большинстве населенных пунктов сохраняется старая разновидность этого дифтонга — *oa*. Значительное количество сел удерживает *oa* в *soacra* «свекровь», некоторые — в *nepoata* «племянница»[32].

Общие тенденции развития дифтонга в данном случае ясны. Но это развитие осложняется фонетическим окружением, которое оказывается различным для разных слов. И кроме того, действие даже одних и тех же предшествующих или последующих звуков в каждом из говоров может иметь свои особенности. Здесь мы обнаруживаем указанную выше черту дако-романской фонетики — ее большую комбинаторность, осложненную действием различных процессов, характерных для отдельных говоров. Естественно, что выяснение конкретных влияний на дифтонг *oa*, оказываемых окружающими его звуками, потребует тщательного историко-фонетического анализа различных говоров молдавского языка.

Приведенные здесь материалы «Румынского лингвистического атласа» могут быть проверены и дополнены другими источниками. Примером такого дополнения является, в частности, упомянутое выше указание Т. Папахаджи на поздний характер марамурешского *h'*>*s* (чего из атласа непосредственно мы узнать не могли). Судьбу того же *f* можно проследить и по трудам Г. Вейганда[33].

---

[32] См. соответственно ALRM I, карты №№ 270, 294, 405, 369, 242.

[33] См. наблюдения над словом *fier* «железо» в его работах: «Die Dialekte der Bukowina und Bessarabiens», Leipzig, 1904; «Der Banater Dialekt», Leipzig, 1896; «Die Dialekte der Grossen Walachei», Leipzig, 1902. А также в «Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig»: «Die Dialekte der Moldau und Dobrudscha» (IX), «Die rumänischen Dialekte der Kleinen Walachei, Serbiens und Bulgariens» (VII), «Körösch und Marosch-Dialekte» (IV).

Вот другой пример той помощи, которую может оказать исследователю обращение к материалам, опубликованным ранее: весьма любопытную проблему ставит перед историком молдавского языка карта № 260 «Малого румынского лингвистического атласа» (звук *p* в слове *copil* «ребенок»). Исходная форма со звуком *p* занимает почти всю южную часть массива (Большую Валахию, Малую Валахию, Банат, юг Трансильвании). Остальная часть территории обнаруживает равномерное чередование двух вариантов указанного звука — *pt'* и *pk'* (мы не останавливаемся на редко встречающихся формах *pc̆*, *pt*, *t'*, *k'* и др.), причем на карте атласа пунктов с первым вариантом втрое больше (75), чем со вторым (24).

Задача историка языка, следовательно, состоит в том, чтобы определить, какая из этих форм (*pt'* или *pk'*) является более древней, если обе формы не развиваются независимо одна от другой. Легко увидеть, что по материалам атласа определить это невозможно. Поскольку в научной литературе нет прямых указаний на хронологическую последовательность отмеченных форм, естественно обратиться к диалектологическим данным, собранным раньше, чтобы определить хотя бы общую тенденцию развития.

И действительно, уже материалы Г. Вейганда дают возможность вполне удовлетворительно решить эту проблему. Если карта атласа показывает преобладание формы *pt'*, то данные Вейганда, собранные примерно на 30 лет раньше, отражают полное господство в этих районах варианта *pk'*. На территории Буковины и современной Молдавской ССР исследователь отметил 67 сел, в которых произносится *kopk'il*, и только 7 населенных пунктов с вариантом *pt'*[34]. Еще более выразительное соотношение отмечено им в румынской Молдавии и Добрудже — в 140 пунктах произносилось *kopk'il* и лишь в 4 — *kopt'il*[35]. Следовательно, лишь сопоставление различных источников (атласа и работ Г. Вейганда) позволяет нам установить картину широкого перехода *pk'* > *pt'*, происходившего здесь в последние десятилетия.

Необходимость глубокого изучения собранных диалектологических материалов не предполагает, понятно, какого-либо ослабления экспедиционных исследований говоров молдавского языка. Но надо помнить, что эти исследования принесут наибольшую пользу лишь в том случае, если программы по сбору материалов будут построены на анализе уже известных нам сведений и подчинены интересам истории языка. К сожалению, этого нельзя еще сказать о программах, по которым работали последние годы экспедиции в Молдавской ССР и Черновицкой области.

Приведенные в настоящей статье примеры, конечно, не дают полного представления о том, как могут быть использованы материалы диалектологии при изучении развития звуков. Но даже при беглом знакомстве с указанными выше диалектологическими трудами видно, что материалы эти так или иначе отражают все основные процессы в области исторической фонетики молдавского языка.

---

[34] См. «Die Dialekte der Bukowina und Bessarabiens», стр. 48.
[35] См. «Die Dialekte der Moldau und Dobrudscha», стр. 179.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1954

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

Ф. Ф. КУЗЬМИН

К ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ»

Среди ряда вопросов, связанных с задачами подготовки квалифицированных кадров языковедов, вопросы преподавания общелингвистических дисциплин в высшей школе, а из них в первую очередь курса «Введение в языкознание», привлекают особое внимание широких кругов советских лингвистов.

И это естественно. Во-первых, предмет «Введение в языкознание» преподается на первых курсах всех языковых факультетов (и даже не только языковых) в университетах, в педагогических, в учительских институтах, а также в институтах иностранных языков. Во-вторых (и это главное), «Введение в языкознание» имеет в общей системе филологического образования не только определенное методическое значение как курс вводный, пропедевтический к изучению последующих языковых дисциплин, но и значение методологическое, поскольку этот курс первый знакомит начинающих студентов с теоретическими основами марксистского языкознания.

К сожалению, дискуссия на тему о постановке и содержании курса «Введение в языкознание», проведенная на страницах нашего журнала, осветив по преимуществу некоторые частные моменты в организации и построении курса, почти не коснулась тех общих, принципиальных вопросов, какие по существу должны быть разрешены или хотя бы быть поставлены в первую очередь при рассмотрении проблемы преподавания указанной дисциплины. Известная доля вины лежит здесь, видимо, и на редакции журнала, которая открыла дискуссию, не предпослав ей достаточно четких указаний о тех направлениях, в каких это обсуждение предполагалось проводить.

В распоряжение редакции поступило более 15 статей, посвященных вопросам преподавания «Введения в языкознание» и «Общего языкознания». Авторы этих статей — научные работники, главным образом преподаватели вузов (Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Пензы, Ворошиловграда, Иркутска и Запорожья[1]. Материал этих статей (большая часть из них была напечатана в очередных номерах журнала)[2], а также вышедшие за время дискуссии учебные пособия по «Введению в языкозна-

[1] Статьи были получены от: В. Д. Бондалетова, Д. Н. Введенского, А. А. Белецкого, Р. А. Будагова, Ю. Р. Геннера Н. К. Дмитриева, Л. И. Жиркова, В. Г. Краснова, А. Я. Лурье-Дерского, И. П. Мучника, М. Н. Петерсона, А. А. Реформатского, А. И. Смирницкого и О. С. Ахмановой, Н. А. Слюсаревой и Е. И. Шендельс, Г. В. Тропина и А. М. Финкеля и др.

[2] См. журнал «Вопросы языкознания»: 1952 — № 4 и 1953 — №№ 1, 3, 4 и 5.

ние»[3], действующие программы[4], их новые проекты[5], отзывы, рецензии[6], стенограммы обсуждений (пособий[7] и программ[8]) и другие документы[9],— все это может послужить, однако, достаточным основанием для того, чтобы подвести первые итоги обсуждения.

Задачи, содержание и организация курса «Введение в языкознание»

1

Прежде чем определять задачи курса «Введение в языкознание», необходимо уточнить понимание самого наименования этой дисциплины и выяснить ее значение и место в учебном плане. С этой целью обратимся сначала к опыту постановки преподавания этой дисциплины в прошлом.

Впервые научный курс общего языкознания начал читаться в высшей школе в 70-х годах XIX в. Понятно, что с того времени трактовка этого курса, его задачи, объем, содержание не раз изменялись. Соответственно изменялся, как уже отмечалось в дискуссии, и пропедевтический курс «Введение в языкознание».

Первоначально курс «Введение в языкознание» не был особой дисциплиной: его материал входил органической частью в предмет «Общее языкознание», читавшийся в университетах и посвященный основным проблемам науки о языке. Такой предмет (например, в лекциях Ф. Ф. Фортунатова в конце 70-х годов) распадался на 2 части, первая из которых давала общее понятие о языкознании и его методах, а также рассматривала

---

[3] И. П. Мучник, Введение в языкознание. Контрольные работы для студентов-заочников учит. ин-тов, М., Учпедгиз, 1952; его же, Введение в языкознание. Контрольные работы и материалы к изучению курса. Пособие для заоч. отд-ний пед. и учит. ин-тов, М., Учпедгиз, 1952; А. С. Чикобава, Введение в языкознание. Учебное пособие для ун-тов и пед. ин-тов, ч. I, М., Учпедгиз: 1-е изд.—1952, 2-е изд.— 1953; Л. А. Булаховский, Введение в языкознание. Учебное пособие для ун-тов и пед. ин-тов, ч. II, М,. Учпедгиз, 1953; Р. А. Будагов, Очерки по языкознанию, М,. Изд-во АН СССР, 1953.

[4] См. программы, выпущенные в 1950, 1951, 1952 гг. по курсу «Введение в языкознание»: 1) для филол. фак-тов ун-тов (Мин-во высш. образования СССР, Изд-во МГУ) и 2) для фак-тов русского языка и литературы пед. ин-тов (Мин-во высш. образования СССР)— авторский коллектив в составе А. С. Чикобава, В. В. Виноградова, В. Н. Ярцевой, Б. А. Серебренникова и Н. А. Кондрашова; по тому же курсу — для учит. ин-тов (Учпедгиз, 1951) — авторы И. П. Мучник и А. А. Реформатский. По курсу «Общее языкознание» для филол. фак-тов ун-тов (Мин-во высш. образования СССР, Изд-во МГУ) — автор А. С. Чикобава; по тому же курсу для фак-тов языка и литературы пед. ин-тов (Мин-во высш. образования СССР, 1951) — составлена кафедрой русского языка Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина.

[5] См. проект программы «Введение в языкознание», разработанный кафедрой общего языкознания МГУ.

[6] Р. М. Уроева и Е. И. Мурашева, Вопросы фонетики в курсе «Введение в языкознание», «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1953, вып. 5, стр. 470—480; С. А. Токарев, О классификации языков в учебном пособии проф. А. С. Чикобава «Введение в языкознание», «Советская этнография», М., 1953, № 3, стр. 204—208.

[7] Стенограмма обсуждения (4 апреля 1953 г.) книги А. С. Чикобава («Введение в языкознание», ч. I, 1952) на открытом заседании группы общего языкознания Ин-та языкознания АН СССР.

[8] Стенограмма обсуждения (9 февраля 1953 г.) программы по курсу «Общее языкознание» (автор А. С. Чикобава, 1952) на заседании кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания МГУ и «Замечания» (от 11 марта 1953 г.) кафедры общего языкознания ЛГУ на программы по курсам «Введение в языкознание» (авторский коллектив: А. С. Чикобава, В. В. Виноградов и др.) и «Общее языкознание» (автор А. С. Чикобава).

[9] Например, статья Р. А. Будагова «Несколько замечаний о построении программы и курса „Общее языкознание" в университетах», «Вестник Моск. ун-та», М., 1953, № 7 (Серия обществ. наук, вып. 3), стр. 105—114 и др.

генеалогическую классификацию языков и физиологию звуков речи. Вторая же часть посвящалась анализу основных фактов языка[10]. Аналогично строили позднее свои курсы и А. И. Томсон[11] и В. А. Богородицкий[12], расширившие только их проблематику.

Однако необходимость ознакомления начинающих филологов с элементарными основами общего языкознания, наряду со стремлением *создать подготовительный для последующих занятий курс, привели* к выделению особого предмета «Введение в языкознание». Дисциплина эта в качестве обязательной входила в учебный план всех отделений историко-филологических факультетов того времени. С самого начала своего возникновения и до наших дней построение курса «Введение в языкознание» носило и носит на себе отражение борьбы двух точек зрения или попыток их объединения[13]. Одна — характеризуется пониманием курса «Введение в языкознание» как предмета, который вводит именно в курс «Общее языкознание», будучи кратким, элементарным изложением тех же проблем, какие рассматривает последний на старших курсах. Другая — видит в курсе «Введение в языкознание» дисциплину, вводную к изучению любого языка вообще. К тому же разные авторы по-разному определяли ее объем и проблематику. Одни, как, например, Поржезинский, Кудрявский[14], позднее Ушаков[15], излагали «Введение в языкознание», руководясь стремлением дать в нем не только пропедевтическую «специальную часть» (элементы общей фонетики, лексики, грамматики, классификацию языков и письмо), но и так называемую «общую часть» (понятие и определение языка, теории происхождения языка, «жизнь» языка, проблема языка и мышления и т. п.). Другие же авторы, как, например, Бодуэн де Куртенэ, строили свой курс иначе: так, в его лекциях[16] мы не найдем «общей» части: там рассматривались проблемы фонемы, морфемы, соотношения звука и буквы, сообщалась система транскрипции *и давалась лингвистическая терминология. Задачей такого* курса было — разрушить у студентов те неправильные языковые представления, какие давались учащимся в тогдашней средней школе, заменить их новыми, соответствующими современному научному уровню.

«Мы не вводим слушателей или читателей в языковедение, но, наоборот, вводим языковедение, то есть лингвистическое мышление, в головы этих слушателей или же читателей, мы его там насаждаем, мы его там разводим»,— начинал Бодуэн де Куртенэ свой курс лекций[17].

Преподавание языка (родного и иностранного) в советской средней школе не имеет такого разрыва с изучением научной грамматики в высшей школе, какой волновал в свое время Бодуэна де Куртенэ, но это нисколько не снижает ни значения современного вузовского курса, ни ответственности

---

[10] См. В. Поржезинский, Филипп Федорович Фортунатов, М., 1914, стр. 11.

[11] А. И. Томсон, «Общее языковедение», 2-е изд., Одесса, 1910.

[12] В. А. Богородицкий, Лекции по общему языковедению, 2-е изд., Казань, 1915.

[13] См. учебники: Р. О. Шор и Н. С. Чемоданов, Введение в языковедение (М., Учпедгиз, 1945); М. Н. Петерсон, Введение в языковедение (М., изд. Бюро заоч. обучения при педфаке 2-го МГУ, 1928—1929); А. А. Реформатский, Введение в языковедение (М., Учпедгиз, 1947); см. также упоминавшиеся выше последние (1952—1953 гг.) издания учебных пособий А. С. Чикобава и Л. А. Булаховского.

[14] *В. Поржезинский, Введение в языковедение, 4-е изд., М., 1916;* Д. Н. Кудрявский, Введение в языкознание, 2-е изд., Юрьев, 1913.

[15] Д. Н. Ушаков, Краткое введение в науку о языке, 7-е изд., М., 1925.

[16] И. А. Бодуэн де Куртенэ, Введение в языковедение [курс лекций], 4-е (литограф.) изд., СПб., 1913/1914 учебн. г.

[17] Там же, стр. 3.

за высокий уровень его постановки, лежащей на наших преподавателях. Можно и должно использовать богатый опыт наших предшественников в организации преподавания курса «Введение в языкознание», но, начав с определения значения этого курса и его места в учебном плане советского вуза, следует прежде всего подчеркнуть ту специфику, которая отличает данную дисциплину не только от курсов дореволюционного времени, но и от курсов, читавшихся под тем же названием до лингвистической дискуссии 1950 г.

Впервые в истории языкознания, благодаря опубликованию труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», лингвисты получили возможность строить на марксистской основе науку о языке как общественном явлении. Та «общая часть» курса «Введение в языкознание», которая так затрудняла языковедов, которую так извращали Н. Я. Марр и его последователи, дает теперь ясные и отчетливые ответы на важнейшие вопросы языкознания. Особенно понятной теперь стала методологическая беспомощность многих крупных ученых прошлого, тщетно искавших путей разрешения основных языковедческих проблем в тумане идеалистических концепций.

Благодаря марксистской методологии и само понимание курса «Введение в языкознание» стало иным. Главным, исходным материалом при ознакомлении с наукой о языке стал родной язык, специфика внутренних законов его развития. Марксистское понимание языка как общественного явления, как одного из существенных признаков каждого народа, каждой нации, учение об устойчивости языка, о его неклассовости, о развитии в тесной связи с историей народа — вся эта новая трактовка основных положений языкознания придала курсу исключительное методологическое значение, какого никогда не имел и не мог иметь ни один из языковедческих курсов дореволюционной высшей школы.

2

Из приведенной оценки курса «Введение в языкознание» естественно вытекает и основная его задача — дать учащимся марксистское понимание языка. «Введение в языкознание» должно ознакомить студентов с языком как общественным явлением, с языком как системой, заложить основы научного понимания ими общеязыковых явлений и фактов.

Очевидно, что в курсе «Введение в языкознание» должны быть две главные части: 1) общая теоретическая часть (элементы марксистской теории языка с очень краткой характеристикой предистории марксистского языкознания) и 2) специальная часть, содержание которой может быть взято из III раздела действующей программы, при условии продуманного пересмотра и сокращения этого раздела за счет имеющегося в нем излишнего материала (см. ниже).

Необходимо, однако, уточнить и конкретизировать эти общие указания. А первым условием конкретизации содержания курса является установление дифференцированного к нему подхода. Дело в том, что предмет «Введение в языкознание» в разных учебных планах должен играть далеко не одинаковую роль. В одних случаях «Введение в языкознание» является единственным лингвистическим предметом; например, на философском и историческом факультетах университетов. В других — единственным общелингвистическим; например, на факультетах русского (или иного родного) языка и литературы учительских институтов и на отделениях журналистики, а также литературоведческих отделениях филологических факультетов университетов. В-третьих, наконец,— всего лишь первым в целом ряду других последующих лингвистических дисциплин, включая

и «Общее языкознание» на старших курсах. Это — самый распространенный случай, поскольку «Введение в языкознание», вводя в изучение других лингвистических дисциплин, читается на языковедческих отделениях филологических факультетов университетов, на факультетах русского (или иного родного) языка и литературы педагогических институтов, на факультетах (или в институтах) иностранных языков.

Если «Введение в языкознание» — единственный в учебном плане лингвистический предмет, то он должен быть полностью законченным, совершенно самостоятельным курсом. В программе такого курса, в ее общей части должны быть развиты (за счет остальных) главным образом обществоведческие темы. Специальные сведения о языке должны быть очень кратки, но достаточны для того, чтобы характеризовать язык как систему.

Во втором случае, когда «Введение в языкознание» является единственным общелингвистическим предметом, этот курс должен совмещать в себе как полностью законченную «общую часть», так и развернутую пропедевтическую «специальную», поскольку изучение последующих языковых дисциплин должно опираться не только на приобретенные благодаря этому курсу знания, но и на определенные [через систему практических занятий (о чем см. ниже)] навыки в анализе фонетических, лексических и грамматических фактов языка. В общей части такого курса следует особо развить те разделы, которые являются необходимыми для филологической работы в самом широком ее понимании. Само собой разумеется, что программа такого курса должна иметь отдельные варианты для университетов и для учительских институтов.

В третьем случае обе части — не только специальная, но и общая — должны быть построены с учетом программ языковых дисциплин последующих лет обучения. Здесь возможно даже некоторое сокращение «общей части», компенсированное зато усилением занятий (преимущественно практических) по темам части «специальной».

Все программы последующих языковых дисциплин должны быть пересмотрены с целью установления того, что следует оставить в курсе «Введение в языкознание» и, наоборот, что нужно перенести в программы предметов старших курсов.

Независимо от того, будет или нет на последующих курсах читаться «Общее языкознание» (или еще отдельный курс «История языкознания»),— все равно, курс «Введение в языкознание» при всех его вариантах не следует загружать историческим материалом. Сохранять исторический подход, значение которого подчеркивается классиками марксизма, необходимо во всех нужных случаях в целях развития марксистского понимания изучаемых явлений, но отнюдь не в плане изложения истории изучения тех или иных фактов и категорий.

В связи с приведенными выше соображениями и должна быть построена будущая программа курса «Введение в языкознание» в тех ее вариантах, какие были указаны выше для учебных планов различных специальностей. Что же касается действующих программ, то большая часть опубликованных в процессе обсуждения статей опиралась на ту из них, которая была принята в 1950 г. для университетов и пединститутов[18]. Эта программа ежегодно переиздавалась, в нее вносились отдельные поправки, но в своих основных частях она оставалась без каких-либо существенных изменений. Программа рассчитана на 68 лекционных часов.

---

[18] Авторский коллектив. А. С. Чикобава, В. В. Виноградов, В. Н. Ярцева, Б. А. Серебренников и Н. А. Кондрашов. Отв. ред. В. В. Виноградов. Программа в своем первом издании была утверждена Мин-вом высш. образования СССР 4 сентября 1950 г.

В 1951 г. Министерством просвещения РСФСР была издана программа того же курса для учительских институтов[19]. В основном, программа содержит те же разделы, что и программа для университетов, кроме следующих изменений:

1. Вся программа четко разделена на теоретическую (48 лекционных часов) и практическую (28 семинарских часов) части.

2. Программа имеет иное расположение материала, образуя так называемую «рамочную конструкцию»[20]. Иначе говоря, в начале курса производится лишь анализ общественной сущности языка (сталинское учение), а рассмотрение языка как системы, проблемы его происхождения, закономерностей исторического развития и образования национальных языков даны после раздела «Структурные элементы языковой системы».

3. Небольшая глава из вводной части университетской программы о зарождении в начале XIX в. сравнительно-исторического изучения языков выделена и расширена в самостоятельный раздел (VII) под заглавием «Краткий очерк истории языкознания».

4. Дано иное по сравнению с университетским (и традиционным) порядком расположение структурных частей: сначала лексика, а потом уже фонетика и грамматика.

5. «Письмо» выделено в особый раздел (VI).

6. В «Практической части» дана программа семинарских занятий, включающих пять разделов с пятнадцатью темами.

Наконец, в 1953 г. кафедрой общего языкознания Московского университета был составлен новый проект (также по типу «рамочной конструкции») программы по «Введению в языкознание» для филологических факультетов. Проект этот еще не утвержден.

Не вдаваясь в детальный критический анализ действующих программ, остановимся лишь на некоторых общих для них недостатках, от которых следует избавить новую программу при перестройке ее на основе указанной выше дифференциации.

Первое издание основной (университетской) программы было подготовлено и выпущено в конце 1950 г. в определенной исторической обстановке. Именно эта обстановка определяла тогда характер, построение и содержание программы. Это были дни, когда на страницах «Правды» только что прошла лингвистическая дискуссия, закончившаяся опубликованием работ И. В. Сталина, совершивших полный теоретический разгром «нового учения» о языке Н. Я. Марра и его последователей и создавших прочную базу для становления подлинно марксистского языкознания.

Понятно, что острота полемики, крах ложных концепций марризма, резкий поворот в развитии языкознания, вышедшего из тупика, созданного последователями Н. Я. Марра, на широкую дорогу творческой научной мысли, внедрение во все разделы лингвистики положений марксистско-ленинского учения, разоблачение и конкретный показ того огромного вреда, какой был нанесен в языкознании марристами научно-исследовательской и педагогической работе, тщательный пересмотр прежних работ, их критический анализ и т. д. и т. п. — все это не могло не отразиться на содержании и построении созданной тогда новой программы по курсу «Введение в языкознание».

Программа была унифицированной для всех филологических факультетов и отделений.

---

[19] Авторы: И. П. Мучник и А. А. Реформатский, ред. Р. И. Аванесов (М., 1951).

[20] Термин, распространенный в германистике для обозначения определенного вида синтаксических построений и использованный для данного случая А. А. Реформатским

Теперь наступило время пересмотра, изменения, улучшения программы. Помимо уже указанной необходимости дифференциации, программу следует освободить от цитат, значительно сократить, снять и всё то, что носит теперь слишком общий декларативный характер, приблизить к реальным потребностям высшей школы. Так, совершенно справедливо указывалось и в отдельных статьях[21], и в устных выступлениях[22], что критика марровских положений не должна занимать в курсе «Введение в языкознание» (говорилось о программе и об учебнике) слишком много места.

Нет сомнения в том, что борьба с марризмом не должна быть в какой-то мере ослаблена, и ошибочно было бы думать, что теоретический разгром, которому «новое учение» о языке подверглось в 1950 г., привел уже к его полной ликвидации. Очевидно, что нашим лингвистам еще не раз придется сталкиваться не только с результатами влияния порочных идей марризма, но и с попытками протаскивания (если не в открытой, то в замаскированной форме) его антинаучных положений. Однако необходимо помнить и о другой стороне вопроса: детальная критика «учения» Н. Я. Марра и его последователей, требуя обширной цитации и подробного анализа текстов из работ как самого Н. Я. Марра, так и его «учеников», во вводном курсе рискует превратиться в своеобразную пропаганду тех антинаучных положений, против которых она направлена.

В существующих программах и особенно в учебном пособии исключительно много места занимает классификация языков. Нет сомнения в необходимости теоретического освещения проблемы классификации и ее типов. Но нет никакой нужды загружать курс перечислением всех семей и групп языков при ознакомлении с генеалогической классификацией. Классификационные списки и схемы не должны выноситься и на экзамены; это чисто справочный материал, которому место лишь в специальном справочнике (см. ниже), а отнюдь не в учебнике и, тем более, не в лекционном курсе.

Составители новой программы и ее вариантов несомненно тщательно пересмотрят порядок построения ее разделов и глав и внесут необходимые изменения. Думается все же, что поднятые во время обсуждения вопросы «рамочной конструкции» и «первоочередности» лексики или фонетики не имеют принципиального значения. В конце концов для преподавателя высшей школы обязательна полнота проработки программного материала, а не соблюдение именно того порядка разделов и глав, какой предлагается программой[23].

3

В связи с обсуждением предмета «Введение в языкознание» был затронут вопрос об организации преподавания курса «Общее языкознание». После лингвистической дискуссии в 1950/1951 учебном году на старших курсах университетов и пединститутов в качестве общелингвистического курса читались «Основы сталинского учения о языке». Этот курс для студентов, изучавших до того языкознание по программам последователей Н. Я. Марра, был крайне необходим. Его главной задачей было изложить

---

[21] См. журнал «Вопросы языкознания», 1953, №№ 1 и 3.

[22] См. стенограмму обсуждения книги А. С. Чикобава «Введение в языкознание» (ч. I) на расширенном заседании группы общего языкознания Ин-та языкознания АН СССР 4 апреля 1953 г.

[23] Кстати, и сам инициатор изменения традиционного порядка изложения курса А. А. Реформатский в своей программе (составленной им в соавторстве с И. П. Мучником) дает лексику то перед фонетикой, то после (см. стр. 4, 10 и 15 программы для учит. ин-тов, изд. 1951 г.).

сталинское учение о языке и дать с подлинно марксистских позиций критику антинаучных и вредных построений «нового учения» о языке.

С осени 1953 г. на IV курс перешли студенты, бывшие в 1950/1951 учебном году первокурсниками. Естественно, что курс «Основы сталинского учения о языке» был бы для них лишь каким-то повторением того материала, какой изучался этими студентами во «Введении в языкознание» по программе 1950 г. Необходимость замены курса «Основы сталинского учения о языке» специальным курсом «Общее языкознание» приобрела особую остроту. Преподаватель «Общего языкознания», если и должен будет касаться на старших курсах тех же тем, то только с позиций более углубленного их рассмотрения. Курс «Общее языкознание» не повторяет, а обобщает знания, полученные студентами по всем другим лингвистическим дисциплинам.

Нет сомнения, что к концу срока обучения в высшей школе студенты, специализирующиеся по лингвистике, могут изучать проблемы общего языкознания уже на базе достаточной подготовки и не только по линии языковедческого цикла, но и цикла общественно-политических дисциплин. Казалось бы, что сопоставление курсов «Введение в языкознание» и «Общее языкознание» могло бы облегчить установление задач и проблематики последней дисциплины. Если пропедевтический курс «Введение в языкознание» дает лишь элементарные, вводные сведения по основам марксистской науки о языке, то самостоятельный («замыкающий») курс «Общее языкознание» знакомит с системой марксистского языкознания, в ее противопоставлении идеалистическим системам буржуазной науки.

Между тем, как показало проведенное обсуждение, существующая программа курса «Общее языкознание» и сама постановка этой дисциплины вызывают различные оценки и предложения. Близко к программе, хотя и не вполне совпадая с ее формулировками, дается анализ основного содержания курса «Общее языкознание» в статье А. И. Смирницкого и О. С. Ахмановой[24].

Авторы статьи раскрывают свое понимание курса «Общее языкознание», который должен быть, по их мнению, построен вокруг следующих трех основных проблем: 1) специфические особенности и задачи языкознания как особой науки; 2) специальные методы лингвистического исследования; 3) особенности различных сторон и единиц языка и обусловленная ими структура языкознания.

В статье содержится много правильных наблюдений и замечаний, которые, несомненно, могут и должны быть использованы составителями программы курса «Общее языкознание». Однако в статье имеется немало спорного, она не разрешает полностью поставленной проблемы, тем более, что авторы остальных статей резко расходятся между собой по вопросам объема, содержания и характера преподавания «Общего языкознания» на старших курсах.

Так, по действующему учебному плану после курса «Введение в языкознание» должны читаться курсы «История языкознания» (на III курсе) и «Общее языкознание» (на IV курсе). Содержание программы курса «История языкознания» не подвергалось специальному обсуждению. А. И. Смирницкий и О. С. Ахманова считают, что во всяком случае «...этот курс должен познакомить учащихся с основными этапами развития науки о языке от античности до современности, причем особое внимание должно быть уделено XIX—XX векам»[25]. Работники другой кафедры того же университета (МГУ) подвергают сомнению необходимость выделения истории

[24] А. И. Смирницкий и О. С. Ахманова, О курсе «Общее языкознание», «Вопросы языкознания», М., 1953, № 4, стр. 65—78.

[25] А. И. Смирницкий и О. С. Ахманова, указ. статья, стр. 66.

языкознания в особый курс и предлагают историю изучать одновременно и в тесной связи с общим языкознанием[26] или же включить ее в «Общее языкознание» в виде исторических очерков перед каждым разделом. В статье Р. А. Будагова высказывается противоположная точка зрения: «Курс общего языкознания следует читать после подробного и систематического курса „Истории языкознания". Только в этом случае студенты будут подготовлены к тому, чтобы правильно и глубоко усвоить основные проблемы языкознания»[27].

А. А. Белецкий, статья которого была опубликована в нашем журнале[28], предлагает проводить преподавание общего языкознания на каждом курсе и выделяет следующие дисциплины: «Введение в языкознание» на I курсе, «Общая фонетика» на II курсе, спецкурс «Введение в сравнительно-историческую грамматику индоевропейских языков» на III курсе, спецкурс «История языкознания» на IV курсе и «Общее языкознание» на V курсе.

Кафедра языкознания Ленинградского университета, критикуя существующую программу, внесла предложение отказаться от обзорного изложения, заменить общий курс спецкурсами по отдельным проблемам; тематику этих спецкурсов кафедра считает возможным предоставить на выбор преподавателя. Все эти расхождения в понимании места, объема и содержания соответствующих дисциплин, являясь, видимо, следствием отсутствия надлежащего опыта в преподавании общего языкознания на старших курсах, требуют организации специальной дискуссии по курсу «Общее языкознание». Нет сомнения, что необходимо теперь же приступить к составлению учебных пособий по этому курсу. В число таких пособий должны войти серии выпусков по истории языкознания и сборник по отдельным проблемам общего языкознания. Подобные пособия могли бы послужить материалом для будущих учебников общего языкознания на старших курсах.

Практические занятия по курсу «Введение в языкознание»

Казалось бы, значение практических занятий по курсу «Введение в языкознание» неоспоримо. Вводный курс, который впервые знакомит поступивших в вуз студентов с философскими основами советского языкознания, с лингвистическими проблемами, понятиями, терминами, впервые вводит учащихся в область научного наблюдения, анализа языковых фактов, эксперимента,— такой вводный курс не может и не должен усваиваться только за счет лекционного метода. Знания, получаемые студентами по этому курсу, должны быть хорошо освоены, закреплены.

С этим как будто согласны все преподаватели, ведущие курс и живо ощущающие острую необходимость надлежащей организации практических занятий по этому курсу. Понятен поэтому и тот интерес, какой был проявлен к вопросу семинарских занятий со стороны участников обсуждения. Некоторые статьи даже целиком посвящены проблеме организации практической части курса.

Чем же объясняется, однако, что вопросы объема, содержания и методики практических занятий до сих пор являются наиболее узким местом

---

[26] Стенограмма обсуждения (19 февраля 1953 г.) программы «Общего языкознания» на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания, МГУ.

[27] Р. А. Будагов, Несколько замечаний о построении программы и курса «Общее языкознание» в университетах, «Вестник Моск. ун-та», М., 1953, № 7 (Серия обществ. наук, вып. 3), стр. 106.

[28] А. А. Белецкий, О курсах общего языкознания в государственных университетах, «Вопросы языкознания», М., 1953, № 5, стр. 70—78.

в организации преподавания интересующей нас дисциплины? Причина этого все же — фактическая недооценка практических занятий. Против ценности и важности практических занятий никто не возражает. Более того, практические занятия не только считают по их значению равными теоретическому курсу, но даже отдают им предпочтение, справедливо подчеркивая ту исключительную роль, какую они могут и должны играть в деле активного освоения студентами содержания первой языковедческой дисциплины. Однако признание этой высокой значимости семинарских занятий ничем не подкрепляется, и практические занятия по курсу «Введение в языкознание» рассматриваются в планирующих органах и в самих вузах как занятия второстепенные, об уровне и качестве которых нет необходимости проявлять особую заботу.

Это отсутствие заботы и внимания к практическим занятиям проявляется в трех моментах, из которых собственно и складывается, в основном, вся организация преподавания любой дисциплины,— это вопросы преподавательских кадров, программ и специальных пособий.

Первое — преподавательский состав. Лет 40—50 назад такие, например, крупнейшие языковеды, как Л. В. Щерба, его учитель И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. И. Томсон, практические занятия по университетскому курсу языкознания проводили сами, отнюдь не поручая их младшим, менее опытным работникам кафедры.

Однако бурный рост сети советских вузов и огромный контингент их учащихся нельзя и сравнить с тем малым числом университетов и ограниченным количеством студентов, какие имелись в дореволюционное время в высшей школе. В наши дни профессор или опытный доцент, читающие лекционные курсы, просто физически не в состоянии руководить еще и семинарами по этим курсам. Поэтому обычным явлением стало, что кафедра поручает проведение практических занятий ассистентам, молодым преподавателям, нередко даже аспирантам, в порядке выполнения ими педагогической практики. Тем более необходимо привлечь профессоров к непосредственному руководству работой молодых преподавателей, широко использовать методический опыт этих профессоров.

Второй вопрос — программы и методические записки. До сих пор университеты имеют только одну программу 1950 г., где была указана тематика практических занятий. Позднейшие издания программ (1951, 1952 гг.) содержат лишь одну теоретическую часть. И хотя во всех учебных планах на практические занятия отводятся определенные часы, никаких методических записок для этих занятий до сих пор не создано. К сожалению, и последние проекты перестройки программы (как, например, упоминавшийся выше проект программы курса «Введение в языкознание», составленный в 1953 г. кафедрой общего языкознания МГУ) также вносят лишь некоторые исправления и частичные изменения теоретической (лекционной) части, но ни единым словом не упоминают о содержании и методике практических занятий.

Единственная действующая программа, которая дает распределение по темам как теоретической, так и практической части, сопровождая их методическими пояснениями,— это программа для учительских институтов. Сопоставление обеих действующих программ практических занятий (университетской — 1950 года — и учительских институтов — 1951 года)[29], а также схемы, предложенной одним из участников дискуссии[30]), показывает, что в основной тематике между ними нет принципиальных

[29] См. указанные выше издания этих программ.

[30] См. А. М. Финкель, О содержании и методике практических занятий по курсу «Введение в языкознание», «Вопросы языкознания», М., 1953, № 5, стр. 79—87.

различий. В каждой программе предусматривается из общей части одна и та же тема — «Понимание языка как общественной категории», из специальной части — темы из всех трех разделов: по фонетике, по лексике и по грамматике. Кроме того, каждая программа включает также и тему «Классификация языков», рассматривая ее лишь в разных планах: университетская — предлагает ознакомление на практических занятиях с морфологической и генеалогической классификацией и отдельно с языками народов Советского Союза; остальные две программы делают упор на географию распределения языков, предлагая темы «Языки мира» и «Работа над лингвистической картой». Совпадение основных разделов занятий в указанных трех схемах не случайно. Совершенно очевидно, что практические занятия должны быть теснейшим образом связаны с теоретической частью курса, освоение важнейших глав которого при любых изменениях программы должно быть закреплено в семинарах.

Не вдаваясь в детали обсуждения содержания этих разделов, ограничимся лишь отдельными к ним замечаниями. Прежде всего, нужно сказать о теме «Язык как общественное явление», включение которой в программу полностью оправдано ее исключительным методологическим значением. Историко-лингвистический комментарий труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», с самостоятельной его проработкой студентами, может и должен послужить исходным материалом для практических занятий. Чрезвычайно важно обеспечить серьезную проработку этой темы, тем более, что изучение ее активным методом значительно помогло бы усвоению первой общей части теоретического курса.

Что касается трех разделов специальной части (фонетики, лексики и грамматики), то одним из основных затруднений в их проработке является отсутствие специального пособия (о нем см. ниже). Пока же его нет, следует использовать не только упомянутое выше пособие И. П. Мучника[31], изданное для заочников, но и материалы из таких работ прежних лет, как, например, «Задачник по языкознанию» Бодуэна де Куртенэ[32]. Эти пособия можно достать в университетских и институтских библиотеках, и они будут весьма полезны при построении заданий для студентов, например, при изучении понятий морфемы и фонемы, системы транскрибирования и пр. Практические занятия должны строиться на изучении отобранных текстов по родному языку. Необходимо лишь тщательно продумать их программу, чтобы не было параллелизма, повторения при изучении соответствующих глав курса родного языка.

Нет сомнений, что, помимо родного языка, в ряде случаев придется привлекать материал и иноязычный. Правда, подготовка по иностранному языку в средней школе оставляет еще желать много лучшего, но все же руководитель практических занятий в известной мере сможет опираться на эту подготовку, подбирая материал для сопоставлений.

Из всех разделов в указанных выше схемах некоторое сомнение в ее целесообразности вызывает тема классификации языков. Она и в теоретическом курсе (как уже отмечалось ранее) должна иметь лишь самый общий характер, и нет никакого основания тратить время и силы на детали классификации или географии языков мира. Лучше эти сведения не давать в курсе, предоставив зато в распоряжение студента соответствующий справочник, к которому он мог бы обратиться во всех нужных случаях. Но вопросы издания справочника и других пособий следует рассмотреть особо.

---

[31] И. П. Мучник, Введение в языкознание. Контрольные работы и материалы к изучению курса.

[32] И. Бодуэн де Куртенэ, Сборник задач по «Введению в языковедение», по преимуществу применительно к русскому языку, СПб., 1912.

Вопрос о пособиях по курсу «Введение в языкознание»

1

Наибольшую нужду курс «Введение в языкознание» испытывает в учебниках. Лингвистические факультеты (за исключением вузов Армении и Грузии) до сих пор еще не имеют ни одного учебника. Выпуск первых двух частей учебного пособия по курсу «Введение в языкознание» (А. С. Чикобава и Л. А. Булаховский) пока еще не разрешил проблемы. Это первый опыт создания учебной книги после опубликования труда И. В. Сталина. Вышедшие части составлены применительно к действующей программе, согласно которой намечено издание и третьей части — «Морфология, синтаксис, стилистика» (автор — акад. В. В. Виноградов).

В задачи настоящей статьи не входит анализ положительных сторон или недостатков указанных книг[33], какие, несомненно, будут учтены при работе над созданием будущего учебника. Отметим лишь, что этот учебник должен полностью соответствовать программе, быть просто (доступно для первокурсника) изложен и иметь, наконец, общий объем не свыше 20 листов за счет разгрузки от излишнего материала.

Необходимо теперь же приступить, в интересах своевременного создания вариантов будущего учебника для национальных вузов (см. предложения в статье Н. К. Дмитриева), к подбору иллюстративного сравнительного материала на национальных языках Советского Союза.

Следует также позаботиться и о подготовке особого учебника для заочных вузов. В статье И. П. Мучника совершенно справедливо была подчеркнута специфика заочного обучения, вызывающая необходимость специального издания для заочников.

2

Многими участниками обсуждения указывалась необходимость срочного издания пособия для практических занятий. Это пособие следовало бы выпустить в двух частях. Одна часть, составленная по типу пособия «Сборник упражнений по современному русскому языку» проф. А. Н. Гвоздева, должна охватывать все темы, намеченные для семинарской проработки. В этой части нужно поместить задания как для индивидуальных, так и для коллективных занятий.

Вторая часть по существу должна быть кратким справочником студента-лингвиста. Здесь следует дать справочный материал по генеалогической классификации языков, по лингвистической географии, по классификации и артикуляции гласных и согласных, по типам звуковых изменений, сведения по системам транскрипции, образцы диалектных записей, краткий словарь терминов и т. п. Такой справочный материал сильно разгрузил бы текст учебника и одновременно дополнил бы его в качестве полезного пособия при выполнении практических заданий, а также служил бы постоянным справочником для студента-лингвиста и в последующие годы обучения.

Кстати следует отметить, что не только для студентов, но и для преподавателей был бы весьма полезен выпуск особым изданием словаря лингвистических терминов. Такой словарь помог бы разобраться во многих случаях той существующей в языкознании терминологической путаницы, которая немало вредит и педагогической, и исследовательской работе.

---

[33] См. рецензии на первую часть, напечатанные в нашем журнале, а также стенограммы проведенного 27 марта — 4 апреля 1953 г. в Ин-те языкознания АН СССР обсуждения. Отзывы о второй части ко времени написания настоящей статьи в печати еще не были опубликованы.

3

Характерно, что несмотря на общепризнанную значимость курса «Введение в языкознание», на ясные для всех трудности проведения этого курса, никто из преподавателей, принимавших участие в обсуждении, не коснулся вопроса наглядных пособий. Лишь в одной статье была отмечена необходимость бо́льшего внимания к кабинетам языка и к организации экспериментальной работы по фонетике в каждом вузе.

Очевидно все же, что давние традиции преподавания гуманитарных дисциплин одним лекционным методом лишь с эпизодическим использованием в отдельных случаях мела и доски крепко сковали методическую мысль наших преподавателей-лингвистов. А между тем при наличии достижений современной техники и существующем материальном обеспечении советских вузов кафедры языка имеют полную возможность предоставить своим преподавателям все условия к оживлению и лекционной работы, и практических занятий. Одна из причин неудовлетворительности постановки практических занятий в том и состоит, что в руках преподавателей нет никаких, а не только наглядных пособий. И никто всерьез созданием этих пособий не занимается.

Почему, например, лингвисты совсем не пользуются муляжами и красочными таблицами физиологов при проработке отдела фонетики? Почему и в наших министерствах никто не дает фабрикам наглядных пособий соответствующих заказов? Вина лежит прежде всего на самих преподавателях. Мы давно могли бы иметь прекрасные пособия как для демонстраций во время лекций, так и для занятий в семинарах. А какое огромное значение имели бы наглядные пособия при изучении, например, артикуляций органов речи в процессе работы над фонетикой как родного, так и особенно иностранных языков!

Мало того, в наши дни любой вузовский кабинет мог бы приобрести патефон и пластинки, специально выпущенные для многочисленных языковых факультетов. Иноязычное произношение звуков речи, не входящих в звуковую систему родного языка, записи образцов различных диалектов (яркий показ их живого произношения), различия в типах ударений, записи речи на национальных языках Советского Союза, на славянских языках, на китайском, японском и т. д., образцы записи литературной речи и произношения лучших мастеров советской художественной сцены — разве все эти не использованные до сих пор средства по облегчению восприятий и созданию максимальной яркости для запоминания не стоят того, чтобы преподаватели-лингвисты добились их реализации? Нам представляется, что этот вопрос давно назрел и требует скорейшего разрешения.

Косность в деле создания вузовских наглядных пособий сказалась и в том, что до сих пор наши кафедры не обеспечены хотя бы альбомами по курсу «Введение в языкознание». Массовые издания учебника и учебных пособий никогда не получат тех возможностей, какие имеются у специальной печати в деле воспроизведения фотоснимков и красочных рисунков и таблиц. Например, в специальных альбомах могли бы быть даны образцы различных видов письменности: древних текстов, сравнительных таблиц алфавитов и т. п. В альбомах же могли бы быть изданы и лингвистические карты мира, языков народов СССР, снимки различных артикуляционных положений органов речи, схемы классификации языков, схемы по лексике, по грамматическому строю языков и т. п.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1954

КРИТИКА БУРЖУАЗНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

М. М. ГУХМАН

Э. СЕПИР И «ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА»

(Об одной из реакционных концепций в современном американском языкознании)

1

Э. Сепир наряду с Л. Блумфилдом является наиболее известным языковедом Америки последних десятилетий. Два хронологически близких труда по общему языкознанию — «Язык» Э. Сепира (1921) и «Язык» Л. Блумфилда (1933) представляют собой как бы две линии языкознания Америки, хотя при более внимательном анализе здесь вскрывается общая основа: лингвистический механицизм Блумфилда, как и лингвистический концептуализм Сепира оказываются лишь разными формами идеологии современного субъективного идеализма. Не случайно Л. Блумфилд называл Э. Сепира своим учителем, и хотя в известном споре «менталистов» и «механицистов» Э. Сепир и Л. Блумфилд как бы возглавляли две враждующие школы, борьба эта протекала в пределах одного и того же реакционного идеалистического лагеря.

Работа Сепира «Язык», наиболее популярная из его трудов, далеко не во всем показательна для позднейшей эволюции взглядов американского языковеда. В этой книге Сепир еще утверждал, что «поскольку нет никаких данных предполагать существование заметных расовых различий в устройстве человеческого мышления, постольку бесконечное разнообразие языковой формы, иная сторона бесконечного разнообразия осуществляющего процесса мысли, не может быть показателем этих расовых различий»[1]. Но уже в конце 20-х годов он все более сближается с представителями расистской этнопсихологии, а такие его ученики, как Б. Уорф, используют структурные особенности некоторых языков Америки для откровенной расистской пропаганды.

Небезинтересно отметить, что конкретно лингвистическая часть системы Сепира и его метод структурального анализа, раскрывающийся специально в главах III, IV, V и отчасти VI работы «Язык», в значительно меньшей степени оказали влияние на американскую лингвистику, чем метод анализа Блумфилда. Показательно в этом отношении, что авторы популярной брошюры «Очерк лингвистического анализа» Б. Блок и Г. Трэджер, несмотря на то, что они называют Сепира «одним из самых крупных лингвистов» (One of the greatest of all linguists)[2], свои образцы лингви-

[1] Э. Сепир, Язык [рус. перевод], М.— Л., Соцэкгиз, 1934, стр. 171.

[2] B. Bloch and G. L. Trager, Outline of linguistic analysis, Baltimore, 1942, стр. 82.

стического анализа строят все же согласно принципам Блумфилда, а не Сепира. Конечно, американская фонология весьма многим обязана последнему, но все же, в основном, современная американская дескриптивная лингвистика развивалась под влиянием Блумфилда, а не Сепира[3]. Сепировское же «наследство» нашло свою реализацию в направлении, условно называемом нами «этнографической лингвистикой» (этнолингвистикой), где использование получили его наиболее реакционные идеи, высказанные им в монографии «Язык» и особенно в позднейших работах. Эти идеи Сепира нашли поддержку во взглядах пресловутых «творцов» бейсик-инглиш Огдена и Ричардса, в лингвистических построениях расиста-этнографа Б. Малиновского. Не случайно именно данная часть «наследства» Сепира поднимается на щит в империалистической Америке.

Этнографическая лингвистика, являясь одним из господствующих направлений в языкознании современной Америки, представляет собой своеобразный, истинно американский вариант неогумбольдтианства XX в. «Научной» базой этнолингвистики, определяющей ее содержание и метод лингвистического анализа, служит сепировская «теория моделей» (pattern), пропагандируемая не только в исследованиях языковедов этого направления, но и в работах американских этнографов. Этнолингвистика сложилась в связи с изучением многочисленных языков индейцев и оформилась в последние десятилетия в непосредственном единении с расистской этнографией и антропологией. Работы Сепира по вопросам этнографии, его увлечение реакционными концепциями этнопсихологии, наконец, перенесение «теории моделей» в область этнографических исследований, где она получила уже чисто расистское использование (см. ниже),— все это способствовало связи данного лингвистического направления с современной американской этнографией и наложило специфический отпечаток на последние исследования Э. Сепира и на работы его учеников.

*

В настоящей статье мы останавливаемся по преимуществу на критике той части концепции Сепира, которая оказалась наиболее «продуктивной» в современном американском языкознании и стала основой расистской концепции языка. Так, мы совершенно оставляем в стороне его принципы структурального анализа, но уделяем особое внимание той «теории моделей», которая имела широчайшие параллели в расистской этнопсихологии, в «теории» культурных кругов и т. д. и которая, как отмечалось выше, явилась «научной» базой этнолингвистики. Вместе с тем мы делаем попытку показать связь реакционных взглядов Сепира 30-х годов с идеями, высказанными им в его книге «Язык» еще в 1921 г. Это особенно важно потому, что в современной американской печати можно встретить весьма неожиданные сопоставления отдельных положений данной книги Сепира с основополагающими идеями марксистского языкознания. Как известно, одним из основных тезисов этой ранней работы Сепира является положение (выдвинутое уже Ф. де Соссюром) о предельной автономности языка, об отсутствии связей между историей языка и историей народа. «Не могу я признать,— пишет Сепир,— и настоящей причинной зависимости между культурой и языком. Культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают. Трудно усмотреть, какие особые причинные зависимости можно ожидать между

[3] См. в этой связи слова Р. Холла относительно того, что влияние Сепира на американских лингвистов было слабее влияния Блумфилда (R. A. Hall, La linguistica americana dal 1925 al 1950, «Ricerche linguistiche», Roma, 1950, fasc. 2, стр. 277—278).

отобранным инвентарем опыта (культура, как делаемый обществом ценностный отбор) и тем особым приемом, при помощи которого общество выражает всяческий свой опыт»[4], т. е. языком.

Как видно из этого отрывка, Сепир под культурой понимает всю совокупность общественной жизни данного коллектива, то, что можно было бы назвать производством материальных благ и духовных ценностей, все формы общественной жизни человека — от базиса до надстройки; при этом делается указание, что отсутствует причинная зависимость между всей этой совокупностью общественной жизни и языком. Это положение Сепира ничем не отличается не только от рассуждений Ф. де Соссюра, но и от основ «механицизма» Блумфилда или от положения структуральной лингвистики. Оно весьма популярно в идеалистической лингвистике, не способной понять социальной природы языка вследствие ложных, антинаучных взглядов на общество и законы его развития, отрицающей поэтому связь истории языка и истории народа.

«Движение культуры, иначе говоря, история,— утверждает Сепир,— есть сложный ряд изменений в инвентаре отобранного обществом опыта...», тогда как движение языка якобы «... вовсе не связано с изменениями содержания, а только с изменениями формального выражения»[5]. Сепир полагает, что можно мысленно изменить каждый звук, каждое слово, ни в малейшей степени не затрагивая внутренней сущности данного языка, его структурной модели. Язык полностью отрывается при этом от истории народа — творца и носителя этого языка и превращается в произвольную систему произвольных символов.

Отрыв языка от истории народа, создавшего этот язык в процессе длительного постепенного развития, пренебрежение к конкретной материальной оболочке данного языка, в свою очередь исторически обусловленной, а не произвольной, рассмотрение языка лишь как системы дематериализованных отношений — вот что лежит в основе этой идеалистической концепции. Именно такое понимание специфики языка привело Сепира к его «теории моделей», рассматриваемых как некие дематериализованные неизменные сущности, выражающие «дух языка» (см. ниже).

Известный интерес представляет критический анализ тех аргументов, которые Сепир выдвигает в качестве доказательства полной автономности языка, необходимости его имманентного изучения. Сепир, как и Блумфилд, практически исключает изучение словарного состава из анализа языка. Развитие лексики, утверждает Сепир, не должно интересовать лингвиста, если оно «... не бросает света на формальные тенденции языка»[6]. Тем самым фактически исследование развития словарного состава, которое, по словам того же Сепира, в известной степени не может не быть связано с историей культуры, исключается из поля зрения языковеда, если оно не связано с изменениями в формообразовании. Именно так и поступает в своей работе «Язык» Сепир, лингвистическая система которого содержит лишь описание и исследование определенного разряда языковых категорий, обусловливающих прежде всего фонетический и грамматический тип языковых структур.

Осуществление указания Сепира, что языковая форма должна изучаться со стороны типов моделирования, независимо от ассоциируемых с ними функций, находило свое выражение в структурном анализе, при котором меньше всего уделялось внимания системе значений, составляющих содержание грамматики того или иного языка. Тем самым грамма-

---

[4] Э. Сепир, указ. соч., стр. 171.
[5] Там же.
[6] Там же, стр. 172.

тика, которая, как учит И. В. Сталин, «есть результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления»[7], превращалась в инвентарь чисто технических приемов. А так как только на материале грамматики невозможно, не впадая в упрощенчество и наивную прямолинейность, раскрыть непосредственную связь истории языка с историей народа, то Сепир и приходит к выводу о полной автономности языка.

Фактически свои доказательства имманентности языковых процессов Сепир ведет на основе анализа формальных типологий, которые, конечно, не обнаруживают связи с определенной ступенью развития культуры. Только в вульгарно-материалистических стадиальных схемах Н. Я. Марра делались попытки связать морфологическую классификацию языков с развитием общества, с соответствующими общественными формациями и стадиями мышления. Сепир правильно отказался от отождествления морфологического типа языка и выражаемого этим языком идейного содержания. Но это правильное наблюдение получило в лингвистической системе Сепира совершенно неправильное истолкование и было использовано как основной аргумент в пользу автономности языковых процессов.

Сепир не мог понять двух сторон в языковых процессах, в их действенном взаимопроникновении. Тот факт, что языку свойственны внутренние законы его развития, отнюдь не противоречит необходимости изучения истории языка в неразрывной связи с историей народа. Сложность понимания закономерностей языковых процессов заключается, в частности, в том, что различные стороны языка, различные его аспекты, не одинаково реагируют на изменения, происходящие в обществе.

Словарный состав языка находится почти в непрерывном изменении. Рост промышленности и сельского хозяйства, торговли и транспорта, техники и науки требует от языка пополнения его новыми словами и выражениями. Таким образом, в лексике прежде всего осуществляется связь истории языка с историей народа. Однако не следует забывать, что это обогащение словарного состава, связанное с развитием всей общественной жизни народа, совершается в каждом языке по внутренним законам его развития. Сопоставляя, например, неологизмы в языке демократической Германии с такими же образованиями в русском языке, часто служащими к тому же образцами для немецких неологизмов, мы видим, что в немецком языке создаются сложные слова там, где в русском имеются словосочетания. Ср., например, *стахановское движение* в русском языке и *Stachanowbewegung* в немецком; *лауреат Сталинской премии* и *Stalinpreisträger* и т. д. Сама потребность в создании этих слов в немецком языке определяется современной нам историей немецкого народа, но пути образования этих новых слов обусловлены внутренними закономерностями словообразовательной системы этого языка.

Невозможно отрицать также влияние на развитие любого языка таких исторических фактов, как создание письменности, развитие науки и т. д. Значительные изменения в синтаксических нормах немецкого языка XV, XVI вв. не могут быть поняты без учета, например, расширения сфер применения немецкого языка в связи с борьбой против господства латыни в деловой переписке, в школе, в науке и т. д. Переход на немецкий язык в деловой переписке, проникновение немецкого языка в школу и науку, естественно, должны были привести к выработке ряда синтаксических особенностей, связанных со спецификой письменного языка. Одним из таких примеров является, в частности, развитие системы языковых средств, выражающих подчинительные связи. Однако и здесь все эти процес-

[7] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1953, стр. 24.

сы осуществляются на основе внутренних законов развития каждого конкретного языка. Так, в том же немецком языке оформление синтаксической нормы письменного языка неразрывно связано с закреплением так называемой рамочной конструкции, определяющей своеобразное членение немецкого предложения и характерный для немецкого языка порядок слов. Тенденции к «рамке» были довольно интенсивны в немецком языке еще в VIII—IX вв., но эта тенденция оформляется как определенная норма именно в период развития и нормализации письменного немецкого языка, в период становления немецкого национального языка на народной основе.

Развитие человеческого мышления, все более глубокое проникновение в объективные связи и отношения реальной действительности не может не найти отражения в грамматическом строе языка, который улучшается и совершенствуется по внутренним законам своего развития. Только подлинно диалектическое понимание двух сторон языковых процессов может дать правильное осмысление языковых закономерностей. «Материалистическая диалектика считает,— пишет Мао Цзэ-дун,— что внешние причины являются условием изменений, а внутренние причины — основой изменений, причем внешние причины действуют через внутренние»[8].

Подобно тому, как пренебрежение к внутренним законам развития языка приводит к упрощенчеству и вульгаризации марксизма, характерным для Н. Я. Марра и его последователей, так и, наоборот, голый имманентизм, типичный для современного зарубежного языкознания, является ярким выражением идеализма в языкознании. На позициях этого имманентизма и стоял Сепир в своей работе, отражающей систему его взглядов первого периода.

*

Для дальнейшей эволюции взглядов Сепира особенно существенным было то обстоятельство, что непонимание общественной природы языка, непонимание сложного характера связи языка с историей народа — творца и носителя этого языка — создавали благоприятную почву для порочного истолкования тех процессов и закономерностей, которые отличают отдельные языки и определяют их конкретное своеобразие. Специфика отдельных языков, связанная с историческими судьбами народов, говорящих на этих языках, закономерности развития и обогащения этих языков рассматривались Сепиром уже в его книге «Язык» с позиций пресловутой «теории моделей». Искаженному пониманию закономерностей языковых процессов, ложному объяснению своеобразия отдельных языков в немалой степени способствовало и неверное решение другого основного вопроса общего языкознания — вопроса о соотношении языка и мышления.

Высказывания Сепира относительно связи языка и мышления уже в работе 1921 г. неясны и двусмысленны, поскольку они не дают подлинного анализа сложности взаимосвязей между разнообразием языковой структуры различных языков и возможностью выразить в этих различных формальных структурах одно и то же содержание. «Язык и шаблоны наших мыслей неразрывно между собой переплетены...»[9],— пишет Сепир в этой работе, не раскрывая при этом содержания понятия «шаблоны мыслей». Но если полагать, что этими шаблонами мысли являются какие-либо концептуальные единицы или формы суждения, то естественно создается впечатление о прямой зависимости наших понятий и пред-

[8] Мао Цзэ-дун, Относительно противоречия, «Большевик», М., 1952, № 9, стр. 11.
[9] Э. Сепир, указ. соч., стр. 171.

ставлений окружающей действительности от характера той или иной языковой формы, а следовательно, и о различии мышления у народов, говорящих на разных языках. Именно этот вывод сделал Сепир в своих более поздних работах, вывод, типичный для современного расизма, принятый тотчас же на вооружение идеологии империализма.

Несмотря на нечеткость формулировок и противоречия, имеющиеся уже в этой первой работе, здесь ясно видны порочные положения, которые в более поздних работах Сепира проявляются с гораздо большей определенностью. Наиболее интенсивно это раскрывается в «теории моделей» (pattern) языка, которые выступают у Сепира как своеобразные формирующие шаблоны, стоящие над живым языком, как концептуальные категории, подчиняющие себе эмпирические факты. «Суть» речи, по мнению Сепира, «...никогда в чистом виде не реализуется на практике...»[10], она существует только в моделях языка. Эмпирически наблюдаемым фактам языка, в которых не находит своего полного выражения эта таинственная мистическая «суть» языка, противостоят «модели» языка, являющиеся результатом концептуального отбора и определяющие все изменения в языке.

У каждого языка, как полагает Сепир, есть своя модель, которой отвечает его внутренняя фонетическая система, и своя модель в области грамматического формообразования. За чисто объективной системой звуков, свойственной данному языку, существует более ограниченная «внутренняя», или «идеальная», система. Эта модель определяет лишь число, отношение и функционирование фонетических элементов, но не их материальную природу. Модель выступает как определенная функциональная система отношений, полностью оторванная от материальности звука. «Может случиться,— продолжает Сепир,— что у двух исторически родственных языков или диалектов нет ни единого общего звука, а модели их идеальных звуковых систем могут оказаться тожественными»[11]. Если поэтому, например, в каком-либо языке *p* сменяется своим звонким соответствием *b*, то ранее существовавший ряд *p*, *t*, *k* выступает уже в несимметрическом виде — *b*, *t*, *k*. Общая фонетическая модель оказывается нарушенной. Но если далее и остальные глухие *t*, *k* сменяются соответствующими звонкими, то прежний ряд оказывается возрожденным. Модель как таковая сохранена.

С этой точки зрения так называемое первое передвижение согласных в германских языках, характеризующее специфические особенности консонантизма этой группы языков, превращается в иллюзию, поскольку «модель» трех рядов *bh*, *dh*, *gh*; *b*, *d*, *g*; *p*, *t*, *k*, характеризующая фонетическую систему древних индоевропейских языков, полностью сохраняется в трех рядах германского консонантизма: *b*, *d*, *g*; *p*, *t*, *k*; *f*, *p̄*, *h*. Совершенно очевидно, что подобная трактовка специфики системы германского консонантизма полностью искажала бы характер его материального состава.

Как «идеальное», направляющее начало выступает «модель» и в грамматическом формообразовании, заранее определяя пути изменений грамматического строя. Определяя фонетический и морфологический тип языка, «модели» образуют «закон его жизни», содержание его развития; они предопределяют направление развития языка и составляют тем самым нечто постоянное и не знающее исторических изменений, что находит свое выражение во всем разнообразии эмпирических фактов данного языка и

[10] Там же, стр. 37.
[11] Там же, стр. 44.

отличает «структурный гений» одного языка от «структурного гения» другого языка.

Таким образом, сепировские «модели» оказываются по отношению к реальному языку в положении неких «платоновских идей», «реализующихся» в живой ткани языка. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается и другая порочная сторона этого построения. «Модели» того или иного языка, являясь в представлении Сепира чем-то постоянным и неизменным, находятся фактически вне развития и исторического изменения. Эти метафизические сущности определяют «структурный гений» языка раз и навсегда. Следовательно, практически языки не развиваются, не совершенствуются. Изменяются только эмпирические факты. Отсюда — один шаг до утверждения неравноценности различных языков. Не случайно перенесенные в область этнографии «модели» стали опорным пунктом расистских концепций о различных типах культуры, различных типах мышления, а в работах представителей этнолингвистики они оказались основой расистской концепции языка. Уже в этой ранней работе имеются, следовательно, предпосылки будущих взглядов Сепира.

Со всей определенностью эти порочные идеи были высказаны Сепиром позже, в статье «Положение лингвистики как науки», напечатанной в 1929 г.[12]; в работе «Язык» они еще неясны и расплывчаты. Но уже здесь «теория моделей» выступала как ядро того лингвистического концептуализма, который был характерен для позднейшей системы взглядов Сепира и его учеников.

*

В ближайшие годы после выхода в свет работы «Язык» Сепир опубликовал ряд статей, где «теория моделей» была перенесена из области языка в сферу «неязыкового поведения человека». Вместе с тем и общелингвистические взгляды Сепира претерпевают к концу 20-х годов сильные изменения. Так, например, в упомянутой выше небольшой работе «Положение лингвистики как науки» прозвучали уже совершенно новые для Сепира нотки. Не случайно Сепир упоминает здесь о трудах некоторых логиков (не называя их имен)[13], которые стремились «освободить язык» от присущих ему недостатков. Также не случайно он призывает лингвистов учесть эту «критику языка» в своих научных исследованиях. На самого Сепира эта «критика языка», представленная в то время работами Виттгенштейна, Рассела и других, оказала несомненное влияние. В результате этого идеализм Сепира получает новую окраску. Все явственнее намечается сближение его взглядов с реакционной философией языка Огдена и Ричардса. Вместе с тем в работах Сепира все определеннее выступают те расистские положения, которые в полной мере зазвучали у его учеников и последователей. Не прошла бесследно и совместная работа Сепира с Блумфилдом: бихевиоризм, принимающий нередко форму неприкрытого биологизма, сквозит не только в этой статье, но и в ряде других работ Сепира.

В статье «Положение лингвистики как науки» языковые факты рассматриваются как особые формы знакового (символического) поведения; проводится полная аналогия между стуком в дверь, который является «знаком», что кто-то должен придти и открыть дверь, и языковыми

[12] E. Sapir, The status of linguistics as a science, «Language», Baltimore, 1929, № 4.

[13] Сепир имел в виду труды представителей математической логики Виттгенштейна и Рассела; реакционная сущность этих трудов была разоблачена М. Корнфортом в его работах.

символами. Поэтому понимать язык в психологическом аспекте — это значит рассматривать его как наиболее сложный ряд символов, которые создало общество. Иными словами, устанавливается полное равенство языка и любых сигналов, столь типичное для всех идеалистических лингвистических направлений. Искажая сущность языка, его специфику, подобные «рассуждения», столь охотно подхватываемые реакционерами всевозможных мастей и оттенков, служат в конце концов основой для всех тех космополитических проектов искусственных языков, которые отражают антинародную, шовинистическую политику лженауки современного империализма.

Одной из основных проблем, освещаемых в данной статье Сепира, является вопрос об отношении лингвистики к другим социальным наукам, а следовательно, и языка к другим общественным явлениям. «Язык,— пишет он,— становится все более ценным при научном исследовании любой культуры в том смысле, что сеть (network) культурных моделей любой цивилизации заиндексирована (indexed) в языке, который выражает эту цивилизацию»[14]. «Языковый символизм» делает эти модели понятными и доступными. Язык, следовательно, по мнению Сепира, в приемах своего символизма выявляет «культурные модели», которые в противном случае, как предполагает Сепир, могли остаться необнаруженными, непонятыми исследователям. Однако неверно было бы думать, что Сепир тем самым устанавливает известную зависимость, например, языковых моделей от так называемых «поведенческих моделей». Напротив, и здесь Сепир всячески подчеркивает максимальную автономность, независимость языка. «Моделирование языка (the patterning),— пишет он,— в значительной степени самостоятельно, а не зависит от перекрещивающихся моделей нелингвистического типа»[15]. Именно эта «чистота и прозрачность» языковых моделей «помогает им служить ключом к пониманию неязыковых моделей человеческого поведения». Каким образом при автономности языковых моделей они в то же время служат ключом к пониманию других типов человеческого поведения, остается совершенно неясно. Характерно, что не ясен этот вопрос и в изложении одного из последователей Сепира — М. Эмено[16]. Однако у Сепира весь ход мыслей таков, что скорее можно предположить для него более вероятным влияние языковых моделей на культуру данного общества, чем, наоборот, зависимость моделей языка от истории того или иного народа.

Так, в той же статье Сепир прямо указывает, что «язык весьма сильно обусловливает все наши размышления о социальных проблемах»[17]. По мнению Сепира, жизнь моделей в том или ином обществе весьма сильно зависит от того конкретного языка, который стал средством выражения данного общества[18]. Более того, тот «реальный мир», о котором говорят люди и который включает все стороны общественного бытия человека, всю окружающую его действительность, в значительной степени, по мнению Сепира, построен на основе лингвистических навыков данной социальной группы[19].

Что обозначает это утверждение? Прежде всего, очевидно, отрицание объективной реальности познаваемого нами мира; не случайно выражение «реальный мир» (real world)

---

[14] E. Sapir, The status of linguistics as a science, стр. 209.
[15] Там же, стр. 212.
[16] См. M. B. Emeneau, Language and non-linguistic patterns, «Language», Baltimore, 1950, № 2, стр. 199—209.
[17] E. Sapir, The status of linguistics as a science, стр. 209.
[18] См. там же.
[19] См. там же.

поставлено Сепиром в кавычки. Для Сепира эта реальность лишь проекция наших языковых навыков. «Мы видим и слышим или же экспериментируем так, как мы это делаем, потому что языковые навыки нашего общества предрасполагают к определенному выбору интерпретации»[20],— заявляет Сепир. В этих утверждениях Сепир со всей очевидностью «развивает» реакционные идеи, весьма близкие к субъективному идеализму современной англо-американской философии в лице Рассела, Карнапа и других. Поэтому не вызывает удивления его дальнейшее указание, что «даже простейшие наши представления находятся в зависимости от социальных моделей, называемых словами»[21].

Идеализм любого толка ведет к отрицанию объективной реальности, существующей независимо от наших восприятий. Он ведет к утверждению непознаваемости этой объективной реальности, к признанию субъективности всякого познания и в конечном счете к агностицизму, который и лежит в основе не только «механицизма» Блумфилда, но и сепировского «ментализма».

Сепир доходит до утверждения, что социальная реальность обществ, говорящих на разных языках, всегда различна; между данным языком и данной социальной реальностью не произвольная, а необходимая связь. Отсюда недалеко до вывода, что различные языки строят различные «реальные миры»,— вывод, который со всеми «уточнениями» сделают, с одной стороны, такие ученики Сепира, как Б. Уорф, с другой — представители пресловутой «общей семантики» типа расиста Ф. Хайакава.

Так концептуализм неокантианского толка и «теория моделей», перенесенные на почву этнографии, подвели Сепира к утверждениям, представляющим благодарную почву для расизма. Вместе с тем здесь оказались *до известной степени воскрешенными в новой форме реакционные* идеи Гумбольдта о различии мышления у разных народов, говорящих на разных по своей структуре языках. Для гумбольдтианства типичным является непонимание сложного характера единства языка и мышления. Это единство подменяется их отождествлением, в результате которого за различием у разных народов языковой структуры ошибочно ищут и различие мышления. Реакционную сущность и абсурдность этих идей разоблачал еще в XIX в. великий русский ученый и революционер Н. Г. Чернышевский.

Так как, согласно взглядам Сепира, каждый язык обладает своей системой моделирования, своими структурными моделями, то, следовательно, по его мнению, не только мышление разных народов различно, но и сами «социальные миры» зависят от языка. Что касается моделей языка, то они также, как и культурные модели, порождены в конечном итоге «био-психологическими» (?) особенностями поведения индивидов, образующих то или иное общество, тот или иной народ. Неприкрытый биологизм выступает в этих рассуждениях Сепира. «Теория моделей» получает тем самым откровенно расистское использование уже в работах самого Сепира. Постановка вопросов языкознания здесь тесно переплетается с проблемами этнографии, определяя реакционную сущность и специфику этнолингвистики — подлинного детища англо-американского империализма с характерной для него политикой расовой дискриминации[22].

---

[20] E. Sapir, The status of linguistics as a science, стр. 210.

[21] Там же, стр. 212.

[22] Весьма показателен в этом отношении сборник, посвященный памяти Э. Сепира (Language, culture and personality. Essays in Memory of Edward Sapir», Sapir memorial publication fund Menasha, Wisconsin, 1941), где наряду со статьей Уорфа (см. ниже) был напечатан ряд этнографических работ учеников Сепира.

«Развиваемая» далее в работах этнографов-расистов Р. Бенедикт[23], К. Клукхона[24] и других, эта «теория» явилась одной из основ психолого-расистской школы американской этнографии. В этой области «теория моделей» служила орудием антиисторического подхода к изучению закономерностей общественных процессов, поскольку каждая «культура» или общество рассматривались лишь как выявление неких структурных моделей, якобы типичных для данного племени или народа и потому не подлежащих никакому изменению. Так, согласно «теории» типов культур Р. Бенедикт, те или иные черты общественного уклада индейцев пуэблу, квакиутл и папуасов острова Добу — не результат конкретных исторических условий, а проявление «культурно-поведенческих моделей». Эта «теория» недвусмысленно преследовала две практические цели: 1) доказать неизменность исходных, расовых отличий тех или иных ступеней общественно-политических и культурного развития так называемых «отсталых» племен и народов, задыхающихся и гибнущих под гнетом англо-американского империализма; 2) доказать «целостность культуры» капиталистического общества, отсутствие каких бы то ни было классовых противоречий, которые сводятся автором к розни несходных культур. Р. Бенедикт на основе все тех же «моделей» стремилась доказать необходимость расовой дискриминации, поскольку, по ее мнению, расы и их культуры неравноценны, и дошла в своих писаниях до утверждений, что расовое порабощение — необходимое условие культурного и биологического единства.

Именно с построениями такого типа сближается лингвистическая концепция Сепира конца 20-х, начала 30-х годов. Нам это «развитие» взглядов Сепира представляется весьма характерным для того пути, который проделала за эти годы официальная американская лженаука, все определеннее становящаяся на путь служения империализму. При этом показательно, что реакционная идеология наложила свой отпечаток даже на работы таких специалистов, которые в прошлом сделали не мало в деле изучения конкретного лингвистического материала. К ним относится и Сепир.

2

Выше указывалось, что некоторые положения Сепира, относящиеся ко второму периоду его деятельности, смыкались с реакционными идеями философии языка Огдена и Ричардса. Эти идеи изложены в их популярной книге «Значение значений»[25]. Книге этой суждено было сыг-

---

См. разоблачение расистских основ господствующих направлений современной американской этнографии в статьях: И. И. Потехин, Функциональная школа этнографии на службе британского империализма («Советская этнография», М.— Л., 1948, № 3); М. Левин, Я. Рогинский, Н. Чебоксаров, Англо-американский расизм («Советская этнография», М.—Л., 1949, № 1) Особенно же см. статьи: Д. А. Ольдерогге и И. И. Потехин, Функциональная школа в этнографии на службе британского империализма; М. Г. Левин, Я. Я. Рогинский и Н. Н. Чебоксаров, Англо-американский расизм; Н. А. Бутинов, Психорасизм в американской этнографии — [сб. «Англо-американская этнография на службе империализма» («Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР», Новая серия, т. XII), М., Изд-во АН СССР, 1951]. К сожалению, ни в одной из этих статей авторы не касаются связей взглядов таких этнографов, как Р. Бенедикт, с языковедческой концепцией Сепира.

[23] R. Benedict, Patterns of culture, New York, 1934.

[24] C. Kluckhohn, Patterning as exemplified in Navaho culture, сб. «Language, culture and personality...», стр. 109—130.

[25] C. K. Ogden and I. A. Richards, The meaning of meaning, 4-th ed., London, Paul, Trench, Trubner; New York, Harcourt, Brace, 1936.

рать немалую роль в оформлении реакционных тенденций американского языкознания. Она явилась не только одним из источников бульварной макулатуры «творений» Ли, Хайакава, Чейза и других, но и работой, оказавшей несомненное влияние на таких лингвистов, как Сепир. Весьма симптоматичным был тот факт, что в качестве приложения в книге Огдена и Ричардса была помещена статья этнографа Б. Малиновского, все эти годы выступавшего в качестве откровенного апологета английской колониальной политики и одного из активнейших и верноподданнейших слуг колониальной администрации[26]. Эта статья Б. Малиновского «Проблема значений в примитивных языках» явилась «прообразом» работ последователей Э. Сепира. Таким образом, появившимся впервые еще в 1923 г. «компендиум» Огдена, Ричардса и Малиновского как бы определил путь этнолингвистики.

Работа Огдена и Ричардса имела весьма характерный подзаголовок: «Исследование о влиянии языка на мысль и о науке символизма». Не имея возможности подробно остановиться на анализе этого «теоретического труда» творцов космополитического гомункулуса — бейсик-инглиш, укажем лишь на те моменты, которые особенно тесно связаны с содержанием работ Сепира и его последователей. Рассматривая язык как одну из форм «знакового поведения», к каковым авторы относят искусство, философию, логику и т. п., Огден и Ричардс недвусмысленно опираются на «откровения» математической логики, в первую очередь на работы агностика Рассела, а также Л. Виттгенштейна.

В обычной форме предстает перед нами в книге Огдена и Ричардса тот разрыв языка и мышления, который характеризует различные идеалистические направления зарубежного языкознания. Красной нитью через всю книгу проходит абсолютно порочная идея, что язык древнее мышления и лишь на определенных ступенях своего развития вступает с мышлением в связь, и более того,— что язык создал мышление. Книга посвящена «раскрытию» (?) «вредного» влияния языка на мысль. В качестве эпиграфа ко всей книге можно было бы поставить известную цитату из работы немецкого философа-лингвиста, неокантианца Ф. Маутнера «Критика языка» (1913), которая приводится Огденом и Ричардсом, а затем, с их легкой руки, так охотно используется в писаниях современных англо-американских «семантиков», часто без ссылок на первоисточник. «Если бы,— писал Маутнер,— Аристотель говорил по-китайски или на языке Дакота, он создал бы совершенно иную логику, или во всяком случае совершенно иное учение о категориях»[27]. Таким образом, по Маутнеру, категории языка определяют систему логики, язык определяет сознание, наш способ познания мира и т. д. Мы познаем не объективный мир, а лишь языковые факты. Маутнер в этом отношении является «предтечей» не только Огдена, Ричардса, Малиновского, Сепира, но и Рассела, Айэра и т. п.

Не трудно понять, почему идеи неокантианца Маутнера стали так популярны в англо-американской философии и лингвистике последних десятилетий и оказались одной из обветшалых концепций, принятых на вооружение американским империализмом. Во-первых, маутнеровская «критика языка», его отрицание объективности и достоверности наших знаний поразительно совпадали с агностицизмом современного идеализма. Во-вторых, положения, подобные только что приведенному, создавали

[26] Критика взглядов Б. Малиновского как этнографа была подробно изложена в статье Д. А. Ольдерогге и И. И. Потехина «Функциональная школа в этнографии на службе британского империализма».

[27] F. Mauthner, Zur Grammatik und Logik (Beiträge zu einer Kritik der Sprache, B. III), 2-e Aufl., Stuttgart — Berlin, 1913, стр. 4.

благоприятную почву для расистской пропаганды различных «типов мышления», различных «реальных миров» у народов, говорящих на разных языках. В-третьих, они дали тот прообраз «критики языка», который определял форму космополитической пропаганды бейсик-инглиш Огдена и Ричардса, а главным образом — содержание порочной «общей семантики» Коржибского, Ли, Чейза и других.

Вышеуказанная статья Б. Малиновского «Проблема значений в примитивных языках» должна была служить «лингвистическим доказательством» теоретических рассуждений Огдена и Ричардса. В ней Малиновский стремился показать на материале одного из языков Новой Гвинеи, что вся речевая практика, весь характер языка здесь совершенно иной, чем у цивилизованных народов. Наличие иного объема значения слова, других глагольных категорий, чем в современном английском языке, используется автором для «доказательства» иной природы языка, иных форм мышления. Так, например, тот факт, что различные грамматические формы английского глагола *to come* (*he comes*, *he came*, *he has come* и др.) не могут быть переведены формами одного и того же глагола *та* этого языка Новой Гвинеи (факт расхождения объема значений в различных языках, имеющий бесчисленные параллели при сопоставлении лексических единиц любых языков)-[8], Малиновский пытается использовать для доказательства особого «ситуационного» характера языка туземцев, делая затем выводы чисто расистского порядка.

Для Малиновского язык по своей основной функции лишь один из видов реакции на окружающий мир. Язык по своему происхождению возводится к звуковым реакциям, связанным с ощущением боли, радости, злобы и т. д.[29] Поэтому основную функцию языка — служить средством общения между людьми, средством обмена мыслями — Малиновский считает более поздней, возникающей лишь на особо высокой ступени цивилизации[30]. Отсюда — совершенно типичный для расиста вывод: язык «дикарей» ситуационно связан и отнюдь не является средством выражения мыслей. Повидимому, Малиновский вообще сомневается, есть ли мышление у «туземцев».

Еще в XIX в. великие мыслители Маркс и Энгельс доказали, что язык и мышление неразрывно связаны, что они образуют единство: «Язык так же древен, как сознание...»[31]. Именно поэтому ни язык не может существовать до человеческого мышления, ни человеческое мышление — до языка. В работах И. В. Сталина по языкознанию это положение получило свое дальнейшее развитие. Сама специфика человеческого языка, его сущность, его природа говорят о неразрывном единстве языка и мышления. Физиологическое обоснование этого единства дало учение И. П. Павлова о второй сигнальной системе.

Но все достижения научной мысли игнорируются «учеными» типа Малиновского. Малиновский неоднократно возвращается к утверждению о том, что язык определяет мысль, грамматический строй определяет содержание философских систем и т. д.; эти положения совпадают

---

[28] Ср., например, соотношение немецкого глагола *fahren* «ехать, ездить, везти» и русского глагола *ехать*, где объем значения немецкого глагола на много шире объема значения приведенного русского глагола; с другой стороны, ср. русск. *стена*, которому в немецком соответствуют два слова *Mauer* и *Wand*. Ср. в связи с этим интересный материал, приводимый акад. Л. В. Щербой, о соотношении объема значений русских *твердый*, *жесткий*, *жестокий*, *свирепый*, французских *dur*, *cruel*, *féroce*, немецких *hart*, *grausam*, *wütend* (Л. В. Щ е р б а, Преподавание иностранных языков в средней школе, М.— Л., Изд-во АПН РСФСР, 1947, стр. 69).

[29] См. C. K. O g d e n and I. A. R i c h a r d s, указ. соч., стр. 318—319.

[30] См. там же, стр. 316.

[31] К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. IV, стр. 20.

с «идеями» Огдена и Ричардса и продолжают практически линию Маутнера, как это и отмечалось выше.

Утверждения этого толка совершенно искажают характер связи языка и мышления, а также языка и различных форм идеологии, поскольку они основываются на чисто идеалистических построениях о соотношении языка, мышления и общества. С одной стороны, утверждается, что язык существует до мышления и вне мышления. Тем самым разрывается неизменная связь языка и мышления— связь, являющаяся одной из важнейших сторон сущности языка как средства общения. Практически это ведет к тому, что язык возводится к аффективным крикам, к безусловным рефлексам, к формам приспособления к окружающей действительности и тем самым полностью биологизируется. С другой стороны, язык рассматривается как создатель мышления, философии, науки и т. д. Познание наше, являющееся познанием объективной действительности, ее закономерностей, превращается в этих «теориях» в производное от языка, в первую очередь — от грамматических форм.

Статья Б. Малиновского, являвшаяся образцом расистской концепции языка, не только смыкалась с привычным в империалистической Америке комплексом идей «философии языка» современного субъективного идеализма, но и получила дальнейшее «развитие» в работах последователей Сепира; «наследство» Сепира и расистские традиции Малиновского сливаются в русле этнолингвистики. Особенно сильно все эти порочные идеи сказались в работах такого представителя этнолингвистики, как Б. Уорф, которого американские языковеды считают самым блестящим учеником Сепира.

3

В течение ряда лет Б. Уорф занимался одним из языков американских индейцев — языком хопи. В различных периодических изданиях и журналах печатались его статьи, посвященные анализу грамматического строя и словарного состава этого языка[32], а также некоторым общим вопросам языкознания (на материале того же языка хопи).

Для лингвистической деятельности Уорфа и для всего направления его работ весьма показательны следующие факты. Четыре его статьи, а именно: «Наука и языкознание», «Языкознание как точная наука», «Языкознание и логика» и «Отношение мысли и поведения к языку», опубликованные в 1940—1941 гг. (из них первые три в журнале «Technological Review», а последняя в сборнике «Language, culture and personality», посвященном памяти Сепира), были в 1949 г. переизданы таким учреждением, как Foreign Service Institute при Государственном департаменте (Departement of State) под общим названием «Четыре исследования по металингвистике». Наряду с этим статья Уорфа «Наука и языкознание» была в 1951 г. перепечатана с разрешения автора в небезызвестной книге «Язык в действии» пресловутого Хайакава, «соратника» Коржибского.

Что же сделало статьи Уорфа на материалах одного из языков американских индейцев столь «интересными», что их перепечатывают несколько лет спустя в специализированном издании? Какие идеи этих работ оказались в такой степени близкими уму и сердцу реакционнейшего аме-

---

[32] См. B. L. Whorf. The punctual and segmentative aspects of verbs in hopi. «Language», Baltimore, 1936, № 2, стр. 127—131; его же, Some verbal categories in hopi, «Language», 1938, № 4, стр. 275—286; его же. An american indian model of the universe, «International Journal of American linguistics», Baltimore, 1950, № 2, стр. 67—72 (посмертная статья). См. также библиографию работ Б. Уорфа, помещенную в этой его статье (стр. 67).

риканского публициста Хайакава, что он счел необходимым включить одну из статей в свою книгу? Наиболее «благодарный» материал для ответа на эти вопросы дают статьи Уорфа «Отношение мысли и поведения к языку»[33] и уже упоминавшаяся (дважды перепечатанная) «Наука и языкознание».

Показательным для всех работ Уорфа является фактический отказ от имманентизма Сепира и стремление выявить связь языка и «культуры», языковых и «поведенческих» моделей. Понимание этой связи приобретает в работах Уорфа совершенно явный расистский характер.

Первая работа посвящена своеобразному сравнению строя европейских языков с языком хопи по линии определенной группы языковых моделей. Очень характерно, что рассматриваются категории, которые определяются как признаки некоего «европейского стандарта» (Standard average European), иными словами, не конкретные языковые факты как таковые, а именно «европейские модели», скрывающиеся за этими фактами. Само сравнение Уорф строит на анализе категорий множественности и числа, времени, субстанции и т. п., абстрагируемых в качестве неких концептуальных единств из языкового материала.

Так, например, он отмечает, что согласно «европейскому стандарту» множественность и число применяются двояким способом — к реальным pluralis и к воображаемым pluralis. Ср. *десять человек* и *десять дней*. Десять человек можно объективно наблюдать, они могут быть реально налицо, десять дней в опыте не могут быть даны, ибо существует лишь один день, этот день, и т. д. Десять дней — это воображаемая, мысленно конструируемая группа. Отсюда делается вывод, что европейские языки не делают различия между воображаемой и реальной множественностью. Иное дело в языке хопи, где множественность якобы всегда реальна. На языке хопи нельзя сказать *десять дней*, например: *Они оставались там десять дней*, а приходится говорить: *Они оставались до одиннадцатого дня*. С другой стороны, в «европейском стандарте» такие слова, как, например, *лето*, *осень*, *сентябрь*, *утро*, *вечер*, обозначающие определенные отрезки времени, мало отличаются грамматически от любого другого имени, обозначающего какой-либо предмет; они так же употребляются в предложении, так же образуют множественное число, как любое другое имя. Из этого Уорф делает вывод, что наши мысли об отношениях этих слов в «референтах» в языке получили «объективацию» вследствие чего-то, что «является простой циклической фазой» и приравнивается к «пространственным образованиям». Поэтому понятие времени создано, по мнению Уорфа, нашими языковыми моделями.

Иначе якобы обстоит дело в языке хопи. Там такие слова, как *лето*, *осень* и т. д.,— наречия, поэтому нельзя сказать на языке хопи *Это лето жаркое* или *Лето было жаркое*. Отсюда вывод — в языке хопи отсутствует «объективация времени» (?), имеющаяся в европейских языках. С этим сопоставляется и тот факт, что в системе глагола языка хопи имеется иное распределение времени, чем в европейских языках.

Далее Уорф указывает, что в европейских языках существует два типа имен: индивидуальные имена—*дерево*, *человек* и названия массы — *вода*, *песок*, *пища*, *молоко*. Различие определяется, по мнению Уорфа, формальными языковыми средствами, например невозможностью образовать множественное число или употреблением партитивного артикля, как во французском языке *du*, *de la*, *des*. Для уточнения при именах

[33] B. L. Whorf, The relation of habitual thought and behavior to language, сб. «Language, culture and personality...», стр. 75 и сл.

существительных, обозначающих массу, возможно употребление тех или иных ограничителей, например *стакан воды*, *чашка кофе* и пр. В языке хопи якобы все имена индивидуальны. На основании этого утверждается затем, что «европейские языковые модели» противопоставляют «материю», «субстанцию» «форме», чего не знает будто бы язык хопи.

Прежде чем перейти к рассмотрению дальнейших рассуждений и выводов Уорфа, остановимся на самом характере его анализа. Уорф идет от частных единичных фактов несовпадений в сравниваемых языках к реконструкции «языковых моделей», которые практически осмысляются как категории «языкового мышления», а от них переходит к системе концептуальных категорий; предпосылка — полное отождествление языковых отношений и гносеологических категорий, с одной стороны, и, с другой,— сведение различных способов выражения познавательного содержания к различиям самого познавательного содержания.

Попытка показать связь типа «культуры» и языка ведет к отождествлению языковых моделей и того, что Уорф называет культурными нормами, хотя в первой работе он и указывает на наличие «соединения», а не «корреляции» между ними.

Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что у народов, стоящих на разных ступенях исторического развития, например, у австралийских племен и у французов XX в., представление об окружающей природе и ее законах различно. Развитие общества, обусловившее развитие науки, особенно естественных наук, в корне изменило наши знания об окружающей природе. Однако это отнюдь не прерогатива «европейского человека». С другой стороны, очевидно, что развитие общества, развитие науки влияют на язык, обогащают его словарный состав, совершенствуют его грамматический строй. Но только полное непонимание сложности взаимосвязей между языком и познавательным содержанием нашего мышления или нежелание понять эту сложность может вызвать к жизни рассуждения, подобные писаниям Уорфа. Ведь своеобразие каждого языка заключается не только в его звучании, но и во всей системе в целом, начиная от характера семантических систем и кончая техникой грамматического выражения. Так, в немецком языке имеется, как и в русском, деление имен существительных на три класса по грамматическому роду, во французском — на два, в английском — грамматический род отсутствует. Можно ли из этого делать вывод, что немцы и русские, с одной стороны, и французы, с другой — обладают разными типами мышления, познания окружающей действительности? И разве отсутствие дифференциации по роду в английском языке обозначает, что англичане не знают различий между *man* и *woman*? Думается, что подобное заключение, поскольку оно касается английского языка, вызвало бы возмущение у мистера Уорфа и его соратников. Или другой пример: как известно, система русского глагола отличается исключительным богатством видовых различий. Вся гамма этих видовых оттенков не может быть в немецком языке передана формообразованием глагола. Но было бы совершенным абсурдом утверждать, что немец не способен отличать те объективные процессы, которые в русском языке получили выражение в глагольном формообразовании, а в немецком не имеют специализированного выражения.

Сами «языковые модели» языка хопи и индоевропейских языков, по Уорфу, абсолютно неподвижны: они присущи данным языкам на протяжении всей истории. Хопи «обречены» на ту совокупность языковых моделей, о которых пишет Уорф. «Теория» языковых моделей Сепира нашла здесь последовательную реализацию, и тем самым во всей полноте раскрылась ее реакционная сущность. Вместе с тем этот «метод» рассуждений, полностью искажающий соотношение мышления и

языка, осуществляет максимальное насилие над живой тканью языка, поскольку реальные языковые факты изолируются от системы языка и втискиваются в абстрактные схемы схоластически конструируемых моделей. Фактически этот анализ даже нельзя назвать языковым, настолько он далек от реальных языковых фактов. Однако порочность построений Уорфа полностью раскрывается только при рассмотрении его дальнейших выводов и рассуждений.

Установив, что на языке хопи нельзя сказать *Они оставались там десять дней* и что система глагольных времен там иная, чем в «европейском стандарте», Уорф переходит к рассуждению о том, что этому языку вообще чужда категория объективного времени. В статье «Наука и лингвистика» он прямо заявляет, что это язык, не знающий категории времени. Подобные «выводы» отнюдь не имеют своей целью характеристику только структуры языка хопи. Автор ставит перед собой гораздо более «широкую» задачу.

Оказывается, что все поведение хопи, их обряды, их мировоззрение являются лишь отражением этого «лингвистического микрокосма». Их картина мира не знает якобы ни объективного времени, ни понятия пространства, субстанции и т. д. Именно это «доказывает» Уорф в своей статье «Модель мира американских индейцев». «Реальный мир» хопи оказывается здесь обусловленным их языковыми моделями и качественно иным, чем мир людей, говорящих на европейских языках. Сравнение различных языков — семитских, тибетского, китайского и других с английским должно, как утверждает Уорф в другой статье, показать относительность всякой концептуальной системы и ее зависимость от языка, ибо, по его словам, формулирование идей есть часть грамматики: мы рассекаем природу по линиям, проложенным нашим языком. Иными словами, по Уорфу, наши представления окружающей действительности, наше познание не являются отражением объективной реальности, они лишь произвольная картина, определяемая строем нашего языка. Язык формирует, организует материал опыта согласно своим языковым моделям.

Кантовские формы чистого разума оказались в этих лингвистических теориях замененными языковыми категориями типа сепировских моделей. Однако, если Кант — философ XVIII в. — был убежден в общности законов познания для людей всех рас и народов, а следовательно, и в общности категорий чистого разума, то неокантианцы XX в. пытаются утверждать несходство основных познавательных закономерностей у различных народов, отличия мышления, а следовательно, и разные картины «реального мира», поскольку «мысли определяются лингвистически» и даже понятия материи, времени, пространства зависят от природы отдельных языков, при помощи которых и были выработаны эти понятия [34].

В полном соответствии с этим Уорф заявляет, что и поведение людей, говорящих на европейских языках, их мировоззрение, культура, наука, чуть ли не вся европейская цивилизация соотнесена с языковыми моделями (??). Утверждается, что с характерной якобы для европейских языков «объективацией времени», о которой писалось выше, связано и развитие математики, и создание календаря, и развитие археологии, и такие литературные направления, как классицизм и романтизм, и т. д. и т. д. Ньютоновские понятия пространства, времени, материи оказываются тоже порожденными «культурой» и языком. Рассуждая о взаимодействии «культуры» и языка, Уорф, в конце концов, приходит к выводу, что

[34] B. L. Whorf, The relation of thought and behavior to language, стр. 92 и сл.

язык является тем фактором, который сдерживает и направляет развитие; языковые модели влияют на «поведенческие» модели, на «типы культур»[35]. Развитие физики и химии в последние десятилетия, в свою очередь, лишь производное (?) от лингвистических моделей европейских языков, ибо все эти науки созданы людьми, говорящими на европейских языках. «То, что современные тюркские или китайские ученые, — заявляет Уорф в другой статье, — описывают мир так же, как западные люди, значит лишь, что они восприняли целиком западный метод рационализации, а не то, что они выработали эту систему сами, благодаря свойственной им от рождения (природной) точке зрения».

Здесь полностью, в неприкрытой форме, выступают политические корни всех ухищрений Уорфа. Утверждения, подобные тому, что «грамматика сама является творцом идей», «программой и проводником индивидуальной умственной активности», оказались лишь орудием расовой пропаганды о преимуществах народов, говорящих на языках «европейского стандарта»; именно эти народы объявляются, вопреки всем фактам истории, единственными создателями современной культуры и науки, тогда как другие народы лишь пассивно усвоили эти достижения.

Так «ученый», «специалист по языкам американских индейцев», ученик и последователь Сепира Б. Уорф путем подтасовки языковых фактов, путем схоластических ухищрений с «языковыми моделями» ведет открытую расовую пропаганду. Поэтому-то столь охотно в империалистической Америке перепечатываются статьи Уорфа. Именно поэтому одну из его статей включил в свою книгу реакционный публицист Хайакава. В самом деле, утверждения Уорфа полностью совпадают с высказываниями этого представителя «общей семантики», утверждавшего, что люди, говорящие на языках иной структуры, чем английский, например на японском, китайском, тюркском языках, не имеют тех же мыслей, что и говорящие по-английски. Разве не одинаково служат Уорф и Хайакава целям расовой дискриминации? Разве не одинаково стремятся они скрыть классовые противоречия империалистического общества в пределах одной нации, говорящей на одном общем языке, за мнимыми «непроходимыми противоположностями» между народами, говорящими на разных языках, но стремящимися в действительности к одной общей цели?

Нужны ли еще другие факты для разоблачения того пути, по которому идет так называемая «официальная наука» сегодняшней Америки? Ведь Уорф отнюдь не одинок. Он пользуется известностью, на него ссылаются, его приводят Блок и Трэджер в списке «необходимой литературы», его «учение» с энтузиазмом «развивает» П. Гэрвин. Но последний в своей статье[36] сравнивает «европейский языковой стандарт» уже не с языком американских индейцев, а со славянскими языками (!!!). И в новом специальном лингвистическом издании «Studia linguistica» печатается статья Гэрвина, тоже «ученого», «специалиста-языковеда», полная антиисторических нелепых измышлений — статья, где славянские языки, принадлежащие к той же семье языков, что и романские, и германские языки, не только изолируются от последних, противопоставляются «западноевропейскому стандарту», но и весьма недвусмысленно сближаются с языком американских индейцев, все тех же хопи. Очевидно, что нет никакой нужды доказывать абсурдность, антинаучность и антиисторичность подобных измышлений. И не странно ли, что серьезный

---

[35] B. L. Whorf, The relation of thought and behavior to language, стр. 88.

[36] См. P.-L. Garvin, Standard average European and Czech, «Studia linguistica», Lund, Gleerup; Copenhague, Munksgaard. 1949, № 2, стр. 65—85; характерно, что, как указывает автор, эта статья была подготовлена под руководством Р. Бенедикт.

лингвистический журнал, каковым, повидимому, предполагает быть «Studia linguistica», печатает подобные статьи?

В этой связи можно с большим удовлетворением сослаться на резкую критику указанной работы П. Гэрвина, содержащуюся в рецензии прогрессивного французского ученого А. Соважо[37]. Разоблачая невежество всех рассуждений Гэрвина, Соважо дает и политическую оценку подобным антинаучным измышлениям.

*

Так одно из направлений современного американского языкознания, представители которого рассматривают язык в «комплексе культуры», а «языковые модели» — в непосредственной связи с «моделями поведения» и «культурными моделями»,— направление, названное нами «энтографической лингвистикой», более явно и откровенно, чем любое другое направление в американской лингвистике, выступает с пропагандой реакционных концепций современного империализма. Идеи расистской этнопсихологии сочетаются здесь с философией языка современного идеализма. Характерно, что именно по этой линии намечается и тесное единство реакционной лингвистики с той «общей семантикой», которая является типичным продуктом лженауки современного буржуазного мира.

---

[37] A. Sauvageot, [рец. на кн.] P.-L. Garvin «Standard average European and Czech» — «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», Paris, 1950, fasc. 2. стр. 16—20.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1954

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Труды Института языкознания [АН СССР], т. I [Сб. статей.] Редколлегия: В. В. Виноградов (отв. ред.), В. И. Борковский, Н. А. Баскаков, Б. В. Горнунг, В. С. Соколова, С. И. Ожегов (отв. секр.). М., Изд-во АН СССР, 1952. 232 стр.

Институт языкознания АН СССР за короткий срок своего существования сумел издать ряд работ, знаменующих крутой поворот в советском языкознании от бредового «гадания на кофейной гуще», свойственного последователям «нового учения» о языке, в сторону подлинных языковедческих исследований. Об этом повороте свидетельствует и первый том «Трудов» Института.

Как положительную сторону рецензируемого сборника прежде всего нужно отметить, что в нем представлены исследования по всем основным группам языков многонационального Советского Союза (тюркской, финно-угорской, кавказской, иранской); отдельным группам посвящено даже по нескольку работ. Другим достоинством этого сборника является то, что подавляющее большинство содержащихся в нем работ написаны без излишнего теоретизирования, тесно связаны с исследованием данных языка, чем они выгодно отличаются не только от трудов, изданных во время господства «нового учения» о языке, но даже от некоторых работ, помещенных в теоретических сборниках, выпущенных Институтом языкознания за последние годы. Работы, собранные в первом томе «Трудов», в основном, представляют собой исследования частных вопросов по отдельным языкам и насыщены конкретным языковым материалом.

Не будучи специалистом по большинству языков, представленных в данном томе «Трудов», автор настоящей рецензии ограничивается лишь некоторыми замечаниями, касающимися общей постановки вопросов, затронутых в отдельных работах.

В вводной статье Б. А. Серебренникова «Новые задачи в области изучения языков народов СССР» (стр. 3—6) сжато, но достаточно четко и полно охарактеризован современный этап развития советского языкознания, его недостатки, а также ближайшие и дальнейшие задачи. Поэтому статья Б. А. Серебренникова является хорошим предисловием к последующим работам. Едва ли только достаточно скромно звучит следующая формулировка: «Огромную работу по изучению русского языка и языков народов СССР проводит Институт языкознания Академии наук СССР, за короткий период своего существования успевший превратиться в руководящий центр советского языкознания» (стр. 4). Хотя справедливости этих слов, вероятно, никто не станет оспаривать, все же лучше было бы, если бы они были написаны посторонним автором, а не заместителем директора Института языкознания, и не в издании Института.

Статья Н. А. Баскакова «Классификация тюркских языков в связи с исторической периодизацией их развития и формирования» (стр. 7—57) представляет собой интересную попытку классификации названных языков по новым принципам. Автору данной рецензии, не являющемуся специалистом по тюркским языкам, трудно судить о том, насколько языковые материалы, приведенные Н. А. Баскаковым для подтверждения предложенной им классификации, являются полными. Можно только отметить, что характеристика отдельных языковых групп и подгрупп строится Н. А. Баскаковым на основании разного охвата материала, при опоре на различное количество сторон языковой системы. Так, при характеристике языков булгарской группы привлекаются данные фонетики, отчасти лексики, но не приводится ни одного факта из морфологии и синтаксиса, ничего не говорится о синтаксисе огузской группы; в отношении кыпчакской группы автор ограничивается характеристикой только фонетических особенностей и т. д.

Разумеется, что ограниченность объема статьи не давала автору возможности ввести в изложение больший языковой материал. Но, с другой стороны, нам кажется, что статья такого типа могла бы быть вполне убедительной только в том случае, если бы история отдельных языков, входящих в данные группы, была хорошо изучена, как изучена, например, история некоторых групп индоевропейских языков (германских, романских и т. д.). Тогда, при наличии проверенных наукой фактов, на основе нового метода, предлагаемого Н. А. Баскаковым, может быть, и можно было бы пересмотреть

вопросы классификации отдельных групп и подгрупп этих языков. Но история отдельных тюркских языков, да и народов, еще мало изучена, нет хорошей сравнительно-исторической фонетики и грамматики тюркских языков. Поэтому автору и неоткуда черпать материалы для своей итоговой статьи, являющейся вследствие этого во многих частях, повидимому, дискуссионной, несмотря на то, что автор справедливо подвергает критике существующие схемы буржуазных лингвистов, которые, по его словам, строили классификацию языков только на исследовании отдельных лингвистических фактов без анализа истории и развития языка и истории народа — носителя данного языка (см. стр. 18, 19). В работе Н. А. Баскакова следует также отметить увлечение цитатами, что в момент появления «Трудов» являлось, к сожалению, общепринятым.

В статье Н. А. Баскакова имеются отдельные неточности и спорные моменты. Так, на стр. 9 автор утверждает, что «сведения о языках племен и племенных союзов, равно как и сами памятники этих языков, представлены в науке довольно полно». Поскольку автор здесь говорит о языках вообще, это утверждение является неверным, так как, например, от племенных языков финно-угорской группы осталось очень мало памятников, да и по отношению к тюркским языкам, вероятно, дело обстоит не так уж хорошо.

На стр. 10 Н. А. Баскаков пишет, что «именно эти особые черты своего словарного состава и грамматического строя в местных („территориальных") диалектах... позволяли данным диалектам лечь в основу народных или национальных языков...» Подобная формулировка едва ли основательна: никакие «особые» черты словарного состава и грамматического строя не могут быть причиной возвышения одного диалекта над другими, потому что все диалекты имеют свои особые черты словарного состава и грамматического строя.

Вызывает возражение и такая формулировка: «Общность этих языков выражается также и во многих фонетических чертах, которые, как известно, являются наиболее подверженными изменению» (стр. 15; разрядка моя.— *К. М.*). До сих пор в науке является общепринятым, что наиболее проницаемая часть языка — это лексика, а фонетика, особенно основа фонетической системы языка,— очень устойчива, почти так же устойчива, как и морфологическая система. Такие характерные фонетические явления отдельных языков, как сингармонизм, упрощение групп согласных в начале слова и т. п., сохраняются тысячелетиями.

Противоречива формулировка о том, что каждый современный тюркский народ формировался относительно поздно, но исторически связан с более ранними восточными союзами племен. Вероятно, только часть тюркских народов была связана с восточными союзами племен, а другая — с западными, так как разделение тюркских племен на западные и восточные произошло, по словам автора, еще в начале нашей эры (стр. 21).

В сборнике опубликованы две статьи В. И. Лыткина, каждая из которых насыщена обильным языковым материалом, представляющим значительную ценность не только для дальнейших исследований в области пермских языков, но и для составления в будущем сравнительно-исторической фонетики финно-угорских языков, в которой остро нуждаются отечественные и зарубежные финно-угроведы.

Первая работа В. И. Лыткина «К вопросу о вокализме пермских языков» (стр. 49—106), если судить по заглавию, посвящена только вопросу о вокализме пермских языков, а на стр. 58 автор заявляет, что его работа «...посвящена одному частному вопросу исторической фонетики угро-финских языков, а именно вопросу системы гласных этих языков». На самом же деле автор вообще не исследует вопроса о системе гласных финно-угорских языков, он дает лишь критический обзор взглядов различных ученых по данному вопросу. При этом автором допускаются некоторые неточности. Так, трактуя вопрос о гармонии гласных в финно-угорских языках (стр. 60), автор совершенно упускает из вида некоторые финно-угорские языки, которые с точки зрения гармонии гласных тоже представляют интерес, хотя бы в историческом плане. Это прежде всего живые языки прибалтийско-финской группы: эстонский, карельский, вепский, ливский. С другой стороны, «гармонию гласных» мордовского языка (речь идет об эрзя-мордовском диалекте) не следует ставить в один ряд с гармонией гласных в финском или венгерском языке, так как в мордовском мы имеем скорее сложное взаимодействие гласных и согласных, причем даже в этом плане чередованием задне- и переднерядных гласных охвачено лишь два звука: *о* и *э*.

На стр. 59 В. И. Лыткин неправильно переводит название работы венгерского языковеда З. Гомбоца: следовало бы писать не «К истории венгерского звука *а*», а «К истории венгерских *а*-звуков». Их в венгерском языке имеется два: лабиализованный и нелабиализованный.

В статье «Об ударении в коми-пермяцком языке» (стр. 106—119) В. И. Лыткин утверждает, что в угро-финских языках, кроме коми-пермяцкого, «...лексическое ударение не несет морфологической функции (если не считать единичных случаев)» (стр. 107). Однако в мокша-мордовском диалекте (в известных фонетических условиях) ударением отличается инфинитив на *-ма* от имени действия на *-ма*, причем это проти-

вопоставление инфинитива и имени действия при помощи ударения является вовсе не «единичным случаем», а регулярным фонетическим явлением. Можно было бы оспаривать также правомерность термина, применяемого В. И. Лытькиным,— «коми пермяцкий язык» (см. заглавие статьи). Если учитывать реальные языковые отношения существующие в пределах языка коми, то более правильным было бы придерживаться старого термина «коми пермяцкий диалект», поскольку, как известно, коми-ыряне и коми-пермяки свободно понимают друг друга.

В статье Д. Т. Таджиева «Слово *об* „вода" в современном таджикском языке (Из материалов по таджикской лексикологии)» (стр. 120—153) на примере образования от этого слова (слова *об*) таджикского языка показано, насколько широко слова основного словарного фонда могут быть использованы для образования новых слов и фразеологических единиц. Недостатком этой статьи является то, что автор почти не говорит о путях развития значений слова, даже не ставит вопроса об омонимах или подходит к этому вопросу неправильно. Так, на стр. 121 возражая (в примечаниях) П. Хорну, который два значения слова *об* — «вода» и «блеск» объясняет совпадением в одном звуковом комплексе двух разных по происхождению слов, Д. Т. Таджиев утверждает, что слово *об* со значениями «вода» и «блеск» воспринимается как одно слово. Не объясняется также и другое далекое значение звукового комплекса *об* — «каемка вышивки» (стр. 123), значение «буквы» в сочетании *оби тилло* «золотые буквы» (стр. 123) и т. д.

На стр. 122 Д. Т. Таджиев пишет, что слово *об* проникало во все типы словосочетаний. Непонятно, какие типы словосочетании имеются тут в виду — синтаксические или фразеологические. Из материала статьи становится очевидным, что речь идет, как и можно было ожидать, только о фразеологических единицах, которые автор называет, следуя терминологии акад. И. И. Мещанинова, «лексическими словосочетаниями» (стр. 122). Грамматическая сторона образовании с *об* в статье, как правило, остается неисследованной. На стр. 135, например, совершенно не указывается на то, что *об* в сложных словах выступает и как первый и как второй компонент сложного слова, что само по себе является результатом различных грамматических связей компонентов по отношению друг к другу (см. примеры *нилоб, зокоб, обхона обдаста* и т. д.).

Следует признать неправильным и то, что автор не проводит границы между сочетанием слов, фразеологической единицей, неточно называемой автором словосочетанием, и сложным словом как таковым, автор здесь следует лишь критериям лексического характера (стр. 141).

По мнению автора, в одних сочетаниях (сложных словах) значение каждого компонента «в отдельности не осознается, но вместе они составляют одно понятие» и только этим и отличаются от других сочетаний, «в которых значение каждого из компонентов (особенно второго компонента) осознается, но значение композита или словосочетания шире обоих компонентов». При этом автор ссылается на высказывание Л. В. Щербы, согласно которому «словосложение не выходит в формальном выражении, и любая синтаксическая группа может оказаться сложным словом, которое должно отличаться от группы лишь тем, что оно значит больше, чем сумма значений образующих его слов» (стр. 141). Однако из такого рассуждения вытекает, что нет никакой разницы между таким словом как *железобетон*, и такой фразеологической единицей как *железная дорога*. Ведь и в том и в другом соединении выражено одно понятие, и в том и в другом отдельные компоненты осознаются, и в том и в другом значение соединения не есть простая сумма значений отдельных составных частей.

По нашему же мнению, такой взгляд является неправильным, и здесь мы присоединяемся к мнению проф. А. И. Смирницкого, который считает, что отличительным признаком сложного слова является его цельнооформленность. «Отличаясь от части слова более свободной выделимостью, слово характеризуется, с другой стороны, определенной внутренней цельностью, отличающей его от словосочетания». И далее: «в отличие именно от словосочетания слово может быть охарактеризовано как обладающее цельнооформленностью», а также: «В отличие от слов как цельнооформленных образований слово-сочетания могут быть определены как образования раздельнооформленные»[1]. На важность различения фразеологических групп от слов по линии как их структуры, так и семантических основ указывает В. В. Виноградов: «Необходимо пристальнее вглядеться в структуру фразеологических групп, более четко разграничить их основные типы и определить их семантические основы, их отношение к слову»[2].

Эти слова имеют непосредственное отношение и к другим положениям статьи Д. Т. Таджиева, так как в его статье нечетко выделяются не только структурные основы слов и фразеологических единиц, но также и семантические основы различных фразео

---

[1] А. И. Смирницкий, К вопросу о слове (Проблема «отдельности слова»), сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952, стр. 197.

[2] В. В. Виноградов. Русский язык, М.—Л., Учпедгиз, 1947, стр. 22.

логических единиц Автор не объясняет, например что он понимает под выражением «идиомы» и «крылатые выражения» Некоторые примеры приведенные в статье, показывают, что понимание автором этих терминов во всяком случае сильно отличается от общепринятого в языкознании понимания Так, образное выражение, употребляемое для характеристики скупости *Касбаб хам намедиład* (в буквальном переводе «Не даст никому даже воды»), едва ли можно назвать идиомой, о чем свидетельствует тот факт, что буквальный перевод этого выражения на русский язык очень хорошо понятен

Работа Е А Бокарева «Гинухский язык (предварительное сообщение)» (стр 193—204) даст, безусловно, очень ценные, хотя и предварительные, по словам автора, данные об этом неизученном языке и, вероятно, представляет большой интерес для развития кавказоведения Автор придерживается того мнения, что гинухский язык является самостоятельным языком « гинухский язык нельзя рассматривать как наречие какого-либо другого языка, а следует считать, наравне с цезским (дидойским), хваршинским, бежитинским языками, особым представителем цезской группы языков Дагестана» (стр 194) Но если это так, то почему на стр 195 автор утверждает, что объективно этот язык для цезов не должен казаться мало понятным По нашему мнению основным критерием самостоятельности какого либо языка среди родственных языков является то, что он непонятен представителям этих родственных языков

По поводу фонетических соответствий между гинухским и цезским языком (стр 195) автор, ограничиваясь лишь примерами, не делает никаких выводов, видимо, предоставляя это читателю, что, впрочем, последнему не всегда дается легко Можно сожалеть также и о том, что в статье нет описания физиологической и акустической стороны даже тех звуков, которые судя по буквенному обозначению, отсутствуют в русском языке

На стр 197 автор пишет, что «*в аварском языке активный падеж совпадает формально с творительным падежом, в цезском — с местным падежом* » По нашему мнению, об отдельном падеже можно говорить лишь в том случае, если для него имеется отдельное формальное выражение Если же в аварском языке активный падеж совпадает формально с творительным падежом а в цезском — с местным, то в аварском нет активного падежа, а только творительный, одной из функций которого является выражение субъекта при переходных глаголах, соответственно и в цезском имеется только *местный падеж*, который *может выражать также субъект при переходных глаголах* Впрочем автор ниже и сам рассуждает так, будто разделяет наши взгляды, заявляя, что «одной из функций дательного падежа является выражение подлежащего при глаголах восприятия » (стр 197)

Очень жаль, что в своем «предварительном сообщении» автор приводит лишь данные по морфологии, а описания фонетики не дает, ограничиваясь лишь некоторыми фонетическими соответствиями гинухского языка сравнительно с цезским языком Вероятно, целесообразнее начинать описание любого языка, даже и предварительное, с описания фонетического строя, или уж, во всяком случае, следовало бы в заглавии статьи оговорить что дается сообщение только о морфологической структуре языка

Записанная Е А Бокаревым сказка на гинухском языке удачно дополняет и иллюстрирует сведения которые даны в этой небольшой, но интересной статье

Статья Ю Д Дешериева «Система грамматических классов в бацбийском языке» (стр 205—217) посвящена одному из интереснейших явлений в иберийско кавказских языках Автор детально исследует условия применения классных показателей как по семантике ведущего слова, так и по синтаксическому признаку В конце статьи в выводах относительно развития системы грамматических классов автор подчеркивает тенденцию к разрушению этих классов Однако некоторые предположения еще ждут дальнейших доказательств, как например предположение о том, что классные показатели когда-то представляли собой значимые слова имена

В статье имеются некоторые неясные места Так, автор утверждает в одном месте, что классные показатели принимаются глаголами, прилагательными, наречиями числительными, « которые вступают с именем в синтаксическую связь» (стр 206) т е разбирает классы слов по частям речи Однако ниже на той же странице автор приурочивает классные показатели к определенной синтаксической функции и говорит о классном определении, причем неизвестно, может ли это определение являться числительным, местоимением или только прилагательным, как это иллюстрирует данный им пример

На стр 209 автор не оговаривает, почему среди слов третьего класса вдруг оказывается слово *tIephIu*, которое по своему значению («кучер») должно было бы принадлежать к первому классу (к классу мужчин)

Из статьи Б Х Балкарова «Некоторые особенности бесленеевского диалекта кабардинского языка» (стр 218—230) читатель может получить весьма точные и интересные сведения о некоторых фонетических, морфологических и лексических особенностях бесленеевского диалекта, отличающих его от основного диалекта кабардинского языка, легшего в основу литературного кабардинского языка Особенно интересно в статье (насколько может судить не специалист по кавказским языкам) сравнение

системы согласных и гласных звуков, хотя автор лучше сделал бы, если бы делил звуки по участию активных, а не пассивных артикуляционных органов (см. на стр. 219 выражения «мягконебные», «переднемягконебные» и т. д., которые не дают представления о характере артикуляции отдельных соответствующих звуков).

Имеются в статье неточные формулировки, как, например, следующая: «Наиболее ярко черты бесленеевского диалекта обнаруживаются в системе согласных» (стр. 218). Здесь следовало бы добавить: «в отличие от кабардинского языка». Без этого добавления можно подумать, что основные черты какого-либо диалекта могут выражаться в одной какой-либо стороне его строя, в данном случае — в системе согласных.

Совершенно непонятен предпоследний абзац стр. 225, где автор пишет: «Формы органической принадлежности в бесленеевском диалекте ближе к формам имущественной принадлежности. Э т и ф о р м ы (разрядка моя.— *К. М.*) не совпадают с адыгейскими...» и т д К чему относятся здесь слова «эти формы?» К формам «органической принадлежности» или к формам «имущественной принадлежности»? Неясно также, что обозначает слово «ближе», потому что неизвестно, с чем, с каким языком или диалектом делается сравнение. Неясно также, в каком языке или диалекте их «вытесняют формы имущественной принадлежности» — в адыгейском или бесленеевском. Не объяснены мотивы, по которым автор утверждает, что префиксы органической принадлежности «...более древние, чем префиксы имущественной принадлежности» (стр. 225).

Непонятно, как понимает автор термин «заимствование». Без специальных объяснений несколько странно звучит указание, что в бесленеевском диалекте имеется много заимствований из адыгейского языка (стр. 227), т. е. именно из того языка, к которому, собственно, и принадлежит бесленеевский диалект (если не считать более близкого — кабардинского). Идет ли здесь речь о словах, которые вначале были заимствованы адыгейским языком и потом попали из него в бесленеевский диалект? Или о словах, которые когда-то были общими для адыгейского и бесленеевского, но исчезли из последнего и были снова прибретены из адыгейского в характерном для него оформлении.

Как было сказано выше, наши замечания относятся к частным вопросам отдельных статей, помещенных в сборнике. В общем же сборник составлен удачно, так как в нем можно найти весьма ценные материалы по многим вопросам, касающимся различных языков. Желательно, чтобы Институт языкознания еще не один том своих «Трудов» посвятил исследованиям по языкам национальностей Советского Союза.

К. Е. Майтинская

Труды Института языкознания [АН СССР], т. II. [Сб. статей.] Редколлегия: В. В. Виноградов (отв. ред.), В. И. Борковский, Н. А. Баскаков, Б. В. Горнунг, В. С. Соколова, С. И. Ожегов (отв. секр.). М., Изд-во АН СССР, 1953. 275 стр.

Второй том «Трудов Института языкознания» целиком посвящен различным вопросам русского языкознания. Он открывается большой статьей И. А. П о п о в о й «Неполные предложения в современном русском языке» (стр. 1—136). На богатом материале, почерпнутом из произведений русской художественной литературы разных жанров и из сочинений научного, научно-популярного и публицистического характера, здесь раскрывается структурное многообразие тех синтаксических конструкций, которые по установившейся традиции называются «неполными предложениями». Общая установка, из которой исходит автор в своей работе, формулируется следующим образом: «...только исходя из рассмотрения с о ц и а л ь н ы х ф у н к ц и й я з ы к а — е г о к о м м у н и к а т и в н ы х ф у н к ц и й к а к о р у д и я о б щ е н и я и в ы р а ж е н и я м ы с л и, только исходя из учета з а д а ч и у с л о в и й речевого общения, можно решать вопрос о той или иной с т е п е н и п о л н о т ы предложения, достаточности его формально-грамматического состава» (стр. 3—4). Поэтому для автора самый «вопрос о смысловой и формальной полноте отдельного высказывания связан с общей теорией предложения, с проблемой выражения мысли словом» (стр. 4).

Исходя из положения марксистского языкознания, что оголенных мыслей, свободных от языкового материала, не существует и что реальность мысли проявляется в языке, И. А. Попова закономерно приходит к своему основному тезису о том, что предложение, понимаемое как форма бытия, проявления мысли, всегда «полностью выражает эту мысль средствами языка, поскольку все, не нашедшее выражения в „языковом материале", не является мыслью» (стр. 23). Этому положению соответствует и заключительный вывод всей статьи: «...при учете всех средств выражения... почти каждое предложение окажется выражающим относительно законченное высказывание и тем выполняющим свои коммуникативные функции, т. е. п о л н ы м предложением»

(стр. 135). С таким общим выводом нельзя не согласиться, потому что с коммуникативной точки зрения, действительно, любое предложение является полным, т. е. соответствующим своему назначению в условиях живого речевого общения в связи с конкретной ситуацией речи или в рамках контекста. Однако этот общий вывод еще не раскрывает специфики тех структурных типов предложений, которые мы по традиции называем неполными: отсюда с необходимостью встает задача изучения всех мнимо неполных предложений как предложений особой и при этом разнообразной синтаксической структуры. Статья Н. А. Поповой и является попыткой решения этого вопроса на материале современного русского языка.

Анализу структуры так называемых «неполных» предложений предшествует в изложении автора краткий обзор русских грамматических учений о неполных предложениях (стр. 4—10) Вследствие неразработанности проблемы неполных предложений обзор этот поневоле оказывается очень кратким. После замечаний о неправомерности сведения «неполноты» предложений к формальному эллипсису в грамматиках Греча и Перевлесского здесь дается убедительная критика трактовки неполных предложений у Пешковского и Шахматова. Автор справедливо упрекает А. М. Пешковского в том, что он, правильно указав различные факторы, создающие неполноту предложения, в то же время построил узко формальную классификацию неполных предложений «по признаку синтаксического положения пропущенного члена»(стр. 8). К сожалению, Н. А. Попова не оценивает критически указанных Пешковским факторов неполноты предложений, хотя эти факторы неоднократно используются ею при конкретном анализе материала. Подчеркивая то новое, что было внесено в учение о неполных предложениях акад. А. А. Шахматовым, Н. А. Попова правильно отмечает и основной недостаток трактовки неполных предложений у Шахматова — «его стремление непременно соотнести все неполные предложения с соответствующими полными» (стр. 9).

Как же сам автор статьи ставит и решает проблему анализа структуры «неполных» предложений? Смысловая неполнота, если ее рассматривать как «неполноту словесной передачи фактического содержания сообщения» (стр. 18), по справедливому указанию автора, свойственна огромному большинству формально полных предложений повествовательной, научно-деловой, поэтической и разговорно-бытовой речи и вовсе «не является ни обязательной, ни исключительной чертой формально неполных предложений» (стр. 17). С другой стороны, если «чисто словесная неполнота является структурной чертой данного вида предложения, то нельзя считать его неполным, поскольку никакие дополнения невозможны без изменения структуры предложения» (стр. 20). И если в каждом предложении действительно так или иначе, теми или другими синтаксическими средствами формируется мысль, то, «по существу, нет „неполных" предложений» (стр. 23). Собственно неполными оказываются только «языковые образования, еще не ставшие полностью предложениями» (стр. 33), т. е. еще не сформировавшиеся как предложения. Эти языковые образования Н. А. Попова называет «неразвернутыми предложениями» (термин этот неудачен, так как называет предложениями отрезки речи, которые предложениями не являются). В их составе, по мнению автора, различаются две разновидности, на самом деле оказывающиеся совсем различными типами языковых образований. Это, с одной стороны, реплики разговорной речи, не оформившиеся как предложения, например реплика Маланьи из комедии Островского «Не все коту масленица». «Да нешто их тут, всех...». С другой стороны, это такие реплики, как: «Привычка, Ленский» (Пушкин, Евгений Онегин) или: «Жизнь, братец» (реплика Несчастливцева в «Лесе» Островского), которые сам автор интерпретирует как односоставные именные предложения причины; к ним неприменимо не только наименование неполных, но и термин «неразвернутые предложения», так как нет никакой необходимости их развертывать. Таким образом, оказывается, что собственно неполных или «неразвернутых» предложений как синтаксической категории не существует, и выделение такого типа образований оказывается неоправданным.

Выделяемая автором большая группа «относительно неполных» или «неполносоставных» предложений (стр. 37—55) тоже неоднородна по своему составу. В нее входят, с одной стороны, ситуативные предложения, неполнота состава которых обусловливается преимущественно общей обстановкой речи и ситуацией в целом (они соответствуют второму из факторов неполноты предложений, указанных Пешковским[1]), с другой стороны, в эту же группу автором включаются и контекстуальные относительно неполные предложения, соответствующие, по Пешковскому, первому фактору неполноты предложений — заимствованию слов из окружающей речи. И ситуативные, и контекстуальные предложения разграничиваются в статье на подгруппы по одному и тому же формальному признаку — синтаксической природе отсутствующего члена. Однако нетрудно убедиться в том, что для ситуативных предложений отсутствие того или другого члена предложения, ясного из ситуации и обстановки речи, является

[1] См. А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 6-е изд., М., Учпедгиз, 1938, стр. 361.

в сущности, мнимым Так, в ситуативных предложениях с неназванным подлежащим подлежащее отсутствует так же закономерно, как оно отсутствует вообще в односоставных определенно-личных предложениях, не требуя никакого возмещения Ср «Нетина (у окна) Как *покатили*» (о Смельской и Ветшкатове) (Островский, Таланты и поклонники) и « Лопахин *Поеду* с вами в одном поезде В Харькове *проживу* всю зиму» (Чехов. Вишневый сад)

В ситуативных предложениях с неназванным дополнением в действительности не возникает никакой синтаксической связи управления, и переходные глаголы употребляются без значения переходности, например «Неужто *сбросил* где-нибудь?— спросила Маия» (Фадеев, Молодая гвардия) Ситуативные предложения с неназванным сказуемым, например *«Откудова теперь?»* (Грибоедов, Горе от ума), являются типическими бессказуемыми предложениями, оформленными при помощи местоименных наречий отсутствие глагола движения в форме настоящего времени здесь тоже получает местоименное значение в широком смысле термина «местоименность» [2]

В этой части своей работы И А Попова останавливается и на общей проблеме взаимоотношении между предложениями в контексте, и на теории сложных синтаксических единств Она справедливо возражает против моего неудачного положения, будто бы «действительной синтаксической единицей связной речи является не предложение, простое или сложное, а сложное синтаксическое целое, сохраняющее синтаксическую самостоятельность и законченность и при извлечении из контекста связной речи»[3] И А Попова правильно указывает на то, что и в контексте «именно предложение представляет собой наиболее грамматически законченную, и в смысловом, и в структурном отношении заключенную в наиболее четкие, объективно определяемые границы синтаксическую единицу — единицу сообщения» (стр 41) Однако это положение вовсе не исключает того, что в контексте образуются объединенные различными синтаксическими средствами группы предложении, которые организуются в синтаксические единства, более сложные по своему составу, чем предложения Границы между этими синтаксическими группами в связной речи, действительно, не всегда достаточно четки средства их синтаксического сцепления — очень различны Однако и материалы И А Поповой с большой убедительностью демонстрируют наличие как в повествовательной, так и в диалогической речи этих более сложных, чем отдельные предложения, синтаксических единств Контекстуальные «неполные» предложения с неназванными подлежащими, дополнениями, сказуемыми уже своей структурой указывают на их синтаксическую связь с предшествующими предложениями — присоединительную или пояснительную Однако при этом присоединенные относительно неполные предложения вовсе не однородны с предшествующими Ведь самый факт их присоединения свидетельствует о невозможности соединить их с предшествующими предложениями сочинительными союзами или соединительными паузами Так, в примере «Командиры рот ничего не отвечают Стоят и смотрят в окно» (В Некрасов, В окопах Сталинграда) предложения не могут, без изменения структуры целого, быть объединены сочинительным союзом или соединительной паузой Точно так же при наличии пояснительной связи между двумя предложениями — полным и относительно неполным — нельзя еще говорить о синтаксической зависимости, как это делает автор (стр 45), анализируя пример «Вронский удовлетворял всем желаниям матери *Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военной придворной карьеры и обворожительный человек»* (Л Толстой, Анна Каренина) Ведь в данном случае только при образовании единого бессоюзного сложного предложения возможно установление причинно-следственной связи между предложениями

По своему материалу и по его анализу большой интерес представляет в статье И А. Поповой раздел об «эллиптических» предложениях (стр 55—63), как называет автор предложения с отсутствующим глаголом сказуемым типа *«Татьяна в лес, медведь за нею»* В таких предложениях автор следуя традиции (хотя и с оговоркой), усматривает эллипсис, обусловленный уже не контекстом, а задачами высказывания По мнению И А Поповой, в таких «эллиптических предложениях функцию сказуемого выполняют члены его группы — имена и наречия», так что «наречие или существительное является полноценным заместителем сказуемого» (стр 56) С этим расширением состава сказуемого за счет зависимых от него второстепенных членов, конечно нельзя согласиться, так как это необходимо привело бы к смешению понятия грамматического сказуемого с понятием логического и или психологического предиката В дальнейшем «эллиптические предложения» рассматриваются автором в порядке убывающей эллиптичности и классифицируются по характеру неназванного глагола движения или речи Однако мнение о наличии здесь эллипсиса оказывается в подобных случаях не-

[2] См А И Смирницкий, Об особенностях обозначения направления движения в отдельных языках, «Иностр языки в школе», М , 1953, № 2, стр 3—12

[3] Н С Поспелов, Сложное синтаксическое целое и основные особенности его структуры, «Доклады и сообщения Ин-та русского языка [АН СССР]», вып 2 М.— Л., 1948, стр 68

оправданным, потому что мы можем «восстановить» отсутствующий глагол только существенным изменением всей структуры предложения Но примечательно, что во всех подобных предложениях при фактическом отсутствии глагола-сказуемого предложение всегда сохраняет определенное временное значение действия — конкретного настоящего, настоящего повествовательного (praesens historicum), прошедшего времени с аористическим значением отдельного факта прошлого, ближайшего будущего и т п Временное значение подобных предложений по своей конкретности резко отличается от временного значения связки. Конечно, предложения типа *«Червяк — на яблоню* и работать пустился» (Крылов, Мальчик и Червяк), *«Он — в сад* и там смятенный бродит» (Пушкин, Полтава), «Не отпирай дверь, *я — через окно,*— шопотом сказал Григорий» (Шолохов Тихий Дон) и т п не являются ни контекстуальными, ни ситуативными, ни даже неполносоставными, потому что по своему составу они оказываются вполне достаточными для выражения всех необходимых синтаксических соотношений между их членами

Не менее интересен раздел статьи посвященный анализу «именных структур» среди мнимо неполных предложений Однако и тут мы встречаемся с некоторым недоразумением Как именные структуры автор рассматривает и предложения с отсутствующим глаголом бытия А между тем предложения с отсутствующим глаголом бытия в его различных значениях (например *Отец в городе, На горах снег, У каждого свой ум и толк, Направо — горы и река* и т п) ничем существенным не отличаются от предложений с отсутствующими глаголами, названных автором эллиптическими. Не могут быть отнесены к именным структурам в строгом смысле этого слова и предложения с отсутствующими при формах сравнительной степени вспомогательными или связочными глаголами *стать, сделаться*, например «Кажется, *дождик полегче* (Толстой, Война и мир) или *«Спор громче, громче »* (Пушкин, Евгений Онегин). Нельзя согласиться с И А Поповой, что в подобных примерах «категория времени выступает ослабленно» (стр 75) значение времени выявляется здесь не менее отчетливо, чем и в случаях отсутствия глагола бытия Предложения этой последней разновидности следовало бы рассматривать особо как предложения с неполными формами сказуемого, наряду с предложениями, в которых при наличии связочного глагола отсутствует инфинитив

Предложения, названные И А Поповой эллиптическими, и так называемые именные структуры представляют, в сущности, один тип, который можно противопоставить ситуативным и контекстуальным предложениям как такие, состав которых определяется не контекстом или обстановкой речи, а самой структурой предложения, не требующей наличия в его составе глагольного сказуемого или других членов предложения.

В особую группу автор выделяет «именные повелительные и приветственные предложения», например *Огонь! К оружию! Тише! Покойной ночи! Доброе утро!* По мнению И А Поповой, в подобных предложениях «именная или наречная часть их, произносимая с соответствующей интонацией повеления, просьбы, приветствия и т п , достаточна для выражения воли или чувства говорящего, что и составляет функцию рассматриваемых предложений» (стр 79) К сожалению, автор не указывает, как выражается в подобных предложениях предикативность, как раскрывается в них их модальный и экспрессивный характер, не отмечено также, что подобные предложения часто представляют собой устойчивые фразеологические сочетания

В особую группу И А Попова выделяет также «именные оценочные предложения» типа *Позор! Красота! Молодец!* отграничивая их от «именных сказуемо-подлежащных предложений» [по классификации Шахматова («Синтаксис», § 50)] Автор обстоятельно описывает эти предложения по составу, по характеру выражаемой ими оценки, по их экспрессивным функциям Структурное своеобразие данного типа предложений И А Попова видит в том, что «они представляют собою только предикативную часть высказывания, предикат субъект которого всегда вне их» (стр 82) Здесь опять смешение грамматической предикативности с логическим понятием предиката не позволяет автору показать, как в подобных предложениях выражается предикативность синтаксически, т. е категориями модальности и времени, вскрыть не только оценочную но и своеобразную указательную функцию этого типа предложений

Именные приветственные, повелительные и оценочные предложения выделены по признаку свойственной им модальности, хотя по характеру употребления в речи они должны были бы рассматриваться как ситуативные

В анализе предложений, специфических для диалогической речи, И А Попова исходит из разграничения двух форм диалога 1) диалога, представляющего собою чередование реплик, не связанных между собою как вопрос и ответ, и 2) вопросо-ответной формы диалога Останавливаясь на репликах диалога, не объединяемых в вопросо-ответную конструкцию (название «реплики-монологи» представляется для них неудачным), И А Попова не обнаруживает в их составе каких-либо особенностей, отличающих их от тех типов «неполного» предложения, которые вообще характерны для разговорной речи и обусловливаются ситуацией и наличием контекста Эта форма диалога обследована в статье И А Поповой очень бегло Не указаны, на-

пример, типичные для разговорной речи предложения, состоящие из местоимений 1-го лица и союза *тоже*, заключающие в себе сообщение о присоединении говорящего к тому, что высказано в предшествующей реплике: «Я не согласен.— *Я тоже*».

Гораздо более обстоятельно освещается в рецензируемой статье вопросо-ответная форма диалога. Вопросительные предложения, характеризуемые автором как разновидность «эллиптических» предложений с отсутствующей глагольной формой сказуемого, разделяются на две группы, в зависимости от того, имеют ли они в своем составе вопросительные местоимения и наречия, или не имеют их. К сожалению, анализ этих двух разновидностей вопросительных предложений сводится к интерпретации их как предложений полных, без попытки раскрыть глубокие различия между ними по характеру вопроса, интонационным и структурным особенностям. С достаточным основанием выделены И. А. Поповой одночленные предложения — вопросы и ответы, выраженные отдельными членами предложения и представляющие собою законченные высказывания. Раскрыты и проиллюстрированы основные конструктивные особенности одночленных предложений-ответов. Что же касается выделения в особую группу «эквивалентов предложений», то оно, по нашему мнению, лишено основания, так как слова-предложения, выраженные междометиями и частицами, а также переспросы и повторения, представляя собою отдельные высказывания, несомненно, являются предложениями, и притом полными.

Неполнота формально-грамматического состава сложного предложения совершенно правильно рассматривается в статье И. А. Поповой как характерная черта структуры сложного предложения.

В целом статья И. А. Поповой, построенная на богатом материале, часто очень тонко проанализированном, намечающая новые пути изучения этого материала и резко расходящаяся с традицией в освещении проблемы «неполных» предложений, заслуживает серьезного внимания. Основное положение автора — решительное отрицание наличия в языке неполных предложений в собственном смысле этого слова — обосновано анализом всего материала. Однако эта статья еще не решает общего вопроса о синтаксической природе предложений, для которых «неполнота» состава и отсутствие глагольного сказуемого составляют специфическую особенность их структуры.

Классификация этого типа предложений, намечаемая И. А. Поповой, не имеет единого логического основания. Анализ приведенного в статье материала приводит к мысли, что основными группами «неполносоставных» предложений следует считать контекстуальные, ситуативные и структурно не зависящие ни от контекста, ни от ситуации (в классификации И. А. Поповой последней группе соответствуют эллиптические предложения и именные структуры).

Ценная по собранным в ней материалам и тщательности их обработки статья А. Д. Григорьевой «К истории местоимений *сей* и *оный* в русском литературном языке начала XIX в. (*Сей* и *оный* у Пушкина)» (стр. 137—198) касается одного частного вопроса истории русского литературного языка — вопроса, который был предметом оживленной полемики в 20—30-х годах XIX в. Автор ставит себе задачу дать «анализ употребления указательных местоимений *сей* — *этот* — *оный* в произведениях Пушкина и отчасти его литературного окружения» (стр. 137). В начале статьи А. Д. Григорьева характеризует отношение к употреблению местоимений *сей* и *оный* Карамзина, Шишкова, Сенковского, Шевырева, Белинского, Греча, Давыдова, Буслаева, Даля и других и приходит к выводу, что местоимения *сей* и *оный* признавались свойственными книжной речи: *сей* как синоним местоимения *этот*, а *оный* как заместитель местоимения *он* (по отношению к именам существительным неодушевленным) и как синоним местоимений *сей* (*этот*) и *тот* (стр. 153—154). Приведя известное высказывание Пушкина о местоимениях *сей* и *оный* («Современник», № 3, 1836), А. Д. Григорьева видит ошибку Пушкина в том, что он «ставил местоимения *сей*, *оный* как факт книжной речи в один ряд с причастиями, соединяя, таким образом, явления непродуктивные и продуктивные» (стр. 147). Однако широкая практика употребления местоимений *сей* и *оный* у Пушкина показывает, что он вовсе не смотрел на эти местоимения как на непродуктивные явления в русском языке.

В основной части своей статьи А. Д. Григорьева подвергает тщательному анализу употребление местоимений *сей*, *этот* и *оный* в произведениях Пушкина и в его письмах. В статье устанавливаются три характерных случая употребления местоимения *сей* у Пушкина: 1) в значении указания на ближайший предмет или явление (по сравнению с более отдаленным); 2) в значении указания на данный, наличный или только что названный предмет или явление; 3) при выделении в предмете или явлении той или иной его стороны (в составе приложения). Представленный материал убедительно показывает, что основным для Пушкина было употребление в книжной речи местоимения *сей* для указания на данный, наличный или только что названный предмет.

В употреблении местоимения *этот* А. Д. Григорьева устанавливает те же случаи, что и для местоимения *сей*. Таким образом, в пушкинском употреблении местоимения *сей* и *этот*, по мнению автора, «функционально тождественны», хотя в пределах каждой функции они имеют специфические особенности. Местоимение *сей* часто наблюдается

в устойчивых фразеологических сочетаниях; *этот* — при противопоставлении (*этот — тот*) и при непосредственном воспроизведении разговорной речи. Очень показательны наблюдения А. Д. Григорьевой, характеризующие употребление Пушкиным местоимений *сей* и *этот* в различных жанрах. Так, в стихотворной речи наблюдается явное преобладание местоимения *сей*. Автор даже говорит о безразличном употреблении у Пушкина того или иного местоимения. Однако приведенные в статье примеры не подтверждают этого (ср.: *Медор сей* и *это прозвище*; *череп сей* и *эту кость*). Да и сам автор приводит ряд примеров различной стилистической окраски этих местоимений у Пушкина. К сожалению, в статье не выделены случаи употребления местоимения *сей* в постпозиции. Показательно преимущественное употребление в авторской речи местоимения *сей* в «Полтаве» и преобладание местоимения *этот* в «Евгении Онегине», в драматических произведениях и в художественной прозе; только в произведениях исторического жанра явно господствует местоимение *этот*, как это было уже отмечено Г. Блоком.

Местоимение *оный*, по наблюдениям автора, выступает в произведениях исторического и публицистического жанра и в письмах «как яркая примета 1) канцелярски-делового и 2) более широко — книжно-публицистического стилей речи» (стр. 192).

В заключительной части своей статьи автор приходит к выводу, что местоимения *сей* и *оный* в противоположность их синониму *этот*, выступают как специфические факты книжной речи. В речи самого Пушкина они различаются по употребительности: «если местоимение *сей* представляет собой явление обычное во всех литературных жанрах.., то употребление местоимения *оный* ограничено произведениями научного, делового и публицистического жанров» (стр. 194). Сдержанное, стилистически мотивированное употребление *сей* и *оный* у Пушкина, как показывает автор, выступает особенно отчетливо на фоне более широкого, стилистически не ограничиваемого употребления этих книжных местоимений у современников Пушкина — Вяземского и Полевого. Такое сужение границ употребления местоимений *сей* и *оный* действительно «способствовало нейтрализации в книжной речи местоимения *этот*, уничтожению его специфически разговорной стилистической окраски» (стр. 198).

Две статьи второго тома «Трудов» касаются вопросов истории русского языка. В статье В. Н. Сидорова «Редуцированные гласные ъ и ь в древнерусском языке XI в.» (стр. 199—219) приводятся новые данные для доказательства существования в древнерусском языке XI в. редуцированных гласных ъ и ь. Присоединяясь к доводам Шахматова, автор особенно подчеркивает значение того факта, что в русских памятниках XI—XII вв. написания *-ѣмь* и *-ьмь* в творительном падеже единственного числа существительных мужского рода, *ть* в 3-м лице глаголов, написания *ѣр*, *ьр*, *ѣл* между согласными в соответствии с болгарскими написаниями *ръ*, *рь*, *лъ*, *ль*, обозначавшими слоговые плавные, не только являются орфографической нормой, но и отражают действительное произношение. Отдельный экскурс В. Н. Сидоров посвящает выяснению звукового содержания русских написаний типа **tъrt*. Автор с достаточным основанием постулирует наличие в древнерусском языке редуцированных гласных фонем ъ и ь в сочетаниях типа **tъrt*, высказывая предположение, что устранение закрытого слога в сочетаниях данного типа «происходило... путем изменения неслоговых плавных в слоговые (**tъrt* > **tъ$_{\text{̥}}$rt*)» с переходом данных односложных сочетаний в двусложные (например: **zъr'/no* > **zъ/r̥/no*) (стр. 208). При этом, так как, по мнению автора, слоговые плавные не были самостоятельными фонемами и их слоговое произношение определялось их позицией в исходе слога, редуцированные ъ и ь изменялись перед слоговыми плавными так же, как сильные ъ и ь (т. е. в *о* и *е*). В тех же случаях, когда за сочетанием типа **tъ/r̥/t* следовал слог с исчезавшими «слабыми» ъ и ь, слоговые плавные, оказываясь долгими, при «падении глухих» утрачивали не только слоговость, но и долготу, и в таких случаях развивалось так называемое второе полногласие. Непоследовательность проведения второго полногласия в современных говорах автор объясняет тем, что тенденция к обобщению действовала не post factum, а в самом процессе образования сочетаний со вторым полногласием, препятствуя их возникновению. Свое мнение о судьбе сочетаний типа **tъrt*, автор подкрепляет следующим соображением: «сочетания типа **tъrt* и **tort*, столь близкие по своему звуковому строению, что уже ранее могли переживать общие изменения, когда подчинились тенденции к открытости слога, стали изменяться одинаковым образом» (стр. 211).

Основное положение статьи В. Н. Сидорова: «замена болгарских написаний русскими — наиболее убедительное свидетельство существования редуцированных гласных в древнерусской фонетической системе XI в.» (стр. 212) — не вызывает возражений. И совершенно естественно, что основные признаки древнерусского извода старославянского языка связаны с написаниями, отражающими русское употребление редуцированных гласных, передающими живые «диалектные явления, свойственные восточнославянским говорам» (стр. 214). Этим объясняется и отсутствие строгой последовательности в проведении написаний *ѣр*, *ьр*, *ѣл* по памятникам XI в., что наглядно демонстрируется в статье соответствующей таблицей (стр. 218). Автор правильно указывает и на то, что в написаниях этого типа, передававших, в большинстве случаев, корневые

мерр мит влияние болгарских элементов на древнерусский извод старославянского языка должно быть значительнее чем на грамматические части слова (стр 219) При этом по мнению автора необходимо учитывать что среди слов с сочетаниями типа *tъrt в основе были такие которые если не по корню то по своему образованию или интонации были для древнерусских слов из нижного языка чуждыми их реги (стр 219) Однако этим соображением еще нельзя объяснить то резкого различия в употреблении написания *ръ* которое наблюдается в практике писцов например между первым и вторым почерком Остромирова евангелия

Статья В Н Сидорова освещающая одно из наиболее значительных явлений русской исторической фонетики содержит новые данные для установления исторических границ процесса падения глухих в древнерусском языке Однако следует заметить что на рассуждениях автора лежит печать некоторой схематичности стремления как бы выявить древнерусскую фонетическую систему придать ей больше строгости название статьи явно шире ее конкретного содержания в основном здесь дается фонетическое истолкование сочетаний гласных с плавными типа *tъrt* лежавших в основе так называемого второго полногласия

В своей статье К вопросу о генезисе видо временных отношений древнерусского языка» (стр 220—256) П С Кузнецов исходит из следующего разграничения грамматических категории времени и вида время глагола есть грамматическая категория выражающая отношение действия к моменту речи вид есть грамматическая категория выражающая характер самого действия с точки зрения протекания его во времени (стр 222) Поэтому по мнению П С Кузнецова «категория вида как категория грамматическая выступает лишь в тех языках где она связана определенными отношениями с категорией времени так это имеет место например в современном русском языке (стр 223) Таким образом в статье П С Кузнецова вид выступает в общем русле выражения временных отношении с тем отличием от категории времени что вид выражает отношения действия по времени независимо от момента речи Общепонимание взаимоотношении между категориями вида и времени идущее от Фортунатова оказывается здесь источником вывода в духе Грассери тоже придерживавшего временной характер категории вида[4] хотя П С Кузнецов и отмечается что в целом концепция Грассери и приемлема При генетическом рассмотрении развития категории времени и вида в древнерусском и других славянских языках автор следуя установившейся традиции утверждает что времена которые мы застаем в древнейших письменных индоевропейских языках покоились на основе иных категории имевших не временное значение» (стр 227) Эти категории были по мнению автора категориями видовыми хотя они сформировались отличались от современных славянских категории совершенного и несовершенного вида Реликты этой древнейшей видовой системы П С Кузнецов видит в различии систем презенса аориста и перфекта в древнерусском языке и в санскрите образующих от одного корня самостоятельные глагольные лексемы и различающихся таким образом структурно средствами словообразования При этом перфект с характерным для него удвоением противопоставляется презенсу и аористу как категория обозначающая состояние которое является результатом законченного действия В статье последовательно доказывают свои тезисы индоевропейским языкам основные структурные средства оформления древних видовых различии чередования корневого гласного и показатели глагольных классов Опираясь на так называемой неудвоенной форме перфекта П С Кузнецов отмечает что значение этой формы (ст слав *видѣ* др инд *veda* греч *οἶδα* гот *wait*) уклоняется от обычного значения перфекта — на первый план всюду выступает не результативность а состояние отнесенное к настоящему времени (стр 231) Но не свидетельствует ли это о том что данные формы являются вовсе не формами перфекта а способами разными формами настоящего времени обозначавшими настоящее не действия а состояния (ср русское *я знаю* в так называемом перфектном значении)? Заслуживает внимания предположение автора что показатели глагольных классов представляют собой родство еще более древнее чем чередования в глагольной основе потому что они были некогда живыми суффиксами каждый из которых объединял целый класс слов (стр 236)

Собственно временные значения по мнению П С Кузнецова оформляются прежде всего в различии личных окончании так как именно оформление так называемых первичных и вторичных окончании кладет основу разграничения настоящего и прошедшего времени (стр 239) причем первичными окончаниями характеризуется и только настоящее но и будущее время» (стр 239—240) Однако сам автор не только никем отмечает что в славянской глагольной системе личные окончания утра

[4] Ведь и по Грассери различие между временем (temps subjectif) и видом (temps objectif) состоит в том что в первом случае точка отсчета лежит в самом говорящем и определяется отношением к моменту речи а во втором она лежит в самом действии (см R de la Grasserie Etudes de grammaire comparee De la categorie du temps Paris 1888 стр 3)

чивают свою роль показатели времени аорист и имперфект связаны с основой инфинитива часто отличающейся от основы настоящего времени и являющейся по существу основой прошедшего времени (стр 2)

Далее автор останавливается на роли приставок для выражения нового видового различия между несовершенным и совершенным видом на постепенном развитии грамматического значения приставок в русском и славянских языках По мнению П С Кузнецова глагольные приставки являются основным средством служащим для выражения новых видовых отношений но как возникают эти новые видовые отношения в статье не говорится Автор проходит мимо идущего от Потебни предположения что в основе новых видовых различий в славянских языках лежит внутреннее развитие действия от конкретного к более отвлеченному собирательному его выражению [5] А именно эта догадка Потебни дала основание Ван Вейку и современным советским исследователям увидеть базу для различения несовершенного и совершенного вида в различии между глагольными основами определенными и неопределенными [6]

Общая последовательность развития видо временных отношений от эпохи общеиндоевропейского языка основы до исторически засвидетельствованных славянских языков рисуется автором в следующем виде первоначально древние видовые категории образующие различные лексемы одного корня и характеризующиеся различными значениями отношения действия ко времени затем — многочисленные времена уже как формы одного глагола постепенно формирующиеся на базе древних видов Наконец уже при наличии грамматической категории времени развивается новая система видов основывающаяся на противопоставлении совершенного и несовершенного видов и перекрещивающаяся с различиями времени (стр 250 251) Такой переход от древних видовых категорий к многочисленным временам образует по мнению П С Кузнецова единую линию развития видо временных отношений в грамматическом строе языка

Без всяких оговорок автор пишет о разрушении системы многочисленных времен в современном русском языке (стр 252) проходя мимо глубоких различий по выражению временных значений в формах прошедшего времени совершенного и несовершенного вида насильственно объединяя в рамках единого будущего времени сложную форму будущего несовершенного и синтетическую форму настоящего будущего совершенного вида Некритически следуя за традицией автор представляет смену старой временной системы новой видовой системой синтаксом прямолинейно При этом не принимается в учет наличие модифицированных но по своим истокам старых унаследованных значений аориста имперфекта перфекта и плюсквамперфекта во временных формах современного русского языка не учитывается и глубокое структурное различие между грамматическими категориями вида и времени то что вид в отличие от категории времени есть качество глагола как такового но не качество той или другой его формы [8]

Несмотря на наличие ряда спорных положений статья П С Кузнецова поднимающая большой вопрос историческо грамматики русского языка хорошо ориентирует читателя в сложной проблеме генезиса видо временных отношений древнерусского языка хотя и не содержит ничего принципиально нового в самой постановке этой проблемы

В целом во втором томе Трудов Института языкознания освещены актуальные проблемы из области синтаксиса современного русского языка исторической фонетики и истории грамматического строя русского языка статья относящаяся к частному вопросу — употреблению Пушкиным указательных местоимений синонимов касается большой проблемы исторического взаимодействия языков и разговорной речи в истории русского литературного языка

В связи с исполнившимся десятилетием со дня смерти выдающегося советского лингвиста В А Богородицкого в состав данного тома Трудов включена полная библиография его работ составленная А Н Мироносицкой и хорошо написанная характеристика его научной деятельности написанная П С Кузнецовым

Н С Поспелов

---

[5] А А Потебня Из записок по русской грамматике IV М — Л Изд во АН СССР 1941 стр 47 77—78

[6] См N Van Wijk Sur l'origine des aspects du verbe slave Revue des études slaves» Paris 1929 fasc 3— стр 246 Ср В В Бородич К вопросу о значении аориста и имперфекта в старославянском языке Славянская филология» М Изд во Моск ун та 1951 стр 34—35

[7] Ср Грамматика русского языка т I М Изд во АН СССР 1953 стр 484 492 (§§ 754—760)

[8] См А А Потебня указ соч стр 108

Лингвистический сборник. [«Ученые записки Ин та востоковедения (АН СССР)», т IV] Отв редакторы Н И Конрад, Г Д. Санжеев, И С. Брагинский.— М Изд-во АН СССР, 1952 411 стр

Выпущенный Институтом востоковедения лингвистический сборник содержит ряд интересных статей, посвященных вопросам изучения китайского, японского, таджикского, а также монгольских и тюркских языков Сборник открывается статьей Н. И Конрада «О национальном языке в Китае и Японии в свете трудов И В Сталина по языкознанию» (стр 5—29) Статья, на наш взгляд, удачно разрешает поставленную задачу — осветить основные черты «процесса складывания и развития национальных языков» у двух народов — китайцев и японцев Эта статья не предполагает у читателя каких-либо лингвистических сведений, а скорее считает его элементарно знакомым с новейшей историей обеих стран Она с успехом могла бы быть помещена и не в лингвистическом издании Ценность ее для лингвистов заключается в умении автора связать вопросы развития национального языка с историей соответствующей страны в самых общих и вместе с тем самых существенных чертах этой истории Подобная задача требует от автора прекрасного знания как истории соответствующего языка, так и обширной литературы вопроса, начиная с декларации литературных течений, с оценок литературных направлений виднейшими политическими деятелями эпохи и ее историками и кончая высказываниями иностранцев по поводу распространенности в стране того или иного диалекта

Статья — очень полезный комментарий к основным положениям И. В Сталина относительно формирования национальных языков Отметим, что для лингвиста, не специализирующегося по китайскому и японскому языкам, было бы желательным, чтобы автор, характеризуя то или другое явление в жизни языка, приводил примеры, причем на материале обоих языков В статье же даются только ссылки на лексические и грамматические явления и при этом более по японскому языку, чем по китайскому.

Второй помещена в сборнике работа Г Д Санжеева (стр 30—125) Она озаглавлена «Монгольские языки и диалекты» Эта статья — введение в сравнительную грамматику монгольских языков, первый том которой ныне вышел из печати[1] Из десяти глав статьи первые четыре посвящены образованию современных монгольских языков из диалектов единого монгольского языка, потерпевшего крах в результате распада империи Чингис-хана, и отношению к этим современным языкам старопись менного языка и монгольских языков XIV—XV вв Затем дается краткая характеристика языков монгольского, даурского и монгорского, более изолированных как от остальных монгольских языков, так и друг от друга и вместе с тем наименее изученных Большая же часть обзора посвящена ойратскому, бурят-монгольскому и собственно монгольскому языкам, особенно двум последним как языкам национальным и имеющим литературную форму

Работа написана живо и популярно, сообщает много интересных подробностей о монгольских языках и их диалектах — подробностей, появляющихся в печати либо впервые, либо разбросанных в малодоступных изданиях Ряд соображений — иногда *априорного порядка*, а иногда подсказанных автору фактами из жизни монгольских языков — представляет интерес и для общего языкознания К первым принадлежит, например, замечание на стр 45 « по Марру, получалось, что процесс концентрации племен и народов в ранней истории был гораздо интенсивнее, нежели в эпохи классового общества и государственности А между тем, конечно, в отдаленные от нас времена не было и не могло быть никаких экономических и прочих условий для подобного рода концентрации генетически совершенно разнородных этнических групп».

История монгольских языков, вероятно, подсказала автору следующее высказывание «При прочих равных условиях кочевой уклад жизни способствует более быстрому процессу нивелировки диалектов или препятствует дроблению последних на более мелкие говоры, тогда как оседлый образ жизни влияет в обратном направлении» (стр 102) Таких интересных соображений в работе много

Не вызывает возражений ни общий план работы, ни весьма обоснованное соотношение отдельных ее глав Хуже обстоит с планом подачи конкретного материала для характеристики фонетической системы и грамматической структуры описываемых языков Неровность в освещении отдельных важных сторон различных монгольских языков (и при этом — тогда, когда это не может быть оправдано слабой изученностью какого либо момента), изложение мимоходом очень важных явлений — все это дает основание предположить, что автор, когда писал свою работу, не имел перед собой продуманного перечня вопросов, на которые должны были быть даны ответы в отдельных частях обзора Это относится и к фонетике, которой автор уделяет наибольшее внимание, и к морфологии, а больше всего к синтаксису Так, например, лишь косвенным путем и случайно читатель знакомится с явлением оглушения *д* и *г* в конце слова

[1] Г Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, т I, М, Изд-во АН СССР, 1953

в собственно монгольском языке Не объяснено особо и явление сингармонизма, хотя оно в какой то мере присуще всем монгольским языкам

Если можно предполагать у немонголистов осведомленность о делении гласных по рядам переднему, среднему и заднему, то у автора нет оснований думать, что не монголисты имеют представление о подобном же делении согласных Об ассимиляции согласных по звонкости не говорится ни слова, хотя такой вопрос неминуемо возникает у каждого при чтении такого слова, как *хабтасун* Автор не раз употребляет термин «перелом *і*», лишь мимоходом объясняя его и притом не при первом упоминании Без всякого объяснения фигурируют термины «слабый и сильный согласные», кажется, синонимичные звонкому и глухому Сведения по морфологии весьма случайны Не упоминается даже про агглютинативность монгольских языков а примеры – очень скудные — даются без знака, отделяющего основу от аффиксов Нам кажется непедагогичным давать таблицу названий падежей и глагольных форм старописьменного языка без всяких примеров и разъяснений (стр 55—56) Эту таблицу дублирует другая на стр. 108—111, сравнивающая формы халхаского и ордосского диалектов и старописьменного языка, к ней даются и примеры халхаского диалекта с переводом Словообразованию специального внимания не уделяется Синтаксические характеристики вообще даются попутно Не получив никаких сведений о порядке слов, об оформлении определений и о служебных словах читатель на стр 111 узнает, что монгольские языки почти не употребляют «придаточно-подчиненных предложений». Это интересное сообщение пришлось к слову по поводу обилия деепричастий.

Во всем обзоре нет ни одного примера с монгольским предложением Обзору явно нехватает главы, которая указывала бы место монгольских языков среди других и отношение монгольских языков к тюркским, тем более, что автор этих вопросов иногда касается (например, на стр 52, где употребляется термин «алтайские языки») В этой главе можно было бы дать и перечень черт, присущих всем монгольским языкам, с примерами из одного из них, наиболее характерного для каждого данного случая.

Необходим и толковый перечень условностей, в частности транскрипционных знаков, принципов транслитерации и транскрипции старописьменного языка Автор употребляет не менее 12 транскрипционных знаков, которые он обязан был разъяснить Это лат *i* и та же буква с двумя точками, русск *о* и *у* с одной и двумя точками над каждым из них, перевернутое *э*, модификации русск *к*, *г* и *н* для обозначения глубоко заднеязычности первых двух и заднеязычности последнего, лат *c* и *s* с седилями и *c* без седиля, лат *h* и др

Другим недостатком обзора является полное отсутствие каких-либо карт, совершенно необходимых и для глав II и IV, и для глав, посвященных диалектологии В одном случае у автора есть даже нечто вроде ссылки на отсутствующую карту «Достаточно бросить беглый взгляд на этно-лингвистическую карту расселения бурят » (стр 102)

Читателя затрудняет непоследовательность Г Д Санжеева в применении транскрипции и национальной графики Как правило, автор применяет транскрипцию, что, на наш взгляд, в сравнительных обзорах является единственно правильным Однако автор считает нужным сделать исключение для собственно монгольского языка, о чем и предупреждает читателя на стр 108 и еще раз на стр 109 Разумеется, что при сравнении звукового состава одних и тех же слов в разных языках и диалектах (например, на стр 116) автор снова обращается к транскрипции, но уже забывает предупредить об этом читателя

Остается сказать несколько слов о памятниках монгольских языков Г Д Санжеев обещает дать библиографию во втором выпуске своей сравнительной грамматики, где, вероятно, будут упомянуты и издания памятников На наш взгляд это нисколько не исключает того, что и во введении должны быть библиографические и палеографические сведения о памятниках старописьменного языка Для этого следовало бы отвести отдельную главу Прекрасный пример того, как надо излагать такого рода сведения, дают наши советские слависты, в частности А М Селищев в первом выпуске своей книги «Старославянский язык» Совершенно нетерпимым (хотя это едва ли можно поставить в упрек только автору) является отсутствие таблиц старых монгольских алфавитов, без чего многое просто непонятно в главах, посвященных старописьменному языку и монгольским языкам XIV—XV вв

Своевременность написания обзора монгольских языков, содержательность и популярность этого обзора делают желательным его переиздание отдельным выпуском Переиздавая свой труд, автор должен учесть высказанные здесь соображения.

Примеру Г Д Санжеева должны последовать и другие лингвисты Обзоры родственных языков, даже и не являющиеся введением в сравнительную грамматику этих языков, имеют большое значение для развития языкознания, а в частности, и для развития сравнительно-исторического метода, последнее — в тем большей степени, чем более будут они историчны

Третья статья сборника — обзор А К Боровкова «Изучение языков народов Средней Азии и Казахстана в свете трудов И В Сталина по вопросам языко

знания» (стр 126—146) — не имеет задачи подвести итоги работы за какой либо период, как можно думать по заглавию Автор показывает, какого рода ошибки характерны для исследований по тюркским языкам Средней Азии и Казахстана, а также и по таджикскому языку в период борьбы «нового учения» о языке

Статья дает яркое представление о вульгарно-социологических приемах исследования и безответственном отношении к фактам сторонников Марра Но местами статья превращается в перечень марристских ошибок и даже в поглословное указание на их наличие Характерна в этом отношении «критика» составленной А Н Кононовым «Грамматики узбекского языка» (выходные данные не указаны) А К Боровков просто ограничивается утверждением, что в книге «много ошибок марристского порядка» и ссылкой на рецензию в газете «Правда Восток» от 6 марта 1951 г (стр 141)

Как правило, в обзоре А К Боровкова наиболее убедительными являются места, где достаточно априорной аргументации или ссылок на результаты исследований Так, очень убедительна глава VII, где дается критика искусственно запутанных вопросов об общенародных языках Средней Азии В отношении тюркских языков автор ссылается на исследования П М Мелиоранского и В В Радлова К сожалению автор забыл, что следовало быть более конкретным и в отношении таджикского языка (кстати с цитаты о нем полной марристских ошибок, начинается эта глава) Очень убедительна и критика наивной «теории» происхождения языка А П Поцелуевского (стр 128—129), но уже гораздо более вялой и слабой является критика взглядов И А Батманова на пережиточность неразличения тюркскими языками некоторых глагольных и именных основ (стр 130)

Нам кажется, что пора покончить с неточной формулировкой «формальное неразличение существительных и прилагательных» в тюркских языках (стр 131) Не говоря уже о синтаксических признаках, таких, как изафет, которые тоже относятся к формальным, в этих языках существительные в отличие от прилагательных (разумеется не субстантивированных), принимают аффиксы множественности, принадлежности и склонения Правильно же говорить, что в тюркских языках морфологическая дифференциация существительных и прилагательных слабее, чем, например, в русском языке

Прав А К Боровков, заявляя о том, что ненаучные представления о «трансформации» дезориентировали практиков педагогов, порождая неправильное отношение к национальным языкам (стр 133) Прав он и в том, что случаи ассимиляции, приводящие к стиранию границы между основой и аффиксом (а к этому и сводятся примеры, разбираемые на стр 133), еще не дают основания говорить о переходе во «флективную стадию» Уместна и ссылка на известные слова И В Сталина о постепенном и длительном накоплении в языке элементов нового качества Однако следует ли из этого, что эти элементы нового качества не должны занимать лингвистов? Очевидно что не следует

«Языковедам республик Средней Азии и Казахстана предстоит решить многообразные благодарные задачи истории и развития национальных языков — разработки словаря, грамматического строя, развития культуры речи» (стр 146),— говорит в заключение автор Если внимательно прочесть эту концовку, то выходит, что, с одной стороны, А К Боровков безмерно преувеличивает роль лингвистов, возлагая на них решение задач самой истории языков, т е задач, посильных лишь для целых народов а с другой стороны он очень суживает их задачи, сводя всю работу к нормализации литературных языков Кто же должен заниматься историей языков, их диалектологией, исторической грамматикой, их сравнительно историческим изучением? На это А К Боровков ответа не дает

Очень интересна и привлекает к себе внимание статья А Н Кононова «Вопросы изучения турецкого языка в свете трудов И В Сталина по языкознанию» (стр 147—164) Стройность плана и стилистическая отработанность делают ее гораздо более собранной и цельной чем предшествующая статья А К Боровкова От последней она выгодно отличается и тем что подводит итоги изучения турецкого языка в СССР и намечает довольно конкретно перспективы Но не в пользу статьи А Н Кононова сравнение с той же статьей А К Боровкова, когда речь идет о критике ошибок в исследованиях по турецкому языку, изданных в период господства «нового учения» о языке А Н Кононов подробно излагает «основную теорию» и всю идеологическую и политическую порочность увлечения ею Н Я Марра Но в свете совершенно справедливого заявления автора о том, что «советская наука никогда не была в единомыслии с турецкой буржуазно националистической лженаукой » (стр 149), его историческая справка является не очень актуальной, будучи более страницей из научной биографии Н Я Марра, чем из истории советской науки Важнее было бы разобрать ошибки советских тюркологов, стоявших на позициях «нового учения» о языке А Н Кононов повидимому, не видит у своих коллег и у себя каких либо ошибок этого рода кроме тех, которые они разделяли с подавляющим большинством всех остальных советских лингвистов признание классовости и надстроечности языка и умалчивание об ошибках Марра, которые были им ясны Автор ограничивается указанием на то что он сам отдал

дань увлечению тотемистической «теорией Н Я Марра», не говоря, в чем заключается ошибочность этой теории

Значительную часть своей статьи А Н Кононов строит в виде иллюстраций (на фактах турецкого языка) к отдельным положениям трудов И В Сталина по языкознанию (стр 153—161) В этих иллюстрациях сомнение вызывает пример образования турецкого прошедшего категорического времени и другие примеры, имеющие целью подтвердить следующий тезис автора « притяжательный строй вытесняется в нем (в турецком языке — *B C*) строем местоименным, причем местоименный строй возникает и развивается из притяжательного строя, т е аналитические формы возникают в результате изменения синтетических форм» (стр 156) Если первая часть тезиса, за недостаточностью примеров и отсутствием сведении о их типичности и удельном весе, не может быть признана доказанной, по крайней мере для нетюркологов, то вторая на основании приведенного примера кажется просто ошибочной Разве наличие местоимения подлежащего при глагольной форме с показателем данного лица, независимо от ее происхождения, делает эту форму аналитической? Скорее это тавтология, обычно выражающая подчеркивание подлежащего

Противопоставляя новое слово *okul* старому *mektep*, автор упустил из вида, что первое слово вытеснило второе в ряды архаизмов так как стало обозначать и новое явление также вытеснившее старое светскую школу, в отличие от духовной При всей дискуссионности мысли автора о том, что старописьменный турецкий язык вплоть до середины XIX в был искусственным классовым жаргоном ее подробное обоснование представляло бы большой интерес

Нам кажется, что, говоря о неизученности турецкого синтаксиса автор имел все основания сделать указание на работу С С Майзеля о турецком изафете, которая является крупным вкладом в изучение турецкого синтаксиса и которая автору известна Странно, что в продуманной программе А Н Кононова, предусматривающей все главные отрасли в деле изучения турецкого языка, нет ни одной темы которая требовала бы привлечения других тюркских языков

Вызывает сомнение также уместность одновременного упоминания о задачах сравнительно исторического изучения тюркских языков и сопоставления их с русским языком при критике марровской трактовки сравнительно исторического метода (стр 148)

Прав А Н Кононов, когда говорит о недостатках старого сравнительно-исторического метода прав он и в том, что надежным средством изучения языков явится сравнительно исторический метод, базирующийся на марксистском методологии и отводящий подобающее место семасиологии» Бесспорно также, что совершенствование старого сравнительно исторического метода в этом направлении — неотложная задача советских языковедов (стр 148—149) Но тем более от программной статьи какой является рецензируемая статья А Н Кононова, можно требовать ответа на вопрос, какое же участие в разрешении этой неотложной задачи возьмут на себя специалисты в области турецкого языка? Ответа на этот вопрос статья не дает Это сильно снижает ценность заявлении автора о сравнительно историческом методе

Статьей А Н Кононова заканчивается первая часть сборника Часть вторая посвящена статьям на более частные темы отдельных языков Таких статей шесть три по японскому языку, одна по монгольскому, одна по китайскому и одна по таджикской диалектологии Две статьи посвящены вопросам выражения винительного падежа (в японском языке — Е М Колпакчи и в монгольском — Б Х Тодаевой) две — сложным предложениям (в японском языке — Н И Фельдман и в китайском — С Е Яхонтова) Самая большая статья второй части (стр 278—354) принадлежит Н А Сыромятникову Это — «Система фонем японского языка» Авторы двух статей (Б Х Тодаева и С Е Яхонтов) подходят к своим темам с точки зрения системы современного языка, авторы же остальных статей пользуются данными исторической грамматики и сопоставлением с другими языками В статье А К Боровкова по таджикской диалектологии есть кроме того, и сравнения с родственными языками

Недостаточность места заставляет нас ограничиться разбором только двух статей. Первая из них — статья А К Боровкова «Таджикско узбекское двуязычие и вопрос о взаимовлиянии таджикского и узбекского языков» (стр 165—200) Автор постоянно говорит о взаимовлиянии двух языков — таджикского и узбекского, но пользуется материалами преимущественно таджикского В некоторых случаях сопоставления не подвергаются никакому анализу, и даже непонятно, для чего они делаются Так, например, на стр 166—167 А К Боровков приводит ряд пословиц и поговорок одного и того же содержания в обоих языках В них имеются общие слова, но их происхождение не указано, а следовательно читатель имеет право усомниться в том что они являются результатом взаимовлияния Упомянутый перечень пословиц заканчивается следующим положением «Из этого можно вывести заключение, что при наличии таджикско узбекского двуязычия происходит взаимный отбор лексики в зависимости от сферы употребления того и другого языка в данных местных условиях» (стр 167) Положение это само по себе очень вероятно, но оно нисколько не

не сопоставлено каким-либо анализом приводимых автором материалов. Не помогает и сравнение со «стр. 193 и след.» сочинения Л. В. Щербы «Восточнолужицкое наречие», хотя и рекомендованного по всем правилам библиографии.

Автор описывает говор Касана Наманганской области, не сообщая кстати, является ли этот населенный пункт городом или деревней. Обычно никаких указаний, как относится описываемое явление к общетаджикскому или узбекскому языкам, он не дает, лишь в некоторых случаях говоря о сходстве с говором или группой говоров. Описанию глагола посвящено тринадцать пунктов, но в большинстве случаев дается из парадигмы одно первое лицо с переводом, но без разделения слова на морфемы и без всякого другого анализа. Описание заканчивается образчиком связного текста с переводом (стр. 173), в котором нумерация предложений та же, что и в транскрипции образчика, и который почему-то назван «подстрочным». Снова никакого анализа не дано. Кстати, автор не только не счел нужным сказать что представляет собой употребляемая им транскрипция, но даже не сделал никакого разъяснения относительно знаков, которые не вошли в его список состава гласных и состава согласных (стр. 168 и 169). Это *ш*, и *ы*.

В предисловии к тексту говорится, что автор дает этот текст «перед тем как сделать некоторые выводы в отношении результатов таджикско-узбекского двуязычия на примере касанского таджикского говора» (стр. 173), но эти некоторые выводы следуют за новыми материалами по лексике и словообразованию и непосредственного отношения к тексту не имеют. Нам кажется, что дав описание касанского говора, автор обязан был дать этому говору общую оценку с точки зрения взаимовлияния таджикского и узбекского языков, но такой оценки в статье нет. Не нашел такой оценки и чустский говор, описываемый автором по работе О. Джалалова «Отношение чустского диалекта к таджикскому литературному языку» (Сталинабад, 1949), изданной по записям 1937 г.

Больше того, автор даже не считает нужным соответствующим образом определить некоторые явления зафиксированные в данном им касанском тексте, хотя подобные же явления он отмечает для чустского говора. Так, например, в чустском говоре отмечается подмена «препозитивных форм постпозитивными, в результате употребления узбекского суффикса исходного падежа или послелога *учун*» (стр. 180). Но что же представляют собою два первых слова приведенного А. К. Боровковым (стр. 173) образчика касанского текста — *кадым* (кадым?) — *В. С. замонанда*? Здесь во первых, предшествование прилагательного определения своему определяемому, т. е. черта тюркских языков, а не иранских, и, во вторых, суффикс местного падежа (*ан*)*да* узбекского происхождения. Первое из этих явлений вообще замалчивается, а второе подается как особенность ряда говоров без упоминания о том, что это — модифицированная морфема тюркских языков.

«Во всех конкретных случаях таджикский язык и его местные диалекты и говоры сохранили свою специфику — грамматический строй и основной словарный фонд. Словарные заимствования из узбекского языка и отдельные морфологические элементы, в том числе новообразования глагола от узбекских основ, не меняют существа дела, как, например, и турцизмы в болгарском языке», — говорит автор на стр. 197. Но спрашивается, чему верить? Его словам или тем материалам, которые он приводит? Из заимствованных морфологических элементов выделять надо не «новообразования глаголов от узбекских основ», ибо это относится к словообразованию — отделу, наиболее близкому к лексике, а заимствование словоизменительных суффиксов.

Автор почему-то не касается и такого синтаксического момента, как взаимная позиция определяемого и определения прилагательного, что для языков с фиксированным порядком слов является весьма важным. Прав был бы автор, если бы он сказал, что, несмотря на многочисленные заимствования даже в основном словарном фонде и на усвоение некоторых существенных черт тюркского грамматического строя,— касанский говор все же остался таджикским. Такой вывод автор мог бы доказать и обязан был это сделать.

Ко всему прочему присоединяется небрежное отношение автора к транскрипции вызвавшее справедливое замечание по адресу А. К. Боровкова в списке опечаток и исправлений, приложенном к книге. Небрежно и все оформление работы. Как понять, например такое предложение (стр. 197) «Своеобразные „морфологические плеоназмы" в чустском говоре теоретически могли бы привести к ослаблению и утрате одной из каждой данной плеонастической пары, но этого не случилось, поскольку изменилась общая обстановка развития двух языков».

Читатель вспоминает, что о морфологических плеоназмах говорилось в связи со сравнительной степенью. Находим соответствующий пункт в описании чустского диалекта. Это пункт 1 на стр. 178, т. е. на 19 страниц выше разбираемого места. Там сказано: «1. Появились своеобразные морфологические плеоназмы, например, два суффикса сравнительной степени: таджик. *-тар* и узб. *роқ*, *чуқуртарроқ*, или *чуқурроқтар* «глубже» (узб. *чуқур* «глубокий»), *тезроқтар рав* «иди поскорее» и т. п.». О какой же паре идет речь? Прежде всего приходит в голову, что имеются в виду два суффикса,

но тогда рассуждения об ослаблении и утрате «одной из каждой данной» пары лишаются всякого смысла Ищем другое значение для слов «пленастическая пара» Оказывается, имеются в виду два варианта формы сравнительной степени тот вариант, где на первом месте таджикский суффикс, а на втором узбекский, и вариант с обратным порядком суффиксов Но докончим прерванный нами пункт 1 « параллельно употребительны тадж предлог *аз* „из , „от" и узб исходный падеж *дан* в том же грамматическом значении, например, *аз як хосип аилашдан дун'ева омдам* „я родился в семье (букв от семьи) переселенника"» В примере действительно одновременно употребляются таджикский предлог *аз* и узбекский падежный суффикс *-дан*, но грамматическое значение их здесь совсем другое происхождение, а не сравнение Итак, пример ошибочный

А К Боровков очень любит ссылаться на авторитеты Читатель мог бы лишь благодарить автора за указание на сочинение, подсказавшее автору аргументацию или давшее материал для вывода Но, к сожалению, ссылки часто заменяют А К Боровкову аргументацию Вот, например, как объясняет А К Боровков наличие в ряде таджикских говоров притяжательного оборота [типа *асп-а сар аш* «голова лошади», где первое слово — существительное в родительном падеже —обозначает обладателя (здесь — «лошадь»), а второе — существительное с притяжательным суффиксом 3-го лица — обладаемый предмет (здесь — «голова»)], в точности совпадающего по построению с узбекским оборотом того же значения « закономерность этой формы в таджикском подтверждается наличием аналогичной формы в осетинском и в таджикском-шугнанском, на что обратил внимание проф И И Зарубин С другой стороны, в раннем таджикской поэзии XI в И С Брагинским была отмечена тождественная конструкция (*Рудакиро ғазалаш* «газель Рудеги») Все это исключает утверждение об усвоении указанной формы в таджикских говорах о б я з а т е л ь н о (разрядка моя — *В С*) из узбекского языка Таким образом, основные грамматические факты разъясняются на почве иранских языков» (стр 196—197) Далее следует ссылка на две работы И И Зарубина

Сославшись на статьи И И Зарубина, А К Боровков счел себя в праве не приводить примеры из осетинского и таджикско шугнанского и, наоборот, приведя пример из наблюдений И С Брагинского, он не взял на себя труда указать, из какой книги или рукописи пример взят и как называется соответствующая работа И. С Брагинского

Но предположим, что примеры неопровержимо доказывают наличие аналогичных конструкций во всех трех случаях Доказывает ли это, что соответствующие конструкции в таджикских говорах не заимствованы? Сам автор сначала говорит о н е о б я з а т е л ь н о с т и заимствования, а затем уже б е з о г о в о р о ч н о делает заключение о разъяснении основных грамматических фактов на почве иранских языков Таким образом, в статье А К Боровкова выводы часто не вытекают из фактов, а поэтому остаются не доказанными

Другая статья во второй части, на которой мы считаем нужным остановиться,— это статья Н И Ф е л ь д м а н «О реальном и фиктивном склонении предложений в современном японском языке» (стр 230—277) Статья Н И Фельдман состоит из двух частей В первой излагаются теоретические исходные пункты анализа склоняемых конструкций и разбираются примеры из японского языка Вторая же часть рассказывает об отношении к вопросу японских грамматистов и рассматривает интересную проблему превращения некоторых падежных аффиксов, оформляющих склоняемое придаточное предложение, в союзы

Большое теоретическое значение статьи — в том, что в ней освещен узловой момент перехода в новое качество от распространенного оборота к придаточному предложению Ядром первого является отглагольное имя, ядром же второго — по форме отглагольное имя, а функционально — спрягаемая форма глагола При этом в таком придаточном предложении имеется подлежащее, оформленное соответствующим аффиксом, а сказуемое выражается так же, как и в самостоятельном предложении Этот процесс иллюстрирует глубокую мысль И В Сталина о развитии языка путем развертывания и совершенствования его основных элементов, а не путем их уничтожения

Статья обильно привлекает для сопоставления данные других агглютинативных языков, а реже — и языков другой типологии и может оказать большую пользу монголистам, тюркологам и другим лингвистам, имеющим дело с агглютинативными языками, она представляет значительный интерес и для всех лингвистов Как показал уже Ф Е Корш в своем блестящем исследовании «Способы относительного подчинения» [2], проблемы синтаксиса для своего лучшего уяснения требуют привлечения языков, и не связанных между собой общим происхождением больше того, некоторые параллели можно найти также в языках иной типологии В этой связи надо заметить, что Н И Фельдман едва ли права, считая двумя непременными условиями возможности образования подчиненных предложений, во-первых, наличие агглютинативного скло-

[2] Ф К о р ш, Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса, М., 1877.

пения и, во-вторых, наличие особых глагольных образований, одновременно сказуемостных и склоняемых. Первое условие, повидимому, действительно обязательно, но при этом может оказаться, что агглютинативное склонение сопутствует флективному, второе же условие, по крайней мере теоретически, необязательно. Вспомним склонение артикля, сопутствующее флективному склонению в древнегреческом языке. Это склонение артикля сходно с препозитивной агглютинацией. Но в греческом языке любое предложение легко субстантивируется при помощи артикля. Легко себе представить, следовательно, и склонение такого предложения путем склонения его артикля. Специалистам в области греческого языка, вероятно, было бы полезно проверить, насколько такая возможность была действительно осуществлена в истории этого языка.

Скажем еще несколько слов о большой статье Н. А. Сыромятникова «Система фонем японского языка», которая производит весьма благоприятное впечатление. Эрудиция автора, его требовательность к себе и умение излагать делают его исследование не только интересным, но и доступным для любого лингвиста. Длительная дискуссия о фонеме на страницах журнала «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка» не должна пройти мимо этого исследования, достойного отдельного обстоятельного разбора.

В заключение необходимо остановиться на имеющихся недостатках в научно-техническом оформлении сборника: 1) многочисленные транскрипции и национальные орфографии ни в одной статье не объяснены. Для удобства читателей такие объяснения обязательны и должны помещаться в одном месте для всех статей; 2) текстовые примеры должны иметь русский перевод с нумерацией слов или лексических единиц, одинаковых с нумерацией в иноязычном тексте, или снабжаться подстрочным переводом в подлинном смысле этого слова; 3) обилие опечаток в простом и сложном наборе внушает недоверие к правильности примеров. Дирекции Института востоковедения необходимо принять действенные меры по подготовке технического персонала и повышению ответственности авторов за качество текстов.

В общем первый лингвистический сборник является удачным начинанием Института востоковедения АН СССР. В предисловии сообщается о подготовке сборника по китайскому языку; имеются сведения о подготовке лингвистического сборника японистами. Будем ждать от лингвистов Института новых исследований, которые будут свидетельствовать о плодотворной перестройке работы языковедов Института.

В. П. Старинин

Л. А. Булаховский. **Введение в языкознание.** Ч. II.— М., Учпедгиз, 1953. 179 стр.

Имя члена-корреспондента Академии наук СССР, действ. члена Украинской академии наук Л. А. Булаховского хорошо известно языковедам Советского Союза и не только одним русистам. В своих работах Л. А. Булаховский всегда умеет сказать нечто новое, оригинальное даже и по таким вопросам, которые как будто уже давно разрешены. Поэтому появления второй части учебника «Введение в языкознание» [1], автором которого был назван Л. А. Булаховский, все языковеды ждали, вполне естественно, с большим интересом. Нам представляется, однако, что книга Л. А. Булаховского не оправдала этих ожиданий.

Рецензируемая книга представляет собою учебник. Известно, что к учебнику предъявляется ряд совершенно определенных требований: он должен отличаться ясностью и простотой изложения, точностью формулировок, научностью; необходимо также, чтобы учебник был интересным, чтобы он мог заинтересовать учащихся, привить им любовь к предмету. Можно ли сказать, что книга Л. А. Булаховского удовлетворяет всем этим требованиям?

Несомненно, книга интересна во многих отношениях, изобилует чрезвычайно любопытными для «посвящаемого в языкознание» примерами. Впрочем, преимущественная экземплификация из области славянских языков, значительно меньше изучаемых

---

[1] Замечание по адресу редакции издания: совершенно неправильно было озаглавливать книгу: Л. А. Булаховский, Введение в языкознание, ч. II, потому что это заставляет думать, что Л. А. Булаховский написал еще и первую часть, на самом деле, как известно, написанную проф. Чикобава. Книга последнего, впрочем, тоже была озаглавлена неверно: А. С. Чикобава, Введение в языкознание, ч. I, так что можно было предполагать, что проф. Чикобава напишет и другие части. Книги следовало озаглавить: «Введение в языкознание», ч. I — автор А. С. Чикобава и ч. II — автор Л. А. Булаховский.

у нас, чем западноевропейские языки, делает книгу менее интересной для изучающих последние и может навести на мысль, что книга прежде всего рассчитана на учащихся-славистов. Конечно, автору как слависту ближе славянские языки, однако нам представляется, что в курсе «Введение в языкознание», по которому должны заниматься и слависты, и германисты, и романисты, и классики, и иранисты, и тюркисты и т. д. и т. д., примеры должны были бы более равномерно черпаться из языков разных групп (семей). Однако это не является самым большим недостатком рецензируемой книги. К сожалению, в ней имеется ряд других, более существенных.

Уже один только беглый просмотр оглавления может вызвать недоумение специалиста в связи со странным расположением материала и его группировкой. Книга состоит из четырех глав: I. «Семасиология», II. «Лексикология», III. «Лексикография», IV. «Этимология слов». Правда, если мы обратимся к предисловию проф. А. С. Чикобава к первой части «Введения в языкознание», то мы найдем в намеченном плане второй части те же разделы, но расположенные в ином и уже, конечно, более естественном порядке: I. «Лексикология», II. «Семасиология», III. «Этимология», IV. «Лексикография». Но можно ли сказать, что все эти разделы рассматривают равноценные части языкознания? Нам представляется, что нет[2]. Прежде всего, семасиология, как она понимается в настоящее время,— не часть (отдел) языкознания, а часть лексикологии как учения о слове[3]. И даже тогда, когда к семасиологии сводилась фактически лексикология (потому что другие разделы учения о слове либо не исследовались, либо относились к морфологии), она не составляла собственно строго отграниченной части (раздела) языкознания. Это была какая-то наука «сама по себе», которой языковеды занимались между прочим, причем писали свои работы, в основном, для неспециалистов[4].

Семасиология представляет собою часть лексикологии как учения о слове, рассматриваемом вне его синтаксических связей с другими словами, т. е. вне предложения. Семасиология — это прежде всего учение о значении слов, потому что и словосочетания изучаются семасиологией со стороны их значения лишь как лексические единицы. Таким образом, неправильно семасиологию отрывать от лексикологии и выделять в особый раздел языкознания, и уже во всяком случае лексикология должна была бы предшествовать семасиологии.

Еще одно замечание. Нам кажется неудобным семасиологию называть и семантикой. Термин «семантика» употребляется сейчас в значении смысловой стороны слов, частей слов и т. д., и надо, чтобы он в таком смысле и употреблялся, а за термином «семасиология» было закреплено значение «учение о значении слов». То, что И. В. Сталин употребляет (в ответе тов. Е. Крашенинниковой) оба эти термина в смысле науки о значении слов, поскольку они действительно таким образом употребляются [5], не является, конечно, основанием для того, чтобы мы их не различали в целях несомненного удобства.

Также едва ли правильно утверждать, что «этимология слов» составляет отдельную «научную дисциплину» (стр. 156): она никогда таковой и не была [6]; этимология — часть лексикологии, и отрывать ее от последней и от семасиологии нет решительно никаких оснований. То же обстоятельство, что Л. А. Булаховский отделяет этимологию от лексикологии разделом лексикографии, где он говорит и об этимологических словарях, вынуждает его дать определение этимологии в разделе лексикографии (стр. 156), а это уже совсем странно [7].

Существенным недостатком книги является то, что разделы ее совершенно друг с другом не связаны, точно один раздел никакого отношения не имеет к другим, между тем как все разделы книги говорят об одном — о слове, исследуют его с разных сторон.

---

[2] Наши последующие критические замечания относятся, естественно, и к утвержденной программе по «Введению в языкознание», которой в своем расположении материала строго придерживается Л. А. Булаховский.

[3] Следует отметить, что Л. А. Булаховский под лексикологией понимает не общее учение о слове, а только учение о составе и развитии лексики.

[4] Мы имеем в виду такие работы, как A. Darmesteter, La vie des mots étudiée dans leurs significations, Paris, 1886 (есть ряд последующих изданий) и K. Nyrop, Das Leben der Wörter, Leipzig, 1903.

[5] Ср., между прочим, «Словарь иностранных слов», под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова, 3-е изд., М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1949, стр. 584.

[6] Если только под этим термином, как в старых школьных учебниках, не понималась просто морфология.

[7] Следует, впрочем, отметить, что Л. А. Булаховский применяет термин «этимология» еще раньше — на стр. 26 — без всякого объяснения, забыв, видимо, что термин этот читателю его книги может быть совершенно неизвестен. На стр. 82 (§ 30) Л. А. Булаховский говорит о «деэтимологизации», коротко объясняя этот термин, но снова не касаясь этимологии.

и впечатления цельности в результате этого от книги нет, что недопустимо для учебника.

К недостаткам книги относится и почти полное отсутствие определений. Понятия не определяются, а чаще описываются, что должно чрезвычайно затруднить студентам работу по книге. Так, говоря о «названии», Л. А. Булаховский приводит цитату из Л. Фейербаха (в § 2), которая, конечно, никак не может служить определением названия, все же дальше сказанное не раскрывает в достаточной степени это понятие. Любопытно, что Л. А. Булаховский вплотную при этом подходит к понятию «внутренней формы» и в сущности в нескольких параграфах (§§ 2, 3, 4) говорит о ней, но он ее здесь не называет, а о «внутренней форме» говорит лишь в § 49 «Утрата заимствованиями внутренней формы слова» (стр. 121), причем что такое «внутренняя форма» — читателю остается совершенно неизвестным; между тем не подлежит сомнению, что это понятие, различным образом толковавшееся языковедами, должно быть раскрыто в такой книге.

Не кажется нам удачным и подходящим для учебника и определение Л. А. Булаховским понятия значения слов как *того содержания его, обнаруживаемого по отношению к действительности* (разрядка наша.— *Н. А.*), «которое о своем реальном существовании заявляет наличием в основном одинакового понимания у того, кто произносит слово, и у того, кто его слышит» (стр. 13). Из этого определения можно сделать вывод, что слову свойственно не одно содержание.

Л. А Булаховский целый параграф (§ 7) посвящает вопросу о слове и понятии, однако едва ли студенты много вынесут из объяснений, данных в этом параграфе, если они вообще их поймут, потому что они очень трудны. Возьмем для примера утверждение Л. А. Булаховского, что понятия «могут быть... ошибочными и даже вовсе вздорными, если при помощи слов (словесных знаков) закрепляется выделение в качестве важных черт очень случайных (очевидно, „выделение — в качестве важных — черт...“— *Н. А.*) или вовсе не соответствующих природе вещей, как последние существуют независимо от человеческого сознания» (стр. 18). Не приходится говорить о том, что это положение не может быть понятным студенту и не только I курса. Даже и специалисту будет не вполне ясно, что Л. А. Булаховский имеет в виду. Так, например, в слове *стол* закреплено выделение — в качестве важной — той первоначальной черты стола или предмета, понимавшегося первоначально под словом *стол*, что его «стлали»; эта черта не соответствует в настоящее время природе вещи, но от этого понятие стола не оказывается ни ошибочным, ни вздорным. Другой пример: в слове *трагедия* в свое время было закреплено выделение — в качестве важной — черты, несомненно соответствующей природе этого народного представления: трагедия — буквально «козлиная песнь» (греч. τραγῳδία от τραγος «козел» и ᾠδή «песнь», поскольку трагедия у греков обозначала первоначально песни, исполнявшиеся при жертвоприношении козла в честь бога Диониса); но уже в греческом языке слово *трагедия* получило то значение, которое оно имеет в настоящее время, так что закрепленная в этом слове черта теперь не соответствует природе вещей, но и понятие *трагедия* не стало от этого ни ошибочным, ни вздорным — оно, несомненно, остается истинным. Может быть, Л. А. Булаховский возразил бы на это, что сказанное относится уже к этимологии слов, значение которых позже изменилось; но ведь не учитывая этимологии слова, о каком же закреплении в слове выделенных черт предмета можем мы говорить? Таких прозрачных слов, как *паровоз*, *пароход* и даже *тетрадь*, в котором заключено указание на четыре стороны (греч. τεττάρες «четыре»), т. е. слов, в которых закреплены черты обозначаемых ими предметов, сохранившиеся в них до настоящего времени, слов не столько с живой, сколько, так сказать, с актуальной внутренней формой, во всяком языке немного.

С другой стороны, мы в любом языке знаем очень много слов, которые представляют собою закрепление «выделенных в качестве важных» чисто случайных черт. Например, *силуэт* — определенный вид рисунка — первоначально имя собственное: фамилия французского генерального финансового контролера Этьена Силуэта (Etienne Silhouette, ум. 1757)[8]. Он впервые познакомил своих соотечественников с силуэтами, которыми украсил свой замок. Совершенно очевидно, что это является не существенной, а наоборот, чисто случайной «чертой» слова *силуэт*. Как известно, *кашемир* назван так потому, что эта ткань напоминает материал кашмирских шалей, вырабатывавшихся в Кашмире (княжестве на юге Азии), что является, конечно, чисто случайным обстоятельством. Известно и множество других аналогичных слов в различных языках, но тем не менее обозначаемые ими понятия вовсе не являются ошибочными.

Таким образом, данное Л. А. Булаховским определение ошибочных понятий не только неясно, но и неверно. Поэтому можно задать вопрос, отчего Л. А. Булаховский, если ему уж нужно было дать определение ошибочных понятий, не воспользовался тем их определением, которое можно найти в школьном учебнике логики С. Н. Виноградова и А. Ф. Кузьмина, а именно: «если же какое-либо понятие представляет собой не-

[8] Впрочем, связь слова *силуэт* с фамилией названного Этьена Силуэта толкуется и несколько иначе.

верное, искаженное отображение действительности, то такое понятие является ложным»[9], причем — добавим мы от себя — совершенно не существенно, какое наименование дается этому понятию. Например, слово *ангел*, как известно, заимствовано из греческого языка (ἄγγελος) и обозначает «вестник»; в слове «закреплено выделение» черты, действительно присущей лицам, приносящим известия. Таким образом, греческое слово ἄγγελος само по себе не обозначает ложного понятия. Оно стало обозначать ложное понятие только тогда, когда под ним стали подразумевать «бесплотных духов», в каковом значении оно проникло и в другие языки, потеряв и в новогреческом языке свое первоначальное значение.

Мы уже упоминали выше, что Л. А. Булаховский в ряде случаев не дает настоящего определения рассматриваемых им понятий. Не дается в книге в сущности и определения понятия *термин*. Конечно, недостаточно сказать о терминах, что они являются «точными (насколько это вообще возможно по свойствам человеческой речи), обработанными по прямой договоренности словами» (стр. 22).

Едва ли согласится какой-нибудь языковед-лексиколог с необычным и ничем не оправданным сужением понятия «фразеологические единицы». Согласно Л. А. Булаховскому, «это обычно разложимые в смысловом отношении словосочетания, но закрепившиеся в языке как материал ходовой цитации (пословицы, поговорки, удачные выражения писателей, ставшие „крылатыми"[10] слова и т. п.) и потому получившие известную цельность» (стр. 34). Студентов и учителей средней школы, которые тоже будут пользоваться книгой, такое определение фразеологизмов повергнет в полное недоумение. Да и сам Л. А. Булаховский отступает от него, называя (на стр. 93) — и совершенно справедливо — фразеологизмами такие выражения, как французское *garder le lit* («оставаться в постели»), *epouser le parti de quelqu'un* («присоединиться к чьему-нибудь мнению»). Но эти фразеологизмы ни с какой стороны не являются «материалом ходовой цитации»!

Нельзя признать удачным и определение в книге идиоматических словосочетаний. В качестве примеров на идиомы Л. А. Булаховский приводит словосочетания, аналогичные тем, которые он в другом месте называет фразеологизмами (см. стр. 93), например: *питать пристрастие*, *питать уважение*, *привлечь к ответственности*, франц. *diriger des poursuites contre*... и т. д. Таким образом, у читателя не получается ясного представления о том, чем идиомы отличаются от фразеологизмов.

В § 16 «Синонимы» упомянуто, что глаголы «в основном служат сказуемыми — открываемыми мыслью динамическими признаками, приводимыми в связь с предметами — подлежащими» (стр. 44). Этим самым Л. А. Булаховский предвосхищает определение сказуемого, которое должно быть дано в третьей части «Введения в языкознание», посвященной грамматике, хотя надо полагать, что автор третьей части акад. В. В. Виноградов даст несколько иное определение сказуемого.

§ 19 посвящен табу и эвфемизмам. На стр. 51 дано определение эвфемизмов: это — «слова или выражения, заменяющие точные названия пугающих предметов или явлений и дающие возможность говорить о них без „опасности" вызвать стоящие за словом злые силы». Это явно слишком узкое определение эвфемизмов заставляет Л. А. Булаховского оговориться на стр. 52, что «явление эвфемизации, однако, значительно шире того, что относится к области одних суеверий», поскольку люди избегают называть некоторые предметы и действия также по соображениям приличия, вежливости и т. д. Отсюда следует, что вышеприведенное определение эвфемизмов неполно. Однако несомненно, что студенты, пользующиеся учебником, усвоят это неполное определение, а затем могут не обратить внимание на то, что дальнейшее изложение находится в несоответствии с этим определением. Следовательно, они составят себе неверное представление о том, что такое эвфемизм, а этого можно было бы вполне избежать, дав с самого начала точное, исчерпывающее определение этого понятия.

Рассматривая изменение значения слов, Л. А. Булаховский в § 21 говорит о переносе наименований по сходству признаков. Но, к удивлению, он не упоминает при этом, что в таком случае мы имеем дело с явлением, известным под наименованием «метафоры», что было бы не только естественно, но и необходимо. Лишь через две страницы он указывает на большую роль «переносного употребления слов и в первую очередь метафорического, основанного на ассоциациях по сходству» (стр. 61). Так как термин «метафорический» употреблен между прочим, то у читателя может не создаться впечатление, что весь параграф как раз и посвящен не чему-либо иному, как метафоре. Изменение значения и называние по сходству функций Л. А. Булаховский выделяет в особый параграф — против этого ничего нельзя возразить, так всегда до сих пор делалось,— но, по нашему мнению, давно пора сближать это явление с метафорой, ведь сходство функции можно вполне рассматривать как разновидность сходства (общности) признаков.

---

[9] С. Н. Виноградов и А. Ф. Кузьмин, Логика, М., Учпедгиз, 1951, стр. 20.

[10] Это понятие не разъяснено Л. А. Булаховским.

Перенесение наименований[11] по сближениям эмоционального характера нам не кажется правильным рассматривать как особый случай, так как здесь мы имеем дело, в основном, либо с метонимией, либо с метафорой. Например, перенос значения сербского слова *замука* (родственного с *мука*) «заработок» или франц *chetif* «хилый» из лат *captivus* «пленный» и чеш *lichota* «лесть» при *lichy* «фальшивый», «ложный» совершенно очевидно представляет собой метонимию, а ласкательные слова *голубка*, *соколик* — метафору.

Кстати, говоря о «влиятельных» рядах чувствований, которые возникают вместе с понятиями, выражаемыми словами, для говорящего и слушающего (почему «для»? — *Н. А.*), Л. А. Булаховский указывает, что «эти чувствования, при всем их разнообразии, не остаются изолированными в сознании людей, а в зависимости от своего характера группируются, сближаясь или отталкиваясь, причем соответствующие процессы совершаются в словесном акте, разумеется, не абстрактно, а в сильной зависимости от исторически сложившейся смысловой и эмоциональной нагрузки принадлежащих языку определенных слов» (стр. 62). Мы вынуждены, к стыду своему, признаться, что весьма мало понятно из этих объяснений Л. А. Булаховского, а потому опасаемся, что и студенты, пользующиеся учебником, немного вынесут из них для себя.

В § 28 «Расширение и сужение значения» Л. А. Булаховский пишет: «Типичное расширение объема применения представляют собственные имена, делающиеся нарицательными: *донжуан* „соблазнитель женщин“ и т. п.» (стр. 72). Расширение значения Л. А. Булаховский видит и в наименовании животных или растений собственными именами людей (там же). Это, конечно, явное недоразумение. Известно, что имени собственному не присуще никакое значение, а раз оно не имеет значения, то никаким образом невозможно расширить это несуществующее значение. Поэтому неправильно говорить о «расширении объема применения» в случае, когда собственные имена применяются как нарицательные — в собственных именах нельзя говорить об объеме, потому что это не слова в том смысле, в каком говорил В. И. Ленин, указывая, что «в языке есть только *общее*»[12] (поэтому имена собственные легко заменяются нумерами). В наименовании какого-нибудь человека *донжуаном* мы имеем дело с метафорой — мы его называем так потому, что он имеет общий признак с Дон-Жуаном и тот и другой — соблазнители женщин, все остальные их свойства могут быть при этом совершенно различны. Почему происходит и именование животных и растений собственными именами людей — сказать трудно. Может быть, в основе и здесь лежит метафора, а может быть, это происходит совершенно случайно (произвольно), хотя последнее представляется, как правило, менее вероятным. Во всяком случае, повторяем, ни о каком «расширении значения» здесь не может быть и речи.

Не во всех случаях можно согласиться с примерами Л. А. Булаховского и на сужение значения. Так, например, если слово *струна* в старославянском языке обозначало и «волос», и «струна», тогда как в современном русском языке оно имеет только второе значение, то, конечно, мы здесь имеем дело не с сужением значения слова *струна* а с простой утерей им одного значения. Сужение значения мы имели бы в том случае, если бы слово *струна* обозначало первоначально какое-нибудь более общее и широкое понятие, под которое подходили бы, между прочим, и «волос», и «струна». Потеря же словом одного значения из нескольких вовсе не обозначает сужения его значения. Неправильно говорить и о сужении значения слова *труд*, которое в древнерусском языке могло также обозначать и «страдание, горе, болезнь». Названные значения первоначальны у слова *труд*, значение же «работа», полученное им позже, вышло метонимически из этих значений, поскольку труд, тяжелая работа фактически были связаны для трудового народа со страданием, горем и болезнями. Значение «участь» у слова *часть* — результат метафорического переноса значения, а тоже вовсе не сужение значения (стр. 74). Конечно, также не с сужением значения имеем мы дело в слове *голова* в смысле начальника или в слове *хвост* в значении «несданный экзамен» на языке студентов. Это вне всякого сомнения, метафоры. Как голова возвышается над туловищем, так городской голова или стрелецкий голова возвышаются над своими подчиненными, как хвост волочится у животного (естественно, метафору дал не хвост зайца), так за студентом в течение ряда недель, а то и месяцев «тянется» несданный экзамен. Вообще о сужении или расширении значения мы можем говорить лишь в том случае, если более узкое понятие, на которое или с которого переносится наименование, входит в более широкое понятие, для которого служило или начинает служить это наименование, ср. приводимый Л. А. Булаховским на стр. 76 пример франц. *arriver* (лат. *adrip-are*), первоначально «прибывать к берегу» — понятие, естественно входящее в бо-

---

[11] Следует вообще отметить, что изменение значения в буквальном смысле слова (т. е. когда слово теряет свое первоначальное значение и приобретает новое) имеет место в языке сравнительно редко, гораздо чаще мы имеем дело с перенесением наименования с одного предмета (понятия) на другой, причем наименование (слово) сохраняет и свое первоначальное значение.

[12] В. И. Ленин, Философские тетради. Госполитиздат, 1947, стр. 258.

лее широкое понятие «подъезжать, приезжать вообще», для обозначения которого и стало служить это слово

В рассматриваемых Л А. Булаховским на стр 77 случаях употребления «отрицательных наименований как ласкательных», например, когда мать говорит шаловливому ребенку, резвость которого ей мила «Ах ты разбойник» или когда на вопрос «Кто это сочинил?» отец или мать отвечает «Моя дурочка», имея в виду похвалиться способностями своего ребенка, мы имеем, по его словам, «переключение значения в его противоположность» Едва ли с этим можно согласиться, потому что названные слова, употребляемые в таких случаях метафорически (в качестве метафорической гиперболы), вовсе не получают в устах родителей «значений» похвалы, чего то положительного, т е здесь мы вовсе не имеем дело с изменением значения слова [напомним, что указанные случаи Л А Булаховский рассматривает в параграфе (§ 29), озаглавленном «Развитие противоположных значений (энантиосемия)»] В приведенных Л А Булаховским примерах мы имеем несколько разных случаев *Разбойник* в первом случае — это гипербола к *шалун*, причем применяется она потому, что матери нравится шаловливость ребенка, но это обстоятельство не имеет прямого отношения к лексикологии Во втором случае *дурочка* употребляется уничижительно, т е здесь мы опять имеем гиперболу, но уже другого рода здесь гиперболизуется воображаемый (мнимый) недостаток способностей у дочери, которая, как это, очевидно, считается, по своему развитию должна еще стоять ниже родителей, и в то же время выставляется ее способность что то «сочинить» Так что в общем получается «унижение паче гордости» Но это тоже не имеет прямого отношения к лексикологии И в том и в другом случае гипербола имеет действительно ласкательный характер, создает определенный «интимный стиль», а потому стоит ближе к области стилистики (ср сказанное об этом Л А Булаховским на стр 13)

В главе «Лексикология» (стр 84—136) Л А Булаховский, не давая определения этого раздела науки о языке и не очерчивая его границ, сразу начинает с вопроса об основном словарном фонде Вопрос этот сложен и, как известно, в настоящее время еще весьма далек от своего разрешения Поэтому задача ученого, пытающегося во введении в науку о языке дать своим читателям какое нибудь определение понятия основного словарного фонда,— не из легких Следует отметить, что обычно во вводном курсе не рассматривают дискуссионных, не решенных наукой вопросов, а если эти вопросы в нем и затрагивают, то лишь для того, чтобы отметить их дискуссионность Но во введении в языкознание невозможно, конечно, обойти вопрос об основном словарном фонде и не дать хотя бы самого элементарного определения этого понятия. Л А Булаховский также пытается это сделать Однако при этом он ограничивается почему-то указанием на то, что следует понимать под основным словарным фондом в узком значении этого слова «слова, без которых не существуют языки вообще» и «которые мы встретим обязательно и в языках, обслуживающих самые высокие цивилизации, и в языках наиболее отсталых народов» (стр 84), т е иными словами, самые необходимые — при всяких условиях — слова В то же время он отмечает, что в основной словарный фонд с ростом культуры народа начинают входить и не обязательно необходимые слова (в узком значении понятия «основной словарный фонд»), но обязательно известные — слова общеупотребительные и общепонятные (стр 85) Л А Булаховский не приводит никаких признаков, характерных черт слов основного словарного фонда, о которых неоднократно говорилось в помещенных в разных периодических изданиях работах Правда, называвшиеся в этих работах признаки основного словарного фонда не очень убедительны, но и на основании сказанного Л А Булаховским студенты не смогут получить ясного представления об этом предмете

Однако наиболее существенным недостатком объяснений Л А. Булаховского является, с нашей точки зрения, то, что он не подчеркивает значение основного словарного фонда в создании устойчивости языка, не подчеркивает того, что язык, постоянно изменяясь в своем лексическом составе, продолжает оставаться тем же самым благодаря сохранению в нем определенного количества слов — однородного для ряда эпох, но меняющегося на протяжении более длительных периодов в развитии языка Эти слова и представляют собой как раз основной словарный фонд языка

В главе «Лексикология» Л А Булаховский снова касается вопроса об изменении значения слов (см «Переносное употребление слов», § 33), о котором речь уже шла в первой главе, хотя, в основном, говорит здесь о метафоризации, приводя, впрочем, примеры и на другие случаи изменения значения, например *расчет* (мелкая армейская единица) (неточно! — *Н А*), *смена* (молодое поколение), где изменение значения произошло метонимически Несомненно, изменение значения слов является одним из средств развития (обогащения) словарного состава языка однако то обстоятельство, что о нем речь была уже выше, в главе «Семасиология», заставляет Л А Булаховского несколько повторяться, но, с другой стороны, в названном параграфе совершенно недостаточно показано, каким путем изменение значения слов способствует обогащению словарного состава Для этого нельзя было бы не затронуть вновь вопрос об омонимах, который также рассматривался раньше

§ 34 Л А Булаховский посвящает словообразованию, в § 36 касается очень интересного вопроса — словопроизводства в системе частей речи Почему то Л А Булаховский не упоминает о том, что под словообразованием понимают все средства образования новых слов, а под словопроизводством только образование их с помощью аффиксов Вызывает удивление, что упомянутые параграфы отделены друг от друга параграфом, где рассматривается эмоциональная лексика, поэтому § 35 оказывается явно не на месте

Говоря в § 37 о собственных именах, вышедших из нарицательных, и нарицательных, вышедших из собственных, Л А Булаховский почему то не упоминает, что в словах *ватман, френч, галифе, батист* и т д мы имеем особыи случаи метонимии, когда понятие получает наименование по случаиному признаку Это, конечно, не тот случаи, которыи мы имеем при употреблении в качестве нарицательных — собственных имен, как *меценат, донькихот донжуан* и т д , но об этом различии надо было сказать В этом же параграфе имя *Владимир* разъяснено как «владеи миром» Нам кажется, что не следовало бы приводить в учебнике спорную этимологию слова

Едва ли можно согласиться с Л А Булаховским, когда он в § 38 относит к словам, придуманыим отдельными лицами, слова *газ, лилипут* и слова *теократия, утопия* (и чешское *robot*) Если два первых слова действительно произвольно сочинены отдельными лицами так же как и не упомянутое Л А Булаховским слово *кодак*, то последние не сочинены, а образованы от существующих корнеи, подобно множеству других — технических терминов *телефон, телеграф микрофон, граммофон* и т д Смешение этих совершенно различных случаев не может способствовать ясности и точности изложения

Раздел «Заимствование слов» (стр 110—130) представляется нам одним из самых удачных в книге Вопрос рассмотрен достаточно полно, и приведено много интересных примеров, которые несомненно могут возбудить интерес учащихся к языкознанию. Не совсем ясно, для чего Л А Булаховский выделил в особыи параграф «проникновение аффективно окрашенных слов», поскольку пути их проникновения в язык не отличаются от таковых у других слов

В главе «Лексикография» (стр 137—159) достаточно полно и подробно описаны отдельные виды словареи Нам только казалось бы, что описывать «одноязычные словари» удобнее было бы в другом порядке толковые словари, отраслевые словари, словари идиом, фразеологические словари, исторические словари, этимологические словари, словари иностранных слов Почему то в числе описанных словареи отсутствуют фонетические и орфографические словари

В главу «Этимология слов» (стр 160—174), которая, как было упомянуто выше, помещена не на месте, следовало бы, если бы она была на месте, внести несколько иное содержание, а именно здесь следовало бы раскрыть содержание понятия внутренней формы слова, показать причины утраты словами внутреннеи формы, а отсюда переити к «народной этимологии»

Мы уже отмечали некоторые неточные и ни неудачные формулировки Л А Булаховского, но, к сожалению, в книге можно найти и еще несколько таких формулировок Так, на стр 47 говорится «Поскольку омонимия представляет собои стирание различительных примет между значениями слов, ее принципиально относят к отрицательным явлениям языка » и т д Очевидно, правильнее было бы сказать, что омонимия представляет собои стирание различительных примет между словами различного значения

На стр 48 Л А Булаховский говорит « в ряде орфографий не проявляется никакой серьезнои заботы избегать одинаковых написаний (о м о г р а ф о в, о м о г р а м м) даже в случаях, где в живом произношении фактически нет омонимии благодаря различиям в фонемах, в месте ударения, в интонации Для истории русского правописания характерны в этом отношении, например, уничтожение былого различия *е* и *ѣ* или отказ обозначать место ударения у слов, которые иначе представляли бы омографы» Что имеет в виду здесь Л А Булаховский, без соответствующих примеров не может быть ясно студенту I курса, да и не только ему

На стр 102 указывается, что «подавляющее большинство слов составляют так называемые н а р и ц а т е л ь н ы е — слова, обозначающие различного рода признаки частные или общие», причем, между прочим приводятся примеры *дом, день, лето, человек*, которые, как известно, не обозначают никаких признаков

На стр 132 допущена серьезная неточность «Как в свое время отметил его (Энгеля — *Н А*) критик из социалистического лагеря Ф Меринг,— читаем мы здесь,— лишь только в поле внимания Энгеля попадают п р е д с т а в и т е л и м а р к с и з м а, тон его „обличений" „неправильного" делается особенно „сердитым" Он, например, „обличает" блестящего теиста Ф Лассаля » и т д Как известно Фердинанд Лассаль никогда не был «представителем марксизма», и это не может не знать Л А Булаховский

В книге есть ряд описок и опечаток Так, на стр 26 англ *great-grandson, great-granddaughter* (с опечаткой *granddangther*) и *great-grand children* дословно переведены:

«большой великий внук» (должно быть «сын»), «большая великая внучка» (должно быть «дочь») и «большие великие внучата» (должно быть «дети») На стр 118— французское слово *matelot* отнесено к норманизмам Это ошибка, потому что слово это голландского происхождения (*maatgenoot* — собственно «однокашник») На стр 11 напечатано древнеалеманский — должно быть древнеалеманнский, на стр 12 напечатано *Krahn* — должно быть *Kran* (<*kranich* «журавль»), на стр 42 напечатано *profonde silence* — должно быть *profond silence*

*

К каким же выводам мы приходим рассмотрев новую работу Л А. Булаховского? Несмотря на то, что в книге собрано довольно много интересного и поучительного, в общем ее нельзя признать удачной В начале нашей рецензии мы упоминали о том, какие требования предъявляются к учебнику, и поставили перед собой задачу выяснить, в какой мере книга Л А Булаховского удовлетворяет этим требованиям Необходимо признать, что она удовлетворяет им в очень малой степени Прежде всего, изложение в книге, как мы на это указывали в своем месте недостаточно систематично Расположение в ней материала вызывает самые серьезные возражения В ряде случаев в книге не дается точных определений разбираемых в ней понятий, а некоторые определения должны быть признаны совершенно неудачными Далеко не во всех случаях можно согласиться также с толкованием рассматриваемых явлений Нередко и ясность изложения оставляет желать лучшего Несомненно, что книга требует коренной переработки

Н М Александров

Л А Булаховский **Введение в языкознание.** Ч II — М , Учпедгиз, 1953. 179 стр

Недавно в Учпедгизе вышел в свет второй выпуск учебника «Введение в языкознание», написанный одним из виднейших исследователей в области русского литературного языка и славистики, членом корреспондентом Академии наук СССР, проф Л А Булаховским

Нечего и говорить о том, что новый учебник, в частности вторая его часть, по методологическим установкам, по систематичности, глубине анализа, по филологической широте не идет ни в какое сравнение с лингвистическими пособиями которыми располагали наши студенты прежде — в период господства марризма и «аракчеевского режима» в языкознании Многие языковые проблемы, в прежних учебниках лишь поверхностно намеченные и неверно решенные, получили в этой книге углубленное, подлинно научное истолкование

Задачей настоящей рецензии не является полная и всесторонняя оценка книги проф Л А Булаховского Мы не будем характеризовать ее больших и неоспоримых достоинств, а остановимся только на недостатках и пробелах учебника Прежде всего — о некоторых общих недостатках книги в целом

1 Работа проф Булаховского является второй частью учебника «Введение в языкознание», но читатель не видит никакой преемственности между первой и второй частями Нигде автор не ссылается на своего предшественника, не отсылает читателя к первой части, тогда как это было бы вполне естественно сделать, например, в §§ 2 3, 6, 7, 20, 69, 70 и др

2 Теоретические положения в рецензируемой книге в значительной части представлены как бесспорные Автор учебника нигде не фиксирует внимания читателя на том, в какой стадии находятся исследования в той или иной области науки о языке, какие вопросы являются спорными и нерешенными, какие различные точки зрения высказаны по тем или иным вопросам Прочитав книгу проф Булаховского, студент подумает, что все в языкознании уже окончательно решено и что делать исследователю в этой области больше нечего

3 Весьма странным и немотивированным представляется тот факт, что автор учебника дает библиографию лишь к двум главам — к «Лексикографии» и «Этимологии слов» Две другие — «Семасиология» и «Лексикология», наиболее значительные и по объему, и по теоретическому интересу, библиографическим списком не сопровождаются

4 В некоторых параграфах учебника неприятное впечатление производит избыток цитат Так, на страницах 7, 8, 9 й почти нет авторского текста всего 28 строк (это на целых 3 страницы!) То же относится и к ряду других параграфов учебника Такое соотношение авторской речи и цитатного материала вообще недопустимо, а для учебного пособия — в особенности

5 В заключение отметим следующий недостаток книги в ней много лишнего и неясного, спорного (без указания автора на то, что это спорно) и случайного В первую очередь наше замечание относится к тем параграфам, где рассмотрение языка как непосредственной действительности мысли, как специфического общественного явления подменяется рассмотрением различных форм субъективно-эмоционального осмысления слова Таковы, например §§ 9, 11, 14, 15, 23 25, 27 В то же время недостаточно развернуты важнейшие темы, которые должны бы были составить костяк соответствующих разделов книги идиоматика и фразеология, словарный состав языка и его связь с основным словарным фондом, словообразование и его закономерности в языках различного строя, проблемы диалектов и жаргонов, синонимики и речевых стилей

Обратимся теперь к более подробному рассмотрению той главы, которая занимает около половины книги и которая вызывает наибольшее количество возражений — главы «Семасиология» (стр 7—83) Напомним, что в прежних учебниках такого раздела вообще не было Приверженцы «нового учения» о языке весьма переоценивали значение семасиологии и сводили к ней и лексикологию, и грамматику То, что проф. Булаховский посвятил специальную главу этой лингвистической дисциплине,— факт весьма положительный Но некоторые параграфы этой главы вызывают недоумение Выше отмечалось, что автор иногда подменяет рассказ о языке как специфическом общественном явлении рассуждениями о субъективно-эмоциональном осмыслении слова В самом деле, присмотримся к содержанию некоторых перечисленных выше параграфов § 11 озаглавлен «Профессиональные предпосылки понимания слова» В этом параграфе автор говорит, что бухгалтер и артиллерист по-разному воспримут слово *расчет*, домохозяйка и пулеметчик — слово *очередь*, врач и финансист (?) — слово *операция* Плодотворны ли эти рассуждения? Нужно ли было их выделять в отдельный параграф? Ведь тремя страницами выше, в § 10 «Слово и контекст», уже было сказано — и совершенно справедливо — о том, что «не взяв слова в его фразном окружении мы в ряде случаев понимаем его смысл только довольно приблизительно» (стр 27) можно было бы там же упомянуть о том, что автор не вполне ясно именует «профессиональными предпосылками понимания слова» Совершенно излишне выделение в особый параграф и того материала, который составил § 25 «Значения, возникающие по сближению звучаний слов» В нем говорится о том, что в русском языке, например, слово *художество* неправомерно возводится по звучанию к слову *худо*, а слово *давлеть* связывается со словом *давить* Какое это имеет значение для семасиологии как лингвистической дисциплины? Ведь речь идет о типичных ошибках о которых можно было бы тоже сделать замечание в скобках или, в лучшем случае, в параграфе, повествующем о так называемой «народной этимологии» (§ 71) Здесь же это все неуместно в контексте главы о семасиологии названные ошибки вырастают в важную семантическую проблему, каковой они ни в малейшей степени не являются

Наиболее серьезные возражения вызывает § 12 «Идиомы и фразеологические единицы» Прежде всего непонятно почему автор не указывает на то, что идиомы тоже относятся к области фразеологии Следовало бы рассказать о трех охарактеризованных В В Виноградовым классах фразеологических единиц — о фразеологических сращениях, фразеологических единствах, фразеологических сочетаниях Автор же говорит лишь о двух типах выражений — об идиомах и единицах Что же понимает он под этими типами выражений? «Фразеологические единицы (фразеологизмы),— пишет он на стр 34,— это обычно разложимые в смысловом отношении словосочетания но закрепившиеся в языке как материал ходовой цитации (пословицы, поговорки, удачные выражения писателей, ставшие „крылатыми" слова и т п) и потому получившие известную цельность» Нетрудно заметить, что это определение, весьма неудачное и по существу, и по форме возвращает нас к стародавнему пониманию термина «фразеология», свойственному, например, М И Михельсону — автору словаря «Русская мысль и речь» [1], работу которого проф Булаховский характеризует в § 64 По проф Булаховскому выходит, что фразеологическая единица — материал ходовой цитации» Это совершенно неверно В В Виноградову принадлежит следующее определение этого типа словосочетаний Фразеологические единства пишет он, « тип устойчивых тесных фразеологических групп которые тоже семантически неделимы и тоже являются выражением единого, целостного значения но в которых это целостное значение мотивировано, являясь произведением возникающим из слияния значений лексических компонентов» [2] Далее В В Виноградов указывает на свойства этого типа сочетаний они, говорит он, «потенциальные эквиваленты слов», хотя по внешнему виду могут совпадать со свободными сочетаниями слов Не высказав своего отношения к приведенному определению фразеологических единств, проф Булаховский формулирует свою точку зрения в весьма категорической форме без специальной аргументации И в результате читателю трудно понять, почему фразеологическими сочета-

[1] М И Михельсон Русская мысль и речь, СПб , 1912.
[2] В В Виноградов, Русский язык, М — Л Учпедгиз 1947, стр 24

ниями являются цитата из Некрасова «цинизм, доходящий до грации» (кстати цитата, почти никогда и никем не повторявшаяся), слова Сатина из горьковского «На дне» «В карете прошлого далеко (или никуда) не уедешь» и даже длинная цитата из И В Сталина «Техника во главе с людьми овладевшими техникой может и должна дать чудеса» При таком понимании фразеологизма термин этот вообще перестает что либо значить· он становится разве что синонимом понятия «цитата», пусть — часто приводимая

Весьма нечетко и определение данное проф Булаховским идиоме Идиомы — в его формулировке — это « своеобразные выражения определенных (?) языков, являющиеся по своему употреблению цельными (?) и едиными по смыслу (?), обыкновенно не поддающиеся точной передаче на другие языки (?) и требующие при переводе замен сходной стилистической окраски» (стр 33) Определение это нечетко не только потому что отдельные составляющие его элементы плохо выражены но еще и потому, что на первый план выдвинута непереводимость идиомы, т е такое ее свойство которое является производным Обратимся снова к формулировке акад Виноградова Он так определяет фразеологическое сращение « тип словосочетании абсолютно неделимых, неразложимых, значение которых совершенно независимо от их лексического состава, от значений их компонентов и так же условно и произвольно как значение немотивированного слова-знака» [3]. Здесь все точно и недвусмысленно Отсюда ясен и тот вывод, который в дальнейшем изложении делает В В Виноградов соотношение компонентов фразеологического сращения с самостоятельными словами языка — омонимично При такой формулировке всякие рассуждения о невозможности перевода «слово за слово» (а не о невозможности «точной передачи на другие языки», как двусмысленно пишет проф Булаховский), если и были бы нужны, то лишь как иллюстрации, в то время как у проф Булаховского они выступают в неподходящей им роли аргументов

Вероятно, это ошибочное использование переводных иллюстраций в качестве аргументов и привело автора к многочисленным ошибкам и нелепостям, которых на стр 33 почти столько же, сколько строчек Например, *привлечь к ответственности* по-немецки отнюдь не *vor Gericht ziehen* а уж скорее *zur Verantwortung ziehen* первое же сочетание вообще не существует (говорят *vor Gericht stellen*[1]) а все это как на русском так и на немецком языке отнюдь не идиома, а скорее всего фразеологическое сочетание *Faire fiasco*, *faire echec* не значит «терпеть поражение» но «потерпеть неудачу» («провалиться») переводить же это выражение, в котором глагол *faire* семантически опустошен и почти полностью грамматизован, так, как это делает автор («делать поражение»), нелепо Соответствующее французское выражение *essuyer une defaite* почему-то вовсе не приведено Русское выражение *впух и впрах разбить* проф Булаховский переводит на французский язык выражением *reduire a neant* (что значит «истребить», «уничтожить») и *battre a plate couture*, по поводу которого автор дает анекдотический комментарий «приблизительный смысл — пишет он,— „разбить в гипс" (platre)» Причем же тут гипс? *Couture* — значит «шов», и данное выражение может значить, например, «сбивать швы» Проф Булаховский спутал *plate* «плоская» и *plâtre* «гипс» и только ввел в заблуждение читателя Примеры можно умножить Но дело не в примерах и не в отдельных, пусть даже немалочисленных, но частных ошибках Дело, конечно, в неверной, ложной концепции Впрочем проф Булаховский на ней не настаивает Так на стр 93 он называет «фразеологизмами» французские выражения *garder le lit* («оставаться в постели»), *l eau dormante* («стоячая вода») *«pouser le parti de quelqu un* («присоединиться к чьему-нибудь мнению») Напомним что выше, на стр 31 фразеологизмы были определены как «обычно разложимые в смысловом отношении словосочетания но закрепившиеся в языке как материал ходовой цитации (пословицы, поговорки, удачные выражения писателей, ставшие „крылатыми" слова и т п) и потому получившие известную цельность» А что в этом отношении представляют собой *garder le lit* или *l eau dormante*? «Материал ходовой цитации»? Тот факт что автор непоследователен в проведении своей же концепции, говорит о том, что эта концепция не очень для него безусловна и что, обращаясь к конкретному языковому материалу он сплошь и рядом отрекается от своих формулировок А как же быть читателю студенту уже прежде усвоившему сказанное про «материал ходовой цитации», а теперь сталкивающемуся с чем-то совсем непохожим? Такие вещи, недопустимые ни в какой печатной работе, особенно нежелательны в учебном пособии

Странное впечатление оставляет важный для главы и для всей книги § 24 «Метонимические изменения значений» О метонимии не сказано многое очень существенное для понимания этого языкового явления, например что метонимия, в отличие от метафоры основана на переносе значений по логической связи, а не по чувственно воспринимаемому сходству что метонимическое сочетание обычно близко к фразеологизму и не подлежит разрушению расчленению на элементы наконец что в основ-

[3] В. В. Виноградов, указ соч., стр 22

ном, роль метонимии в языке сводится к конкретизации абстрактных понятий. Вместо этого дано такое определение метонимии, из которого ровно ничего нельзя уразуметь: «Чаще всего метонимия представляет замену („сгущение") полного наименования сосуществующих в предмете признаков отдельными, в том или другом отношении представляющимися существенными или показательными (яркими)» (стр. 65). Не будем останавливаться на стиле этой формулировки, из-за которого это предложение невозможно прочесть вслух. Что вообще значит «сгущение полного наименования признаков»? Что значит «замена наименования» «отдельными признаками»? А на стр. 66 мы наталкиваемся на другую, не менее темную и нескладную формулировку, из которой тоже ни один студент никогда ничего не поймет: «Метонимизируемые (?) слова и выражения замещаются другими, сжато и потому более выпукло передающими то, что в реальных (?) предметах, действиях и т. д. находится между собой в связях пространственных, временных, причинных и т. п.».

Вообще необходимо обратить внимание автора на то, что его учебник изобилует излишне сложными, темными формулировками и определениями. Это, как ни странно, имеет место даже во многих наименованиях параграфов. См. § 11 «Профессиональные предпосылки понимания слова», § 27 «Признаки переименования», § 39 «Развитие лексики как приспособление старого содержания к потребностям нового мировоззрения» и пр. Или, например, возьмем такое предложение: «Едва ли по поводу каждой литературно обработанной фразы можно предполагать, что составивший ее, искусный писатель или вообще человек, владеющий литературной речью, оттолкнулся при построении ее от подвертывавшихся ему одинаковых или близких по звучанию слов и, строя фразу, заменил соответствующие слова синонимическими» (стр. 42). Эту очень простую мысль можно было и выразить просто. На стр. 104 автор пишет: «Особенно много слов, производных от собственных имен, снабженных морфологическими приметами производства». Совершенно непонятно, о каких «морфологических приметах» производства идет речь. Примеры не рассеивают недоумения читателя: первый из них гласит: «*Вольт* — „единица электродвижущей силы"... от фамилии Вольта». Ну и что же? Каковы же эти «морфологические приметы производства» в слове *Вольт*?

Неудачные формулировки еще не основной недостаток учебника. Совсем плохо, когда автор излагает положения, научно, идейно и политически непродуманные. Он утверждает, например, о словообразовательных средствах эмоционального характера, что «их число и частость (??) употребления чем далее, тем все более сокращается, свидетельствуя с известной определенностью о том, что у культурного человека ряд эмоций, дававших о себе знать в период установления литературного языка, идет на убыль с дальнейшим ростом и широтой культуры» (стр. 95). Это «положение» иллюстрируется сокращением числа ласкательных и уменьшительных суффиксов. До сих пор мы думали, что «с ростом и широтой культуры» обогащается, совершенствуется духовная жизнь человека, в том числе и мир его эмоций. Отчего же вдруг уменьшается число ласкательных суффиксов? Это явление надо объяснять совсем иначе. На стр. 132 мы читаем удивительное по своей мягкости и беззубости рассуждение о проведенных фашистами мероприятиях по «онемечению» языка. Проф. Булаховский пишет о том, какое «впечатление производит подчеркнутый пуризм мощного, культурно развитого народа (?!), когда грубо националистические настроения делаются в нем господствующими, подчиняют себе (?) все важное в культурном процессе и приобретают, не будучи сдерживаемы факторами интернационального порядка, определенно шовинистически наступательный характер... Языковая политика начинает тогда отражать очень небезопасное направление в идеологическом состоянии влиятельных кругов народа...» Здесь автор несомненно проявляет излишнюю склонность к эвфемизмам. Так ли нужно в советском учебнике писать о фашизме? Всю эту либеральную, беззубую характеристику следует в корне переделать.

Отметим в заключение, что учебник проф. Булаховского весьма небрежно редактировался. Редактор не заметил не только указанных выше небрежностей и нелепостей,— он пропустил и великое множество прямых ошибок и опечаток, в особенности в иноязычных примерах. Не повезло, в частности, французскому языку. Помимо указанных выше ошибок на стр. 33, отметим: *l'embouchure de rivière* (стр. 12) вместо... *de la rivière*; *profonde silence* (стр. 42) вместо *profond*; *un visage labouré par les cicatrices* (стр. 148) вместо... *des cicatrices* и пр. и пр.

*

Мы отнюдь не стремились к тому, чтобы перечислением пробелов, ошибок, неточностей заслонить все то ценное, что имеется в рецензируемой книге. Но именно потому, что в основе своей книга проф. Булаховского интересна, содержательна, богата новым и живым материалом, автору следует как можно скорее ее переработать и выпустить в свет новое издание, лишенное отмеченных недостатков.

Е. Г. Эткинд

Э. Бурсье. **Основы романского языкознания.** — М., Изд-во иностр. лит-ры, 1952. 672 *стр.* *

Книга покойного бордосского романиста Эдуарда Бурсье (ум. в 1946 г.) «Основы романского языкознания» предлагается теперь читателю в русском переводе вслед за «Исторической фонетикой латинского языка» М. Нидермана [1] и «Исторической морфологией латинского языка» А. Эрну [2]. Все три книги неизменно включаются в список пособий в наших программах по романистике, а так как соответствующих русских руководств пока нет, то имеющийся перевод указанных книг облегчит, конечно, работу советского романиста и, следовательно, вполне оправдан. Другое дело, в какой мере эти книги удовлетворяют нашим требованиям с точки зрения педагогической и лингвистической.

Книга Бурсье хорошо известна нашим романистам с 1910 г., когда появилось первое ее издание, значительно меньшее по объему и больше приближавшееся к типу учебного пособия. С той поры автор, повидимому, все время работал над ней, внося поправки и дополнения, которых требовали развитие науки и его преподавательская практика. Но план книги и изложение ее остались такими, какими они были задуманы более 30 лет назад. Следовательно, в основном, они удовлетворяли автора. В предисловии к третьему изданию, которое следовало бы включить в русский перевод, Э. Бурсье высказал несколько соображений, которыми он руководился при написании своей книги. Это предисловие в соединении с некоторыми положениями самой книги позволяет понять его намерения и установки, а это крайне важно для того, чтобы правильно оценить его работу.

Содержание книги Бурсье посвящено: 1) характеристике словаря и строя латинского языка классической поры; 2) прослеживанию постепенной дифференциации латинского языка и процесса образования на его основе романских языков; 3) характеристике словаря и строя основных литературных языков современной Романии. Автор ни на минуту не забывает, что работа его — учебное пособие (manuel); отсюда — тщательный отбор материала с точки зрения его показательности, четкая и единообразная его группировка на протяжении всей книги и предельно ясное и простое изложение. Но, имея в виду будущего специалиста, Бурсье сохраняет серьезный научный тон и ставит себе задачей дать сжатый очерк достижений романского языкознания за последние полвека — со времени смерти Дица (1876). Под достижениями он разумеет, однако, то, что приемлет его положительный, трезвый и несколько консервативный ум ученого, сложившегося в школе филологов-романистов Г. Париса и П. Мейера и языковедов де Соссюра и А. Мейе. По его собственному признанию, он не считался вовсе с теми «амбициозными и шумливыми теориями», которые претендуют время от времени на полное обновление фонетики, синтаксиса и лексикологии и успех которых недолговечен. Подлинная наука творится медленно, но работает точно. Однако это не значит, что она должна заниматься исключительно мелочами и чуждаться размаха. Бурсье напоминает читателю слова Аристотеля о том, что наука — это стремление к общему. В науке о языке пришло время, думает Бурсье, обратить особое внимание на изучение форм, ибо не составляют ли они в языке, в известном смысле, всего? *(стр. X—XI предисл. к 3-му изд.)*[3].

Таковы мысли и научные симпатии, которые определили тон книги Бурсье. Эти мысли автор хотел бы привить своему читателю. Он считает эту задачу тем более своевременной, что положение романистики как науки и как предмета преподавания во Франции накануне 30-х годов внушало старому университетскому деятелю некоторую тревогу и заставляло с сожалением вспоминать об иных лучших временах. Недостаточный интерес к проблемам романистики и рутина в руководящих кругах, ориентация на соображения, не имеющие ничего общего с наукой, закулисные влияния, часто неудачный подбор людей на важных участках работы — вот те факты, которые давали в то время Бурсье повод к опасениям, основание для которых, в известной мере, имеется и в настоящее время. Отсюда не следует, однако, смотреть на Бурсье как на панегириста прошлого. Он полон уверенности, что кризис будет изжит, так как во Франции налицо ростки здорового движения. В конце предисловия к третьему изданию Бурсье говорит о том, что был бы рад, если бы его труд содействовал дальнейшему развитию

---

* Русский перевод сделан с 4-го франц. издания (E. Bourciez, Éléments de linguistique romane, Paris, 1946) Т. В. и Е. В. Вентцель, под ред., с предисл. и примечаниями Д. Е. Михальчи.

[1] M. Niedermann, Précis de phonétique historique du latin, Paris, 1945; рус. перевод — М. Нидерман, Историческая фонетика латинского языка, М., Изд-во иностр. лит-ры, 1949.

[2] A. Ernout, Morphologie historique du latin, Paris, 1945; рус. перевод — А. Эрну, Историческая морфология латинского языка, М., Изд-во иностр. лит-ры, 1950.

[3] В дальнейшем в тексте в скобках даны ссылки на параграфы обсуждаемой работы Э. Бурсье.

прогрессивного движения и пробудил интерес к широким постановкам проблем романистики Все эти высказывания общего порядка очень характерны для Бурсье

О том, на каких более конкретных теоретических положениях основана его книга, можно судить по ее вступительной части (§§ 1—32), посвященной некоторым общим вопросам языкознания, характер постановки которых в высокой степени показателен для позиции Бурсье как лингвиста В этой части автор излагает свои взгляды на функционирование речи и процесс ее развития Все его высказывания проиллюстрированы, правда, только латинским материалом, но это не умаляет их значения для оценки Бурсье как языковеда Сущность его утверждений сводится к следующему

Основная функция речи — передача с помощью звуков мысли говорящего слушающему Звуки речи тесно связаны со значениями, они — материальное проявление мысли Анализ языкового материала позволяет установить определенную взаимосвязанность различных сторон языка, рассматривать его как известную систему

Коммуникативная функция языка предполагает само собой разумеется, тождество языковых систем у говорящего и у слушающего При общей устойчивости языковой системы изменения ее происходят медленно и постепенно (§§ 23—25), неравномерно в различных сторонах языка, например, фонетика более подвижна, чем синтаксис (§ 31) Основными моментами, управляющими изменениями языка, во всех его аспектах и на всех стадиях развития по мнению Бурсье, являются «экономия усилий» в речи и «подчеркивание того, что необходимо» (§ 32) В области фонетики под воздействием этих моментов происходит стирание и выпадение безударных слогов и усиление гласного ударного слога, являющегося стержнем вокруг которого группируются звуки, воплощающие мысль, в результате чего ударенный гласный может удлиняться, дифтонгизироваться и т п В области морфологии те же причины приводят сперва к упрощению системы окончаний, а затем — к полному стиранию их, к возникновению форм, выраженных описательно (анализ) Огромную роль в процессах фонетических и морфологических изменений играет аналогия, так как составные части речевой материи существуют не изолированно, а находятся друг с другом в определенных ассоциациях, формальных и семантических Аналогия — это та сила, которая нарушает прямолинейность движения в языковом развитии Она содействует отбору слов, т е замене старых слов новыми [например *emere* заменяется латинским же *comparare* (на севере Галлии — *accaptare*), *bellum* — германским *uerra*, *sol* (рум , итал , исп , португ , беарн) — уменьшительным *soliculus* (в Галлии, Ретии и т д)], перестройке их форм (например *gravis*, перестроившиеся во французском по типу *levis*, так как эти два полярных прилагательных в нашей памяти ассоциированы, *puppis* превратилось в *puppa*, может быть под влиянием связанного с ним *prora*, *mittere ad patrem* семантически напоминает *dare patri*, откуда *dare ad patrem*, *unus eorum* стояло рядом с *unus de*, *ex iis*, что позволяло обобщить последний оборот, *venum dare* где *dare* давало в перфекте *dedi*, подсказало замену *vendidi* формой *vendedi*, *aggredior dicere* вытеснялось *aggredior ad dicere*, ибо параллельно существовало *aggredior ad dicendum* и т д)

Такова, вкратце, по мнению Бурсье основа всех и всяких изменений, переживаемых языком Экономия сил и труда является в этих изменениях не самостоятельным началом, а естественным следствием тенденции к «подчеркиванию» («усилению») в мысли нужного Например, неударенные гласные слова лучше сохраняются и менее стираются в его лексической форме, нежели в потоке связной речи то же самое происходит с окончаниями падежных или глагольных форм Однако, например, дифтонгизация гласных, требующая увеличения усилий, может происходить и вопреки принципу экономии сил и труда, причем невозможно определить количественные отношения между этими двумя моментами Равным образом, если постепенный переход к утрате падежных форм и замене их многообразных значений выражениями с предлогами как будто сокращал усилия говорящего то новая роль предлогов требовала увеличения их числа, т е делала употребление их более трудным Паратаксис гораздо проще позднейшего подчинения предложений при помощи многочисленных союзов — частью старых, частью новых

На смену уходившим из речи синонимам появлялись новые, и в значительно большем числе, ибо восприятие жизни усложнялось Объяснение языковых изменений стремлением к «подчеркиванию» смысла, к осуществлению большей выразительности не оправдывается языковым материалом (так, для римлянина древней поры будущее время *faciam* было не менее выразительно, чем *habeo* или *volo facere* для представителя более поздних веков) Решающую роль играет здесь иное содержание мысли, иная ее направленность, неизбежно становящаяся, в конечном счете, отправной точкой дальнейшего усовершенствования языка Бурсье видит в языковых изменениях главным образом, так сказать, формальную или, лучше сказать, количественную сторону В области лексики, например, по мнению Бурсье, все движение сводится к расширению или ограничению смысла, новые же слова — результат стремления быть быстро понятым Не учитывается направленность процессов В романских языках, например, *focus* вытеснило *ignis* Почему? А потому, что *focus* «очаг» стало обозначать

содержимое очага, т е огонь. Но почему, при каких условиях подробность эта оказалась решающей настолько, что старое обозначение огня исчезло из обращения? В силу тесных связей между вещами, отвечает Бурсье (§ 29) Но ведь эта сторона *focus* могла восприниматься вследствие давности связи и ранее Почему же такая подробность оказалась решающей при ее выражении? Или почему *soliculus* вытеснило в Галлии старое *sol*, а *coq* — старое *gallus* Ясно, что ответа надо искать анализируя те условия, среду, в которой находились говорящие (принимая во внимание уровень их культуры), в отношении среды к окружающему миру, в ее истории

В цитированном выше § 29 Бурсье говорит о зависимости лексики от различных политических и социальных условий, скажем коротко — от истории пользующегося ею народа, но он тут же замечает, что «внешние условия не могут служить основой для классификации явлении, которые с психологической, а следовательно, и с лингвистической точки зрения должны делиться именно на указанные выше категории», т е слова с расширенным либо ограниченным или облагороженным либо деградированным значением Но если в силу медленного темпа развития языка языковые явления нельзя распределять по «внешним условиям», если языковые формы данной эпохи могут обслуживать и другую эпоху, то это не значит еще, что при изучении изменении языка условии этих не следует учитывать Одной своей стороной язык может реагировать на них быстрее, другой — медленнее, но в целом он, конечно, связан с историей того общества, материальным выражением мыслеи и чувств которого он является Периоды истории языка в целом и в частностях будут, конечно, отличаться от периодов истории того народа, который на нем говорит и его творит, но это ни в коеи мере не устраняет исторической обусловленности происходящих в языке изменений

После сказанного становится понятным содержание и построение тех частей книги Бурсье, которые обращены непосредственно к истории языка Вторая часть ее посвящена первоначальному романскому периоду Она открывается главой «Новые исторические условия» (§§ 137—149), и это вполне естественно Однако читатель тщетно будет искать в ней чего нибудь большего чем краткие справки чисто внешнего характера Содержание ее сводится, с одной стороны, к констатации упадка классической культуры, в силу которого «народная речь» стала свободно распространяться во всех слоях общества, так как школа перестала служить этому противовесом, а с другой стороны — к сообщению кратких сведений о вторжении германцев о передвиж ении славян и арабов, нарушивших связи между отдельными частями Романии и сильно изменивших состав ее населения В заключение дается краткая характеристика феодализма, довершившего процесс дробления внутри каждой отдельной части Романии.

В языковом отношении происходил процесс перестройки старого языка, проникновение в него инородных элементов и черт и все увеличивающееся образование местных разновидностей внутри отдельных романских языков Перед читателем проходит длинная вереница фактов из области словаря, фонетики, морфологии и синтаксиса, хорошо подобранных и систематизированных во всех рассмотренных языках по одному плану Но при всем этом автор не дает никаких разъяснений общей направленности в перестройке языка, условии перехода к аналитическому строю, характера новшеств в лексике и т п , не вскрывает их связей с историей общества и культуры Он предпочитает оставаться в пределах изучения самого языка, но, оставаясь в этих пределах, минует такие существенные вопросы, как вопрос о языковом субстрате, о взаимоотношении отступающего и наступающего языков ограничиваясь, например в связи с образованием *u* < *u* коротким замечанием о возможности в данном случае «этнического влияния» (§ 157) Переход этот он считает поздним и относит его ко времени после VIII в , ссылаясь на отсутствие *u* в каталанском языке, который около этой поры обособился от провансальского А между тем проникновение *u* из более северных областей на юг могло произойти и позднее и в ограниченных пределах ссылка же на каталанский язык предполагает признание его исконного единства с провансальским — положение, которое далеко не является, как известно общепринятым

Посвящая первую часть своей книги латинскому языку, Бурсье ограничивается тем, что характеризует строи и состав классического языка в его статическом состоянии (§ 4), почему он очень бегло говорит о нелатинских и неклассических его чертах и элементах, минуя, таким образом по существу вопросы, связанные с историей языка (ср §§ 41—42) Таковы замечания Бурсье о так называемой «вульгарной латыни» которую он склонен отождествлять с языком народа, хотя даже приводимые им цитаты из Цицерона и Квинтилиана говорят в пользу термина «обиходная» латынь (нем Umgangssprache) [4] Но вопрос здесь не столько о термине, сколько о строе и словарном составе обиходного аспекта языка Рассмотрение этого вопроса должно было неизбежно вовлечь автора в круг тем, поднятых в свое время в целом ряде работ XX в

[4] Отметим, что в них она правильно называется не «lingua», а «sermo» (vulgaris, cotidianus, rusticus)

Ж Моля, Г Ф Мюллера, Дж Девото, К Баттисти [5], автор имел возможность использовать материалы, представленные в работах таких исследователей, как Э Левстед, Э Диль, Ф Слотти, И Б Гофманн, В Вэнэнен и К Гецке [6] Однако мы тщетно будем искать у Бурсье рассмотрения общих вопросов, возникающих в связи с названными работами, фактическими данными которых он, как это показывают ссылки, в известной мере пользовался

К числу трудных и до сих пор в какой-то степени спорных вопросов романистики относится и вопрос о происхождении придунайского романского населения Юго-Восточной Европы и его языка В §§ 1 13—14 Бурсье становится, повидимому на сторону гипотезы о проникновении этого населения на север от Дуная с юга, где оно сосредоточивалось некогда «в основном» и не склонен допускать полного оставления провинции Дакии ее населением во второй половине III в н э , хотя о дискуссионном характере этого вопроса автор также не дает никакой справки Тем более мы не найдем у него разъяснений по вопросу о самостоятельности молдавской народности и ее языка, поднятому русскими и советскими историками и филологами [7] Как известно, последние считают допустимым сосуществование с давнего времени романизованного населения на землях будущей Молдавии со славянами, они находят имена представителей этого русско-романского населения в эпоху Олега и Игоря (X в) и считают исторической ошибкой буржуазной историографии отождествление молдаван с румынами [8] Как большой недостаток книги Бурсье, это отмечено и в предисловии к ее русскому переводу (стр VII).

К числу аналогичных спорных вопросов относится и вопрос о Сардинии и Галисии, языки которых некоторые исследователи рассматривают как самостоятельные единицы, Бурсье же считает первый язык диалектом итальянского (§ 399), второй — испанского языка (§ 330), не обосновывая своей позиции в данном вопросе

Диалектальный материал принят автором в расчет в очень скромных размерах Исключение составляет глава о старофранцузском и провансальском языках Такое свое отношение к данным диалектов Бурсье, которому мы обязаны ценными исследованиями по гасконскому наречию, объясняет тем что время для углубленного изучения диалектов еще не пришло и эта задача должна стать предметом особых руководств Но главное его соображение — боязнь, чтобы обилие подробностей не заслонило общего, основных очертаний картины дать которую он поставил своей целью (стр IX—X предисл к 3-му изд)

---

[5] См G Mohl, Introduction à la chronologie du latin vulgaire, Paris, 1899, H F Muller, A chronology of vulgar latin, Halle, 1929, G Devoto, Storia della lingua di Roma, Bologna, 1940, C Battisti La crisi del latino, parte I, Firenze, 1946

[6] E Lofstedt, Beitrage zur Kenntnis der spateren Latinitat Stockholm, 1907 и Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, Uppsala 1911 E Diehl, Vulgarlateinische Inschriften, Bonn, 1910, Fr Slotty Vulgarlateinisches Ubungsbuch, Bonn 1917, J B Hofmann, Lateinische Umgangssprache, Heidelberg, 1936, V Vaananen, Le latin vulgaire des inscriptions pompeiennes, Helsinki, 1937, G Gotz, Corpus glossariorum latinorum, Leipzig, 1888—1901.

[7] Вопроса о появлении романского элемента на восток от Траяновой Дакии касались за рубежом Г Вейганд (G Weigand, Ursprung der sudkarpatischen Flussnamen in Rumanien, «Jahresbericht des Instituts fur rumanischen Sprache zu Leipzig», XXVI — XXIX, Leipzig, 1921, стр 83 94) И Барбулеску (I Barbulescu, Inceputurile scrierii cirilice in Dacia Traiana «Arhiva, organul societatii stiintifice si literare din Iasi», Iasi 1922 стр 161—190) М Штефанеску (M Stefanescu, Cuvinte Gradiste si Horodiste în toponimica românească, «Archiva », 1921, стр 16—80, Elemente rusesti în toponimica românească», там же, 1921, стр 218—228, Alte cuvinte ruseti de nuanta ruteana în toponimica romaneasca, там же, 1922, стр 64—75 372—384 Toponimici romanesti cu terminatiune Suti, там же, 1922, стр 499—514 Rusismele-rutenismele din toponimica romaneasca, там же, 1924 стр 199—206) Указанные авторы считали, что романского населения в Молдавии в XII в еще не было Вышедшая в Москве в 19 0 г в русском переводе «История Румынии» под ред М Роллера («Istoria României» red M Roller, Bucuresti, 1948) относит славяно-романские связи на территории Траяновой Дакии к более отдаленным временам Мелкие славяно-романские ячейки, воеводства существовали уже в половине XII в Вторжение татар задержало продвижение предков молдаван на восток Оно возобновилось и усилилось с ослаблением татар (ср стр 51—61, 68—70 рус перевода)

[8] Последняя формулировка доводов по этому вопросу дана в «Истории Молдавии», т I (Кишинев, «Шкоала советикэ», 1951, стр 55—70, 73—81) См также М В Сергиевский, Топонимика Бессарабии и ее свидетельство о процессе заселения территории («Известия АН СССР Отд-ние лит-ры и языка», М , 1946, вып 4, стр 333—350), там же указана и литература вопроса

*

Таковы характерные особенности работы Бурсье, занимающей особое место среди довольно многочисленных книг пропедевтического типа За рубежом работы подобного рода имеют иногда заглавие «Введение в филологию», причем термин «филология» употребляется в таком случае часто не как старинный синоним «языкознания», а в его широком значении, и пользующиеся этим термином делают это сознательно, стремясь подчеркнуть важность филологического подхода при изучении явлений как историко литературного, так и историко-лингвистического порядка Один из современных романистов Э Р Курциус не без сожаления констатирует отрицательные результаты резкого разобщения (особенно после 1917 г) литературоведения, филологии и языкознания « следствием (этой тенденции — *В Ш*) было то, что языкознание пошло своей дорогой, что филология оскудела и окостенела, что литературоведение оторвалось от того и другого и во многих случаях поступило в распоряжение проблематической „истории идей"» (или «духа», Geistesgeschichte) [9] В плане аналогичных соображений один из последователей Фосслера А Хацфельд в своей статье «Новые задачи романской филологии» к числу этих задач относит в первую очередь стилистику, связанную с литературоведением, и лингвистическую географию[10] Как введение в «филологию» задуманная и недавно вышедшая и интересно написанная книга Э Ауэрбаха «Введение в изучение романской филологии»[11], бо льшая часть которой посвящена Франции и ее идейному развитию и в которой другим романским странам и другим сторонам «филологии» уделено значительно меньше места и внимания Недочет этот восполняется в известной мере данным в книге полезным «библиографическим справочником» (Guide bibliographique)

Если от «введений в филологию» обратиться к пропедевтическим работам по романскому «языкознанию», то их можно разбить на несколько групп в зависимости от широты охваченного ими материала и характера его трактовки «Введение в изучение романского языкознания» В Мейера Любке[12] охватывает все основные разделы романской лингвистики, но доступно оно, в сущности, только подготовленному читателю, являясь не столько «Einfuhrung», сколько «Einleitung», т е не столько вводя в данную науку, сколько подводя итоги сделанному по важнейшим проблемам Заглавие книги К Эттмайера «Спутник изучающего романскую филологию»[13] также не отвечает ее содержанию, так как тематика ее и характер трактовки автором вопросов субъективны, а изложение не достаточно просто Работа В Вартбурга «Взаимосвязь описательного и исторического языкознания»[14] ограничивается вопросом плодотворности сочетания обоих методов при исследовании языкового материала, а потому необходимости их объединения На ряде романских примеров демонстрирует тот же автор в своей работе «Введение в проблематику и методику языкознания»[15] основные проблемы и методы лингвистического исследования при условии применения к анализу лингвистической исторической, социологической и философско-языковедческой точек зрения В своем «Введении в изучение романских языков» Йоргу Иордан[16] характеризует основные направления в романском языкознании за последние десятилетия и их представителей, его труд является интересным и полезным вкладом в историю романского языкознания, которому в наших программах отводится значительное место Проблеме связи языка и истории народа посвящены статья В Вартбурга «Образование романских языковых территорий» и его же книга «Возникновение романских народов»[17],

---

[9] E R Curtius, Über die altfranzosische Epik «Zeitschrift fur romanische Philologie», Bd. 64, Heft 3—5, Halle (Saale), стр 246

[10] A Hatzfeld Neuere Aufgaben der romanischen Philologie, «Neue Jahrbucher fur Wissenschaft und Jugendbildung», Bd VIII, Heft 5, Leipzig — Berlin, 1932, стр 432—447.

[11] E Auerbach, Introduction aux études de philologie romane, Frankfurt,1949

[12] W Meyer Lubke, Einfuhrung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft, 3-e Aufl Heidelberg, 1920 и особенно ее испанский перевод Америго Кастро с дополнениями автора и переводчика (Introduccion a la linguistica romanica, Madrid 1926)

[13] K Ettmayer, Vademecum fur Studierende der romanischen Philologie, Heidelberg, 1919

[14] W Wartburg, Das Ineinandergreifen von descriptiver und historischer Sprachwissenschaft, Leipzig, Sachs Akademie der Wissenschaften, 1931

[15] W Wartburg, Einfuhrung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft, Halle, 1943

[16] J Jordan, Introducere în studiul limbilor romanice, Jasi, 1932 (англ перевод — An Introduction to romance linguistics, London, 1937)

[17] W Wartburg, Die Ausgliederung der romanischen Sprachraume, «Zeitschrift fur romanische Philologie», Bd 56, Heft 1, Halle (Saale), 1936, стр 1—48, его же, Die Entstehung der romanischen Volker, Halle (Saale), 1939

в которой автор дает картину разложения Римской империи и образования новых языков на базе дифференцировавшихся римских провинций, переоценивая в этом процессе, однако, роль германского элемента. Аналогичная тема разработана Гарри Мейером в его книге «Возникновение романских языков и наций»[18], где материал по областям Романии разработан менее равномерно, нежели у Вартбурга, но где в отношении субстрата и роли германского начала в образовании романских языков проявлено больше критики и осторожности.

Ни одна из упомянутых зарубежных работ не отвечает полностью нашим программам ни по материалу, ни методологически. Не отвечает им и книга Бурсье, как это видно из сделанных по поводу ее выше замечаний. И тем не менее она по своим положительным качествам даст нашему читателю в целом, пожалуй, больше других подобных книг. Главные недочеты исследования Бурсье: поверхностное отношение к вопросу о связи языка с историей народа, к спорным проблемам романистики и ограниченное использование диалектальных данных — ее отнюдь не обесценивают.

В книге много фактического материала, тщательно подобранного и хорошо систематизированного, а потому как руководство она доступна и удобна. Формы поздней и вульгарной латыни всегда подкреплены ссылками на литературные памятники или документы, на варварские «Правды», на глоссарии и грамматики. Изложение «Основ» отличается простотой и отчетливостью. Книга является несомненно хорошим учебным пособием по «внутренней» истории романских языков, пользование которым значительно облегчает обстоятельный предметный указатель. Если главы о румынском и рето-романском языках менее обстоятельны, то это объясняется не столько меньшей ориентированностью в них автора, сколько самим состоянием разработки материала. Указатель научной литературы в конце книги и ссылки на важнейшие работы по более специальным вопросам в ее тексте хорошо ориентируют читателя в библиографии.

В. Ф. Шишмарев

Вопросы грамматического строя и словарного состава языка. 1—2. [Сборники статей.] («Ученые записки Ленингр. гос. ордена Ленина ун-та им. А. А. Жданова», № 156 и 161. Серия филол. наук, выпуски 15 и 18.) — Л., Изд-во ун-та, 1952. 363 и 240 стр.

Двухтомный лингвистический сборник филологического факультета Ленинградского университета — первый коллективный отклик факультета на труды И. В. Сталина по вопросам языкознания — воспринимается читателем как своего рода смотр лингвистической работы факультета за последние годы, ознаменовавшиеся творческой перестройкой всего советского языкознания. Сборник насчитывает свыше 600 стр. текста, в нем приняло участие 29 авторов — работников факультета, представивших статьи почти по всем языкам, являющимся предметом преподавания на факультете: русскому, другим славянским языкам (польскому, болгарскому), языкам классическим (греческому, латинскому), германским (немецкому, английскому, скандинавским), романским (французскому, испанскому, итальянскому). В соответствии с широким заглавием, охватывающим в принципе все основные вопросы изучения языка («сущность его специфики»), в сборнике представлены статьи по сравнительному языкознанию, по вопросам морфологии и синтаксиса отдельных языков (вып. 1), по лексикологии, истории литературного языка и стилистике (вып. 2).

Сборник несомненно свидетельствует о богатстве и разнообразии творческих возможностей факультета, о высоком уровне специального научного исследования (в большинстве статей не вызывающем сомнения) и прежде всего о плодотворном влиянии марксистского учения о языке, сказавшемся и на новой постановке ряда узко специальных вопросов. Однако в то же время сборник производит впечатление большой пестроты и несобранности; многие специальные темы носят случайный характер; отсутствуют большие стержневые теоретические проблемы, которые могли бы объединить вокруг себя авторский коллектив и разрабатываться одновременно на материале нескольких языков. Работы по общему языкознанию представлены в сборнике только одной — первой — статьей, что особенно удивительно, если принять во внимание чрезвычайную актуальность для нас этих вопросов в настоящее время.

Конечно, нельзя возражать против законной необходимости печатать в ученых записках и трудах факультетов исследования и статьи на специальные темы, главы из защищенных и подготавливаемых к защите диссертаций и т. п., притом в объеме, не

---

[18] H. Meier, Die Entstehung der romanischen Sprachen und Nationen, Frankfurt a. M., 1941.

ограниченном одним, в лучшем случае — двумя листами, как в данном сборнике. Но такие работы, рассчитанные на более узкий круг представителей данной специальности, следовало бы публиковать в специальных сборниках по кафедрам или группам родственных кафедр, как это делалось прежде и филологическим факультетом Ленинградского университета. К общефакультетскому лингвистическому сборнику под налагающим большую ответственность заглавием «Вопросы грамматического строя и словарного состава языка» мы вправе подойти с иными требованиями. В подобном сборнике хотелось бы видеть результат организованной совместной работы большого и авторитетного коллектива лингвистов над центральными вопросами советского языкознания. Для сборника такого типа случайный подбор тем, целиком определяющийся индивидуальными интересами и вкусами его участников, отсутствие внутреннего единства и плана — несомненно является существенным недостатком.

Чтобы дать представление о разнообразии тем, затрагиваемых в обоих томах сборника, мы постараемся при рассмотрении помещенных в нем статей сгруппировать их по содержанию вокруг тех общих теоретических вопросов с которыми они соприкасаются.

*

В статье И. М. Тронского «К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании» (т. 1, стр. 5—27), написанной почти одновременно с рядом аналогичных работ, уже появившихся в печати (Б. А. Серебренникова, Б. В. Горнунга, А. И. Смирницкого и др.), рассматривается вопрос о значении этого метода для советского языкознания, о его достижениях и серьезных недостатках.

И. М. Тронский четко отграничивает сравнительно-историческое исследование от простого сравнительного сопоставления родственных или неродственных языков, обычного в общем языкознании и, добавим, особенно необходимого в педагогической практике. Еще существеннее, по его мнению, противопоставление сравнительно-исторического метода в языкознании сравнению сходных явлений надстроечного характера, закономерно возникающих на одинаковом уровне общественного развития независимо друг от друга, поскольку «сходный базис создает для себя сходную надстройку»: перенесение подобных социологических закономерностей на язык, который не является надстройкой, было особенно характерно для порочной «теории стадиальности» Н. Я. Марра и его школы (стр. 8—10) [1].

Особого внимания заслуживает правильное указание автора на иллюзорный характер понятия «индоевропейский язык периода его распадения», которое до сих пор еще находит защитников и в советском языкознании. «Как ни представлять себе процесс образования и общеиндоевропейского языкового единства и его отдельных ветвей, можно сказать с уверенностью, что единого лингвистического состояния „периода распадения" никогда не было, ибо никогда не могло быть такого „момента", когда племена, носители единой речи, вдруг разошлись бы в разные стороны, чтобы затем начать самостоятельное существование по разным ветвям» (стр. 21).

Существенное значение придает автор «зональным» различиям индоевропейской лексики (стр. 13—14) и морфологии (стр. 25—26) Вряд ли, однако, можно признать правильной широко распространенную в современной зарубежной лингвистике теорию, согласно которой «центральные» индоевропейские языки (или диалекты) будто бы являются зоной «новообразований» («новаций»), а «периферические» — зоной, преимущественно сохраняющей «старое» («реликты»). Именно «наблюдения над диалектами живых языков», на которые ссылается И. М. Тронский, не дают основания для подобного обобщения: так, второй перебой распространяется в верхненемецком языке из самых южных, «периферических» диалектов (лангобардского, алеманнского, баварского). как и новонемецкая дифтонгизация узких долгих впервые засвидетельствована на крайнем юго-востоке территории немецкого языка, в верхнебаварских говорах.

Однако вопрос о значении сравнительно-исторического метода для советского языкознания не исчерпывается, как нам кажется, весьма полезной методической критикой его достижений и недостатков, которой посвящена статья И. М. Тронского, как и другие аналогичные. Подобные критические замечания высказывались уже раньше, например А. Мейе, который вряд ли является в этих вопросах принципиальным «агностиком», как думает автор, скорее — осторожным, иногда чрезмерно скептическим критиком реальных возможностей восстановления «праязыка». Принципиально новым в советском языкознании является марксистское положение, гласящее, что сравнительно-исторический метод, несмотря на его серьезные недостатки, толкает к изучению языков, что изучение языкового родства могло бы принести языкознанию большую пользу в деле изучения законов развития языка и что теория «праязыка» не имеет к этому делу

[1] Здесь и в дальнейшем в тексте в скобках даны ссылки на страницы обсуждаемых статей.

никакого отношения[2] При таком принципиально новом понимании задач сравнительно-исторического метода сравнительно-грамматические реконструкции «языка основы» или, говоря по старому, «праязыка») не могут быть самоцелью, но должны быть подчинены главной задаче языкознания — изучению внутренних законов развития языков, которые могут быть раскрыты в полной мере лишь на основе сравнительно исторического исследования

К числу наиболее актуальных проблем, выдвинутых за последние годы советским языкознанием, принадлежит проблема словосочетаний в ее синтаксическом и лексико-логическом аспекте Вопрос этот был поставлен в работах акад В В Виноградова по русской фразеологии ему посвятил специальное синтаксическое исследование В П Сухотин его разрабатывают советские англисты — А И Смирницкий, О С Ахманова и в особенности В Н Ярцева неоднократно подчеркивавшая особое значение этой проблемы для исторической грамматики английского языка

В статье «Пути развития словосочетания (На материале английского языка)» (т 1, стр 28—42) В Н Ярцева прослеживает на ряде примеров две основные тенденции развития английских глаголов в сочетании с обстоятельствами и «предикативными определениями» С одной стороны, происходит грамматикализация словосочетания и превращение глагола «широкой семантики», в результате обобщения его значения абстракции, сперва в служебный, потом — в некоторых случаях — во вспомогательный глагол с переходом в конечном счете из области синтаксиса в область аналитической морфологии с другой стороны, возможна лексикализация всего сочетания в целом, которая превращает его в фразеологическую единицу, сохраняющую, однако, подвижность и изменяемость своих элементов (тип *to catch fire, cold* и т п)

Менее ясными представляются нам общие теоретические положения статьи «Не каждые два слова, даже по смыслу связанные, могут дать словосочетание», утверждает В Н Ярцева (стр 34) Возникает вопрос, какие именно сочетания слов исключаются автором из числа «словосочетаний»? Сомнение вызывают у автора сочетания главных членов предложения — подлежащего и сказуемого вспомогательного глагола с именными формами глагола, предлога или артикля с существительным Особо выделяются копулятивные группы типа *мать и сын* и «однородные» («незамкнутые», «открытые») словосочетания, построенные «по принципу параллельного ряда», как то *A few early fallen oak-leaves strewed the terrace already* «Немногие рано опавшие дубовые листья уже устилали террасу» В последнем случае мы видим, однако, не параллельный, а соподчиненный ряд, иерархическую градацию определений «рано опавшие» определяет «дубовые листья» в целом, «немногие» относится ко всему словосочетанию «рано опавшие дубовые листья» по формуле {*a few* [*early-fallen* (*oak-leaves*)]}.

Мы полагаем, что учитывая все еще колеблющееся *словоупотребление*, следует различать словосочетания в широком и в узком смысле В широком смысле словосочетанием следует называть всякую группу слов, объединенную в смысловом и грамматическом отношении, если она не образует предложения Последняя оговорка представляется необходимой, потому что, рассматривая группу подлежащее + сказуемое как «предикативное словосочетание», мы тем самым превращаем предложение в частный случаи словосочетания, что вряд ли правильно ввиду особого характера предикативного высказывания Словосочетания в узком смысле, в большей или меньшей степени «связанные» (по терминологии В П Сухотина), возникают в случаях более тесного грамматического или лексического объединения группы слов, связанной новым значением целого отличным от суммы значений его частей (два пути этого развития правильно намечены в статье В Н Ярцевой)

С этой точки зрения *мать и сын* является словосочетанием вполне обычного типа грамматически объединенным связкой и одинаковым падежом Предложные конструкции несомненно относятся к словосочетаниям, поскольку сам автор считает предлоги словами (стр 35), а не «служебными частицами», как почему то думает Ю С Маслов (т 1, стр 167 и сл) однако эти словосочетания, как и группы с артиклем или со служебным тем более с вспомогательным глаголом, имеют в разной степени тенденцию к грамматизации (в конечном счете — к превращению в аналитическую форму слова) Конечно, мы имеем в виду при этом только тенденцию, которую надо рассматривать в развитии, как всякое явление в языке

«Словосочетания с зависимым инфинитивом в современном русском литературном языке» — так называется статья А И Моисеева (т 1, стр 115—138) Инфинитив чаще всего употребляется с глаголами и существительными, значительно реже — с прилагательными, пишет автор Детальное рассмотрение семантики глаголов и существительных, управляющих инфинитивом, приводит А И Моисеева к выводу, что «господство слов над инфинитивом обусловлено не синтаксическо-морфологическими, а лексико-семантическими их особенностями» (стр 132) Семантические ряды глаголов

[2] См И Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат 1953, стр 33—34

и существительных, господствующих над инфинитивом, имеют примерно одинаковое значение, чаще всего приближающееся к модальному (желание, побуждение, волеизъявление, возможность, необходимость и т п), значительно реже — видовое, с дальнейшим развитием в сторону аналитических глагольных форм (типа *начал говорить* и т п)

Из модального характера семантики подчиняющих инфинитив слов автор делает вывод, что «инфинитив в речи выражает действие не реальное (которое совершалось совершилось, совершается, будет совершаться, совершится), а лишь возможное, желательное, к совершению которого деятель способен, стремится, побуждает другого деятеля и т п В этом отношении инфинитив резко отличается от изъявительного наклонения и приближается по модальности своего значения к косвенным наклонениям» (стр 138)

Было бы правильнее, если бы автор отнес эту характеристику не к инфинитиву самому по себе, а лишь к инфинитивным конструкциям определенного характера, так как «модальное» значение в словосочетаниях типа ***желает*** *нравиться* или ***желание*** *нравиться* целиком зависит от значения управляющего слова, а не от самого инфинитива

Из прилагательных с инфинитивом особенно интересны отмеченные Потебней и Шахматовым сочетания вроде *ретив работать*, *ох*, *спорить голосиста*, *злая прясть*, *сердит я ездить-то* (слова извозчика) и т п А И Моисеев объясняет господство этих прилагательных над инфинитивом их «предикативной ролью, а не их семантикой» (стр 135) Если бы это действительно было так, то любое предикативное прилагательное, независимо от своего значения, могло бы управлять инфинитивом На самом деле в таких идиоматических сочетаниях народной речи, как *ретив работать*, *голосиста спорить*, прилагательное может управлять инфинитивом только потому, что по своему значению оно приравнивается к выражениям обычного «модального» типа вроде *способна работать*, *умеет спорить* и т п Известное сходство с этим употреблением представляют существительные «идея», «мысль», «план», которые могут сочетаться с инфинитивом, как отметил сам автор (стр 132), в тех случаях, когда они употреблены примерно в значении «намерение» (ср *идея*, *план* или *мысль написать книгу*) Эти примеры поучительны, так как они объясняют пути дальнейшего расширения сочетаемости инфинитива со словами одного семантического ряда

Вопрос о развитии сложноподчиненного предложения был излюбленной темой синтаксических исследований в период господства «нового учения» о языке и рассматривался как пример так называемой синтаксической «стадиальности», непосредственно отражающей развитие мышления, обусловленного развитием общественных отношений Ошибки этого рода в работах проф Л П Якубинского, автора настоящей рецензии, и наших учеников были уже отмечены в редакционной «Библиографической справке» журнала «Вопросы языкознания» (1952, № 6, стр 129 и сл)

Однако этим не снимается чрезвычайно важный вопрос, поставленный в свое время еще в основополагающей работе Ф Е Корша[3] и в ряде специальных исследований по историческому синтаксису разных индоевропейских языков о развитии сложноподчиненного предложения из бессоюзного сопоставления или из сочинения предложений, о многозначности древних союзов подчинения, о позднейшем развитии более дифференцированных по своему значению подчинительных союзов, притом союзов, обозначающих более абстрактные логические отношения из более конкретных пространственно-временных, или из широких по своему первоначальному значению местоименных показателей подчинения Для советского языкознания вопрос этот представляет особый теоретический интерес, как один из ярких примеров совершенствования грамматического строя языка, уточнения грамматических правил

Этому кругу вопросов на различном языковом материале посвящены в рецензируемом сборнике специальные статьи Р А Будагова «К теории относительного подчинения (Из очерков по историческому синтаксису французского языка» (т 1, стр 43—55), Э И Каратаева «Из истории сложного предложения в русском языке (Место придаточного предложения по отношению к главному)» (т 1, стр 56—76), Я В Мацюсович «Основные особенности сложноподчиненного предложения современного польского литературного языка (сравнительно с русским языком)» (т 1, стр 194—218), Л Л Иофик «Сложное предложение в английском языке первой половины XVII века» (т 1, стр 335—361)

Рассматривая формы относительного подчинения в старофранцузском языке, Р А Будагов очень тонко отмечает неполное развитие соподчиненности элементов сложного предложения В приведенных в его статье примерах типа *Berniers e fiert qui droit i avoit grant* «Бернье его поражает, которым право имеет большое» точнее «который право на то имел большое» и т п (стр 44 и сл),оба элемента сложного целого «Бернье его поражает » и «[Бернье], который (*qui*) право имеет боль

[3] Ф Корш, Способы относительного подчинения Глава из сравнительного синтаксиса, М , 1877

ное» — еще лежат как бы в одной плоскости, «в одном синтаксическом плане»; соединение предложений имеет на этой ранней ступени характер «паратаксиса» (стр. 55). Мы добавили бы со своей стороны: *qui* (лучше «кто», а не «который») еще не имеет в полной мере характера относительного местоимения.

Другим признаком архаического характера относительного подчинения в старофранцузском является многозначность союзов *qui* «кто», *que* «что», которые употребляются для обозначения самых разных видов относительной связи и подчинения. Справедливо отталкиваясь от понятия «диффузности» значения этих союзов, Р. А. Будагов выдвигает теорию, согласно которой эти «сильные» по своему характеру союзы будто бы являются в старофранцузском языке носителями ряда более конкретных лексических значений («потому что», «в той мере как», «вследствие того, что», «по причине», «поэтому», «так что»), которые в дальнейшем, одновременно с грамматическим обобщением значения самих *qui* и *que*, отойдут к специализированным союзам типа *parce que*, *autant que*, *ainsi que* и т. д. (стр. 49 и сл.).

Мы полагаем, однако, что было бы историческим анахронизмом нагружать союзы *qui*, *que*, выступающие в старофранцузском языке с неопределенным значением общего показателя подчинения (как древнерусское *что*, средневерхненемецкое *daz* и т. п.), всей совокупностью значений, которые дает этим словам старофранцузский словарь при переводе на современный французский язык с его строгой дифференциацией различных форм подчинения. Старофранцузские конструкции, разумеется, не были «непонятными» для говорящих, как вполне правильно рассуждает Р. А. Будагов (стр. 45), но они еще не обладали смысловой и формальной дифференцированностью и точностью позднейших конструкций, иначе мы не могли бы говорить об «уточнении» и «улучшении» грамматических правил.

Не вполне точно и утверждение автора, будто старофранцузское *que* является настолько «сильным», что «без всякой дополнительной лексической опоры как бы „вытягивает" тот же сложный синтаксический ряд», который в дальнейшем будет требовать специализованных союзов типа *parce que* «потому что». Автор не заметил, что такая уточняющая «опора» уже наличествует и в приведенных им самих текстах, хотя *parce que* еще не грамматизовано как специальный союз. Ср.: ***Pur ço l'ad fait que il voelt veirement*** (стр. 50) «Для того это сделал, что он хочет поистине...»; ***Por c'ai je mis mon chanter en defois que mon langage ont blasmé li François***...(стр. 54) «Потому я наложил запрет на мою песню, что французы порицают мой язык...»

Нет также оснований считать, что союз *que* сам по себе, без дополнительной «опоры», может обозначать «без того, чтобы ...», «за исключением того, что» и т. п. (стр. 52—53). Как видно из примеров, приведенных в самой статье, такое значение возможно только при наличии в главном предложении отрицания, которое и является дополнительной «опорой», т. е. в сочетаниях типа *ne... que* Ср.: ***ne chevaliers ne sergenz ne dame n'i remest que cele qui sa dolor mie ne cele*** «Не осталось ни рыцарей, ни служителей, ни госпожи [за исключением той], кто не скрывает своей скорби».

Таким образом, следует признать правильность точки зрения Ф. Е. Корша, который полагал, что значение этих подчинительных союзов «очень неопределенно»; о том же говорит и акад. В. В. Виноградов, считающий такие русские союзы, как *и*, *а*, *да*, *что*, крайне широкими и логически не расчлененными по своим функциям, сохранившими тем самым некоторые следы «древних синтаксических отношений» [4].

На такой же точке зрения стоят, повидимому, и другие участники данного сборника, когда они говорят, как Я. В. Мацюсович, об «архаической системе многозначных союзов» (стр. 205) или, как Л. Л. Иофик (в отношении английского языка конца XVI в.), о «многозначности союзов» и «нечеткости в использовании средств подчинения» (стр. 336).

В статье Я. В. Мацюсович рассматриваются особенности сложноподчиненного предложения в современном польском языке сравнительно с русским. Такое сопоставление синтаксических особенностей близкородственных языков оказывается чрезвычайно поучительным для установления их типических общих особенностей и одновременно специфического национального своеобразия, главным образом там, где автор углубляет историческую перспективу исследования привлечением древнерусских синтаксических форм. Следовало бы, однако, продолжить эту работу в сравнительно-грамматическом направлении с учетом генетически общего славянского наследия и специфического своеобразия развития обоих языков.

В исследовании Э. И. Каратаевой интересно в особенности указание на роль последовательности предложений — главного и подчиненного — наравне с интонацией при неразвитости других средств грамматического выражения подчинительной связи. Временные и условные предложения при бессоюзном подчинении ранее занимали начальное положение, причинно-пояснительные — конечное. Э. И. Каратаева говорит, что, как разъяснил А. А. Потебня, перемещение подчиненной части связано со стремлением к объединению главного и придаточного предложения, стремлением

[4] В. В. Виноградов, Русский язык, М.— Л., Учпедгиз, 1947, стр. 711.

лишить придаточное предложение остатков самостоятельности и выразительнее представить второстепенность его значения (стр. 60). В результате в истории русского языка наблюдается «растущая свобода размещения придаточного предложения» (стр. 64), хотя и не для всех его видов, свидетельствующая о более прочном объединении сложного предложения как синтаксического целого.

Сходную проблему затрагивает на материале древнескандинавских языков М. И. Стеблин-Каменский в своей статье «Порядок слов как средство выражения связи между предложениями в скандинавских языках» (т. 1, стр. 282—299). При установившемся уже в древнем периоде истории германских языков нормальном порядке слов (глагольное сказуемое на втором месте) отмечен ряд случаев, в особенности в повествовательном стиле (например, в древнеисландских сагах), когда сказуемое занимает первое место. Случаи эти связаны со смысловым примыканием предложения к предшествующему, чаще всего — при временной последовательности, иногда с объяснительным значением, противопоставлением, своеобразным неоформленным подчинением или тоже неоформленным переходом к прямой речи. Позднее в таких случаях появляется как признак связи союз *ok* «и», после которого обычно сохраняется та же «инверсия». *М. И. Стеблин-Каменский видит в этих примерах указание на зависимый характер второго предложения, на бессоюзное подчинение, выраженное порядком слов.* «История развития синтаксических связей между предложениями начинается не с союзного сочинения, а раньше: с применения менее четких средств связи — порядка слов, а также, вероятно, интонации. Таким образом, история развития связей между предложениями тесно связана с историей порядка слов» (стр. 299).

Кроме названных уже статей, вопросам синтаксиса посвящены работы В. А. Трофимова «К вопросу о выражении отрицания в современном русском литературном языке» (т. 1, стр. 77—114), А. А. Бойко «О роли вида в некоторых инфинитивных сочетаниях, содержащих отрицание» (т. 1, стр. 139—154), С. И. Груздевой «О связи слов в предложении» (т. 2, стр. 37—51), М. А. Соколовой «Выражение волеизъявления в русских бытовых и деловых памятниках XVI века» (т. 2, стр. 52—79) и В. Н. Жигадло «Постпозиционное определение и ритм в современном английском языке» (т. 1, стр. 300—312). Следует отметить, что разработка вопросов синтаксиса русского языка значительно опередила в советском языкознании исследование синтаксиса языков западноевропейских, а тем более неевропейских. Советским германистам и романистам необходимо поэтому в своей области более широко использовать методы и достижения наших отечественных ученых в области русского языка.

В статье Ю. С. Маслова «О морфологических средствах современного болгарского языка» (т. 1, стр. 155—193) сделана интересная попытка систематического описания способов образования грамматических форм слова в изучаемом языке. Попутно автор высказывает и теоретические соображения по поводу специфики этих средств — внешней и внутренней флексии, употребления служебных слов, агглютинации, «подвижной флексии» (постпозитивный артикль как элемент нового «синтеза») и др. Автор убедительно доказывает неправильность распространенной точки зрения, согласно которой болгарский язык, в отличие от других славянских языков, безоговорочно зачисляется «в разряд языков аналитического строя» (стр 157—158). Согласно утверждению Ю. С. Маслова, «современный болгарский язык является флективно-аналитическим языком с некоторыми элементами „нового синтеза" и значительным развитием разнообразных морфологических средств, в частности и агглютинации» (стр. 193).

Сомнение, однако, вызывает термин «агглютинация» в применении к частным явлениям языка флективного типа, хотя и поддержанном ссылкой (стр. 192, прим. 1) на авторитетное мнение акад. В. В. Виноградова об аналогичных фактах русской грамматики. Агглютинация представляет сложную систему морфологических средств, и вряд ли есть основание каждый частный случай употребления грамматической частицы (как показатель относительности *-то* в болгарских относительных местоимениях) называть «агглютинацией». Напомним, как предостерегающий пример, отождествление сложных слов индоевропейских (в частности, германских) языков по чисто внешнему сходству с так называемой «инкорпорацией» северных языков, в котором был повинен, в частности, и автор настоящей рецензии. Менее всего могут быть отнесены к явлениям «агглютинации» такие префиксы степеней сравнения болгарского языка, как *по-* или *най-* (*по-хубав* «более красивый», *най-хубав* «самый красивый»; стр. 172), поскольку префиксация в большинстве агглютинирующих языков (тюркских, монгольских, финских) либо вовсе не встречается, либо представля т вторичное, позднее явление.

По той же причине вряд ли правильно также называть «внутренней флексией» те отдельные, случайные для грамматической системы языка фонетические чередования, которые встречаются в болгарском, как и в других славянских языках (стр. 185—186). Нам представляется, что о «внутренней флексии» следует говорить лишь в тех случаях, когда эти чередования широко используются в грамматической системе

языка и имеют в большей или меньшей степени продуктивный характер хотя бы в порядке грамматической аналогии (как в немецком языке в отличие например от английского)

Изучению частных явлений морфологии посвящены статьи С В Меликовой Толстой Будущее время в греческом языке (т 1 стр 219—246) и Д В Ф Шишмарева «От латинских залоговых форм к французским (т 1 стр 247—255) Е А Реферовской К вопросу о выборе вспомогательного глагола для сложных глагольных форм французского языка (т 1 стр 256—264) Н М Штейнберг Так называемое будущее предварительное (futur antérieur) в современном французском языке (т 1 стр 265—281) и И П Ивановой «Значение герундия в романовании языке (т 1 стр 313—334)

Опубликованное посмертно исследование С В Меликовой Толстой о будущем времени в древнегреческом языке представляет большой интерес и для общей сравнительно грамматической проблемы происхождения этих относительно поздних в языках индоевропейской группы грамматических категорий Так же как и исследователь этого вопроса Маньен автор видит в форме древнегреческого сигматического будущего продолжение индоевропейского дезидератива (я стремлюсь наклонения) но в отличие от своего предшественника отрицавшего временное значение этой формы по крайней мере вплоть до Платона (стр 220) С В Меликова на основании филологического анализа текстов устанавливает что уже в дошедших памятниках греческого языка кроме сохранившегося (в особенности в причастиях) старого модального значения уже наличествует и новое чисто временное Одновременно для обозначения будущего употребляются настоящее время перфект и аорист, а также перифрастические обороты с глаголами желания в дальнейшем выступающим чисто временное будущее

Отметим что употребление настоящего в значении будущего общее явление для индоевропейских языков настоящее будущее сохранило первоначальное значение индоевропейского *презенса обозначавшего* действие вневрменное с ограниченное длительное — данность действия по удачному выражению акад В В Виноградова

В работе акад В Ф Шишмарева на примере развития французских залоговых форм из латинских ставится общий вопрос об устойчивости грамматического строя языка в процессе его развития и совершенствования Автор дает синхронно грамматический анализ латинского страдательного залога в связи с его семантическими и рефлексивными значениями и прослеживает в самом латинском развитие тех описательных форм возвратного залога с местоимениями *me te se* и с страдательного — с причастием на *t* которые легли в основу этих форм в процессе образования французского языка

Большинство статей второго тома сборника касается вопросов лексикологии которые впервые получили в языковедении глубокое теоретическое осмысление в учении И В Сталина о развитии словарного состава языка на базе основного словарного фонда с его ядром корневых слов

Этой центральной проблеме исторической лексикологии и посвящены статьи Т В Строевой К вопросу об устойчивости *основного словарного* фонда в немецком языке (т 2 стр 187—199) и С С Масловой Лашевской Из истории словарного состава и основного словарного фонда шведского языка (т 2 стр 200—222)

Устойчивость слов основного словарного фонда как показывает Т В Строева на примере древненемецкого языка неравномерна она зависит от характера тех жизненно важных понятий которые обозначают эти слова Наиболее устойчивы слова обозначающие явления природы части человеческого тела основные процессы физической и психической деятельности человека значительно быстрее изменяются слова относящиеся к хозяйственной и общественной деятельности человека к материальной и духовной культуре и связанные наиболее непосредственно с историей народа с изменениями социального строя с развитием производства с развитием культуры науки и т п Прочно сохраняются качественные слова обозначающие объективные признаки предметов тогда как слова оценочные оказываются чрезвычайно непрочными

Эта интересная семантическая классификация подтверждается на примерах соответствующих групп древненемецкого словаря Примеры были бы еще убедительнее если бы автор соблюдая историческую перспективу показал в самом древненемецком словаре его наиболее устойчивые слова с помощью сравнительно исторического анализа позволяющего выделить общегерманское а то и общеиндоевропейское лексическое наследие Без такой перспективы у автора оказались в одной плоскости со старыми германскими и немецкими словами такие латинские заимствования разного времени, как *Pflanze* (растение) *Tisch* (стол (лат *discus*) *Flasche* (бутылка *Pferd* (лошадь) *Brief* (письмо) *dichten* (сочинять (первоначально диктовать)) и др , сами представляющие своего рода неологизмы древневерхненемецкого Между тем слово *Pflanze*

(лат ром *planta*) первоначально обозначало культурное растение продукт садоводства, обычно монастырского в народных диалектах вместо него до сих пор употребляется *Gras* трава Слово *Pferd* (позднелат *parareredus*) постепенно но не окончательно вытеснило старое германское *Ross* конь *Pfirsich* персик (лат *persicum*) вряд ли следует вообще относить к категории слов обозначающих «жизненно необходимые» понятия

Роль лексических заимствовании в развитии языка может быть совершенно различной в зависимости от конкретных исторических условий В статье А М Горьева «Болгарские писатели в борьбе против турцизмов (Из истории сопротивления языка насильственной ассимиляции) (т 2 стр 149—172) показан пример успешного сопротивления народа политике ассимиляции вместе с возрождением болгарского народа к самостоятельной политической жизни постепенно оказался выветренным наносный слой слов турецкого происхождения — наследие многовекового господства Турции над Болгарией Вместе с тем в процессе замены турецких слов славянскими автор отмечает плодотворное влияние близкородственного русского языка через посредство которого входили в болгарский язык и многочисленные элементы международной научно технической и научной терминологии (интернационализмы) (стр 151)

Новые слова русского происхождения в итальянском языке — так называется статья А А Касаткина построенная на материале современной итальянской демократической печати (т 2 стр 173—186) Это — слова советской эпохи получившие международное распространение в результате социалистической революции Можно назвать уже ряд работ посвященных этой актуальной для самых разных языков теме одинаково свидетельствующих о том что «новые слова русского языка — или прежние слова с новыми значениями — выражающие понятия ставшие близкими широчайшим народным массам (стр 173) являются в настоящее время достоянием всего передового человечества

Как и во всех исследованиях по этому вопросу труднее всего правильно наметить границы старого и нового Революция не уничтожила и не имела необходимости уничтожить существующий язык в частности она не отменила такие старые слова как *свобода демократия родина семья* или *банк кооперация профессиональный союз* и т п хотя слова эти получили совершенно новое содержание в применении к нашей новой исторической действительности и в свете нового мировоззрения социалистического общества Соответственно этому и такие итальянские слова различной исторической давности как *autocritica* самокритика (заимствованное как указывает автор уже в 1910 г) *propaganda* пропаганда или *guerrafondaio* сторонник войны до победного конца (неологизм времен абиссинской войны употребляемый в настоящее время участниками борьбы за мир в значении поджигатель войны) если даже они употребляются демократической печатью в новых значениях вряд ли правильно относить к числу новых слов русского происхождения в итальянском языке»

Весьма своевременна постановка проблемы научной терминологии которая имеет большое значение — как практическое так и теоретическое но до сих пор не получила своего места в рамках учения о словарном составе языка В статье К вопросу об изучении термина (т 2 стр 21—36) Р I Пиотровский выступает против популярной в зарубежном языкознании теории иерархичности термина как слова имеющего будто бы абсолютное значение и указывает на тесную связь научных терминов с общенародным языком на основе которого они создаются в терминах ослабляется бытовая семантика слова но в потенции она продолжает существовать прозрачная внутренняя форма таких слов как *паровоз* или *пароход* подсказана словообразование типа *тепловоз электровоз теплоход* и т п (стр 27)

Однако утверждение автора будто специальная терминология полностью включается в лексику общенародного языка (стр 36) представляется нам односторонним оно относится к примерам типа *паровоз* которые приводятся в статье но вряд ли справедливо по отношению к большинству из той двадцати одной тысячи электротехнических терминов которыми по подсчету автора обогатился словарный состав русского языка с 1886 по 1926 г (стр 21) огромная часть этих терминов как и технической терминологии вообще состоит из слов интернациональных построенных на основе латинско греческих корней при помощи особой системы суффиксов также латинско греческого происхождения хотя и получивших в данном языке специфическую для него фонетическую и грамматическую форму Эта профессиональная научно техническая лексика как нам кажется не имеет общенародного характера и ее изучение представляет специальную проблему большой важности не затронутую в статье Р Г Пиотровского

Связь лексикологии со стилистикой и с вопросами художественного стиля отчетливо выступает в исследовании М И Приваловой Функции личных имен и фамилии в произведениях М Е Салтыкова Щедрина (т 2 стр 129—148) Личные имена и фамилии представляют интерес для лингвистического исследования,

поскольку они являются частью словарного состава языка. Социальные различия в употреблении имен, отчеств и фамилий, существовавшие в прошлом, свидетельствуют, как справедливо напоминает автор, о том, что «люди, отдельные социальные группы, классы далеко не безразличны к языку» [5]. Сатирик Щедрин создает для своих персонажей экспрессивно окрашенные и знаменательные фамилии и прозвища, в подчеркнутой форме реализующие элемент социальной значимости русских фамилий разного социального типа. Он продолжает при этом литературную традицию обличительной комедии и сатирических журналов XVIII в., Грибоедова и Гоголя, но его язык отличается от языка «всех предшествующих и современных ему писателей как по количеству образований, так и по резкости отрицательной экспрессии, а главное — по их социальной направленности» (стр. 139). Таким образом, элементы языка используются писателем как стилистические средства для выражения его общего идейно-политического замысла.

С вопросом борьбы социальных идеологий, ведущейся языковыми средствами литературного стиля, связана и статья Г. В. Степанова «Об общенародном характере литературного языка» (т.2, стр. 5—20), посвященная классическому периоду испанского литературного языка. Автор дает принципиальную критику реакционных социологических направлений современного зарубежного языкознания, в которых порочная теория «классовости языка» сочетается с антидемократическим пренебрежением к языку так называемых «низших слоев» (Науман). Одновременно на примере языка «Дон-Кихота» Сервантеса он показывает классический образец «истинного народного языка в том смысле, что он строится на общенародной базе и впитывает в себя все прогрессивные элементы развивающегося национального языка в его устной, письменной и литературной формах» (стр.14). Сервантесу автор противопоставляет, с одной стороны, испанских мистиков XVII в. (святая Тереса), с их демагогической погоней за грубой простонародностью, с «низведением литературного языка до бытового просторечия», с «игрою в опрощенчество» и архаизацией (стр. 13—14), с другой стороны— аристократический литературный каргон Гонгора и гонгористов, так называемый «культеранизм» — вычурный и формалистический, выражающий «узкоклассовые интересы дворянской аристократии» и сознательно направленный на отрыв литературного языка от общенародной основы (стр. 15 и сл.).

Однако литературные отношения XVII в. в Испании и борьба стилей сложнее этой— в своей основе правильной — формулы Г. В. Степанова: ведь и Гонгора писал «романсы» в народном стиле, представляющие лучшую и наиболее популярную часть его поэтического наследия. В этом смысле можно объяснить и оправдать замечание К. Фосслера, что дух народности «проникал до самых высот культеранизма», вызвавшее незаслуженно резкий протест автора статьи (стр. 15).

Вопросам значения слов посвящены лексикологические работы М. Д. Лесник «Об антонимичности прилагательных *большой, малый, маленький* и сфере их употребления в современном русском литературном языке» (т. 2, стр. 80—99) и Я. М. Боровского «О термине natura у Лукреция» (т. 2, стр. 223—238).

Как видно из предшествующего обзора, по необходимости беглого, богатое и разнообразное содержание обоих томов сборника указывает на большие научные возможности коллектива лингвистов Ленинградского университета. По многим специальным вопросам, разработанным авторами на новом методологическом основании, читатель найдет новые и правильные решения, представляющие в ряде случаев интерес и для смежных специальностей, а в конечном счете и для общего языкознания. Хотелось бы, однако, чтобы творческие усилия высококвалифицированного научного коллектива были сосредоточены на решении центральных задач советского языкознания, требующих большей согласованности в планировании научной работы.

В. М. Жирмунский

---

[5] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 13.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 1954

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ НАУК СОЮЗА ССР О 300-ЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Москва, 30 октября 1953 г.

300-летие воссоединения Украины с Россией, исполняющееся в 1954 году, является знаменательным историческим событием в жизни всех народов нашей великой Родины.

Восходя к общему с русским и белорусским народами корню древнерусской народности и будучи связан с ними единством происхождения и общностью всего исторического развития, украинский народ всегда стремился к объединению с братским русским народом. Длительное время украинский народ находился под игом иноземного порабощения, претерпевая страшные разорения и опустошения от нашествия турецко-татарских орд и тяжкие бедствия от гнета польской шляхты. Находясь под угрозой уничтожения, он непрерывно боролся против чужеземных поработителей. Эта борьба украинского народа находила широкий отклик и сочувствие среди русского, белорусского, молдавского и польского крестьянства, страдавшего от гнета феодалов В освободительной войне 1648—1654 гг. главной и решающей силой являлось украинское крестьянство.

Результатом общенародной борьбы, во главе которой стоял выдающийся политический деятель и полководец Богдан Хмельницкий, было решение Переяславской Рады 8(18) января 1654 года о воссоединении Украины с Россией в едином государстве. Этим решением украинский народ навеки связал свою судьбу с единокровным русским народом, своим надежным защитником и союзником, и тем самым спас себя и обеспечил свое национальное развитие.

Воссоединение Украины с Россией имело огромное прогрессивное значение для дальнейшего политического, экономического и культурного развития украинского и русского народов. Это сплотило два великих славянских народа для совместной борьбы против иноземных захватчиков и привело к историческим победам над их общими угнетателями, над царизмом и капиталистическим рабством.

Передовые люди русского народа всегда признавали право Украины на национальную независимость и вместе с прогрессивными деятелями украинского народа боролись против позорной политики натравливания народов России друг на друга, проводившейся царизмом при поддержке великодержавных шовинистов и украинских буржуазных националистов.

Великие достижения нерушимой дружбы двух братских народов свидетельствуют о тщетности всех попыток буржуазных националистов подорвать и расторгнуть неразрывный союз русского, украинского и других народов Советского Союза.

Решающее значение для дальнейшего развития русского, украинского и всех других народов России имело образование самого революционного в мире российского пролетариата и создание его боевого авангарда — Коммунистической партии.

Украинский пролетариат первым вслед за русским пошел на штурм капитализма. В результате Великой Октябрьской социалистической революции украинский народ создал свое национальное социалистическое государство. В огне гражданской войны против внутренней контрреволюции и иностранной интервенции, в социалистическом строительстве и в Великой Отечественной войне еще более укрепились союз и дружба украинского и русского народов. Ныне украинский народ, воссоединив все свои земли в едином социалистическом государстве, вместе со всеми народами великого Советского Союза под водительством Коммунистической партии уверенно идет вперед по пути к коммунизму.

Новый этап в развитии и укреплении дружбы народов открыла победа Великой Октябрьской социалистической революции. Осуществление ленинско-сталинской национальной политики стало одной из важнейших основ свободы и независимости украинского и других народов Советского Союза, их успехов в области хозяйства и культуры и их развития как социалистических наций.

Украинская социалистическая нация внесла и продолжает вносить свои большой вклад в сокровищницу социалистической культуры многонационального Советского Союза Исключительно великие достижения украинского народа в области культуры и науки Украинские ученые в прошлом активно содействовавшие росту прогрессивной науки в России в настоящее время все свои силы и знания направляют на развитие советской науки на основе идеологического единства и дружбы ученых всех братских народов Советского Союза

Академия наук СССР учитывая великое историческое значение 300 летия воссоединения Украины с Россией — этого национального праздника украинского и русского народов и всех других народов Советского Союза полагает необходимым отметить его как торжество братского единения сотрудничества и дружбы народов в области науки и культуры

В связи с этим Президиум Академии наук СССР постановляет

1 Созвать в апреле 1954 года Общее Собрание Академии наук СССР с приглашением всего состава Академии наук Украинской ССР и представителей академий наук союзных республик

Утвердить следующую повестку дня Общего Собрания Академии наук СССР посвященного 300 летию воссоединения Украины с России

1) Приветственное слово президента Академии наук СССР академика А Н Несмеянова

2) Выступление президента Академии наук УССР академика А В Палладина

3) Доклад академика А М Панкратовой Историческое значение воссоединения Украины с России

4) Доклад академика А Е Корнейчука Советская украинская литература в ряду литератур народов Советского Союза

5) Доклад академика К В Островитянова Экономическое сотрудничество украинского и русского народов

2 Поручить Бюро Отделения Исторических наук Экономических философских и правовых наук Литературы и языка провести юбилейные сессии посвященные 300 летию воссоединения Украины с Россией широко привлекая к участию в этих сессиях украинских ученых План сессии Отделения представить в Оргкомитет не позднее 10 ноября с г

Организовать также юбилейные заседания в институтах этих Отделений Бюро Отделений утвердить тематику юбилейных заседаний ученых советов институтов не позднее 15 ноября с г

3 Рекомендовать всем Бюро Отделений Академии наук СССР в связи с 300 летием воссоединения Украины с Россией организовать совместно с учреждениями Академии наук УССР сессии посвященные достижениям украинского народа в области науки и культуры а также научно популярные доклады и лекции Тематику и план этих выступлений Бюро Отделений должны утвердить не позднее 1 ноября с г

4 Создать Оргкомитет по проведению Общего Собрания АН СССР и сессии Отделений посвященных 300 летнему юбилею воссоединения Украины Россией в составе акад А В Топчиева (председатель) акад А В Палладина акад А Ф Александрова акад В В Виноградова акад К В Островитянова акад А М Панкратовой акад М Н Тихомирова член корр АН СССР С В Киселева и В Ф Кузнецова и председателя Отделения общественных наук АН УССР проф И К Луценко действительного члена АН УССР Н К Гуизия проф А Л Сидорова директора ИФЛИ В И Шунькова директора Издательства АН СССР А И Назарова и проф Н Н Третьякова (секретарь Оргкомитета)

5 Поручить Оргкомитету рассмотреть конкретную программу сессии и других мероприятий посвященных 300 летию воссоединения Украины с Россией и представить на утверждение Президиума АН СССР к 20 ноября с г Одновременно представить смету необходимых расходов по Отделениям общественных наук и другим учреждениям АН СССР

6 Считать необходимым отметить 300 летний юбилей воссоединения Украины с Россией изданием следующих научных и популярных трудов

1) Сборник докладов на Общем Собрании Академии наук СССР посвященных 300 летию воссоединения Украины с Россией Утвердить редколлегию сборника в следующем составе акад В В Виноградов акад Г Ф Александров акад А М Панкратова Тексты докладов представить в Издательство АН СССР к 1 марта 1954 г тираж сборника — 10 тыс экземпляров

2) Три тома документов Воссоединения Украины с Россией подготовленные институтами истории АН СССР и АН УССР в объеме 130 п л тиражом 10 тыс экземпляров

3) Сборник статей в память 300 летия воссоединения Украины с Россией подготовленный Институтом истории и Институтом славяноведения АН СССР и Институтом истории АН УССР срок сдачи в Издательство 1 ноября 1953 г тираж 15 тыс экземпляров Ответственные редакторы проф А Л Сидоров Н Н Третьяков и К Г Гуслистый

4) Очерк истории советской украинской литературы подготовленный Институтом мировой литературы им А М Горького АН СССР объем — 20 п л срок сдачи в Издательство — 15 января 1954 г

5) Научно популярная брошюра проф Гуслистого и Голобоуцкого о 300 летии воссоединения Украины с Россией объемом 5—6 п л Просить Институт истории АН УССР обеспечить подготовку этой брошюры и представление ее в РИСО АН СССР не позднее 1 декабря 1953 г

6) Обязать Институт философии АН СССР (акад Г Ф Александров) подготовить и издать в течение 1954 г труды История общественной и философской мысли Украины и Изданные произведения революционно демократических мыслителей Украины

7 Предложить редакциям журналов Академии наук СССР и прежде всего редакциям журналов по общественным дисциплинам обеспечить широкое освещение исторического значения 300 летия воссоединения Украины с Россией а также сотрудничество в области научно исследовательской работы

8 Обязать Бюро РИСО АН СССР по согласованию с Академией наук УССР представить к 20 ноября с г предложения об издании выдающихся трудов украинских ученых и мыслителей прошлого в сериях Классики науки и Литературные памятники а также важнейших трудов современных украинских ученых

9 Рекомендовать директорам институтов Академии наук СССР привлечь научных сотрудников АН СССР к участию в устной и печатной пропаганде исторического значения воссоединения Украины с Россией

10 Обязать директора фундаментальной библиотеки по общественным наукам АН СССР проф В И Шуйскова организовать к Общему Собранию Академии наук СССР выставку посвященную 300 летию воссоединения Украины с Россией

11 Опубликовать настоящее постановление в журналах Академии наук СССР

Президент Академии наук СССР
академик *А Н Несмеянов*

Главный ученый секретарь Президиума
Академии наук СССР академик *А В Топчиев*

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СОВЕТСКОЙ ЛИТВЕ

С опубликованием трудов И В Сталина по вопросам языкознания начался новый этап развития и в советской литуанистике Лингвисты Советской Литвы развернули творческую работу по развитию литовского языкознания по искоренению ошибок, допущенных ими раньше под влиянием нового учения о языке акад Н Я Марра, с одной стороны и под влиянием буржуазного языкознания с другой За истекшие три года советские литуанисты продвинули изучение литовского языка вперед

Языковедческая работа возглавляется в Литовской ССР Институтом литовского языка и литературы Академии наук Литовской ССР который ведет лингвистическую работу в двух секторах в Секторе словарей и современного литературного языка и в Секторе диалектологии и истории языка Лексикографы Института подготовили и сдали в печать однотомный словарь литовского литературного языка (130 авт л) в котором ощущают острую необходимость учителя школ преподаватели вузов писатели журналисты и др Выход в свет этого словаря является важным событием не только в литовском языкознании но и в культурной жизни республики в целом

В настоящее время внимание словарников Института сконцентрировано на подготовке третьего тома большого академического словаря литовского языка Этот словарь является самым полным из имеющихся словарей литовского языка Его задача — представить словарный состав не только современного литературного языка но и диалектов и отразить пройденные этапы исторического развития литовского языка

Следует отметить что издание очередных томов академического словаря недопустимо затянулось так как редакцией был в свое время допущен ряд ошибок буржуазно националистического толка что привело к необходимости переработать заново ранее подготовленную рукопись словаря Редакция словаря в целом ряде случаев допустила порочный подбор иллюстративных цитат приводила произвольные и даже ошибочные реконструкции незасвидетельствованных форм слов вводила пометы запретительно пуристического характера цензурировала диалектальные тексты и т д Помимо этого серьезнейшим недостатком является то что приставочные глаголы приводились под заголовком корневого глагола и рассматривались как формы непроизводного глагола а наряду с этим прилагательные и существительные с приставками рассматривались в отдельных статьях как самостоятельные слова

Все указанные недостатки были вскрыты на конференции по вопросам лексикографии, лексикологии и терминологии, состоявшейся в мае 1952 г. в Вильнюсе. По решению этой конференции руководство Института выработало новую инструкцию по составлению академического словаря литовского языка. В настоящее время уже заканчивается переработка третьего тома словаря в соответствии с этой инструкцией [1].

Одновременно Институт литовского языка и литературы проводит совместно с другими институтами АН Литовской ССР работу по подготовке терминологических словарей отдельных отраслей науки. В терминологической комиссии при Институте уже обсуждены и утверждены словари правовых, геологических и географических терминов. Однако вопросы терминологии целого ряда важнейших отраслей науки, например физики, техники, математики, медицины, истории, литературы и других, не обсуждались до настоящего времени, что вызывает справедливые нарекания со стороны работников соответствующих областей науки. Чрезвычайно актуальным является в настоящее время выпуск терминологического бюллетеня, в котором публиковалась бы уже установленная терминология. К сожалению, в республике пока еще не издается такой бюллетень.

Важнейшей задачей литовских языковедов является составление нормативной грамматики литовского языка. Это сопряжено с большими трудностями, так как многие важнейшие стороны грамматического строя литовского языка не освещались до настоящего времени в научной литературе, а имеющиеся немногочисленные статьи и монографии по отдельным вопросам литовской грамматики написаны с неправильных методологических позиций и требуют критической переоценки. Поэтому выпуску нормативной грамматики должны предшествовать монографические исследования, которые послужат основой при ее составлении. В настоящее время уже ведется работа по целому ряду тем, связанных с изучением отдельных вопросов грамматики литовского языка, как, например, «Наречие в литовском языке» (К. Ульвидас), «Синтаксис простого предложения» (канд. филол. наук И. Круопас), «Употребление местного падежа в литовском языке» (А. Лайгонайте), «Возвратные глаголы в литовском языке» (П. Бернадишене), «Употребление простых и местоименных прилагательных» (А. Валецкене) и т. д. В подготовке нормативной грамматики литовского языка принимают участие наряду с сотрудниками Института литовского языка и литературы также и преподаватели Вильнюсского университета и пединститута.

Серьезным недостатком этой работы является то что она пока ведется без должной координации. Выбор тем исследований часто бывает случайным, в результате чего ряд важнейших вопросов грамматического строя литовского языка, например вопрос о причастиях, числе и роде существительных, еще совсем не изучался.

Диалектологи республики с 1950 г. успешно ведут работу по сбору материала для диалектологического атласа литовского языка. Сбор диалектологического материала ведется по вопроснику, составленному Институтом литовского языка и литературы и одобренному республиканской диалектологической конференцией, состоявшейся в январе 1951 г. в Вильнюсе За истекшие три года обследованы говоры около 100 населенных пунктов республики и закончены два монографических описания говоров — «Говор западных жемайтов Кретингского района» и «Говор капсов, граничащих с занавиками»; готовится монография о говорах бассейна реки Митува. Следует отметить, что работа по сбору и систематизации диалектологического материала могла бы быть значительно ускорена, если бы литуанисты Вильнюсского пединститута и учительских институтов республики приняли в ней более активное участие.

Серьезное внимание уделяется переизданию ранних памятников литовской письменности. В 1947 г была переиздана первая литовская книга — катехизис Мажвидаса (подготовил к печати канд. филол наук И. Круопас). Переиздание было осуществлено к 400-летию со времени первого издания книги. В настоящее время действ. член АН Литовской ССР И. П. Бальчиконис и действ. член АН Литовской ССР Б. А. Ларин готовят к переизданию первую грамматику литовского языка (Д. Клейн, Grammatica litvanica, 1653), трехсотлетие которой отмечается в текущем году общественностью республики. В течение ряда лет ведется работа по восстановлению текста сочинений И. Бреткунаса (1536—1602). Известно, что эти сочинения выделяются чистотой своих литовских синтаксических конструкций и богатством словарного состава. Восстановление текста должно быть закончено в ближайшие годы, поскольку памятник сохранился лишь в одной фотокопии, которая начинает бледнеть.

Подготовлены две монографии по вопросам истории литовского языка [И. Круопас, Лексика сочинений М. Петкевичюса (1952, дисс.) и И. Палионис, Нормализация литовского литературного языка в конце XIX в. (1880—1901) (1953, дисс.)]. И. Круопас в своей работе последовательно раскрывает процесс формирования литовского

[1] Подробнее о лексикографической работе в Литовской ССР см. статью Б. А. Ларина «Состояние и задачи литовского языкознания в свете труда И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания“», «Труды [Ин-та языка и лит-ры АН Латв. ССР]», II, Рига, 1953, стр. 33—45.

литературного языка в XVI в. и дает анализ языка церковной письменности этого периода. Автор прослеживает вредное влияние церковного жаргона XVI—XVIII вв. на последующее развитие литовского литературного языка и показывает засорение литературного языка феодально-церковными жаргонизмами, непонятными широким народным массам.

В монографии И. Палиониса исследуется процесс нормализации литовского литературного языка в конце XIX в. Автор дает детальный разбор вопросов теории и практики нормализации правописания, морфологии, синтаксиса и лексики, показывает выдающуюся роль крупного литовского языковеда И. Яблонскиса в деле нормализации литовского литературного языка XIX в. В работе устанавливается прогрессивное значение русских языковедов (А. Потебни, Ф. Фортунатова, А. Шахматова, И. Бодуэна де Куртенэ и др.) в развитии и нормализации литовского литературного языка, изучается благотворное влияние великого русского языка на литовский язык, поскольку именно русский язык явился для литовского проводником революционной, научной и технической лексики. И. Палионис подвергает критике буржуазную теорию создания литовского национального языка отдельными деятелями национально-освободительного движения XIX в. и показывает реакционную роль клерикальной печати в деле нормализации литовского литературного языка.

Большое значение в развертывании языковедческой работы в Советской Литве имеют творческие дискуссии, организуемые Институтом литовского языка и литературы. С 1950 по 1953 г. в республике состоялся ряд лингвистических конференций: дискуссия по вопросам языка художественной литературы (1950), диалектологическая конференция (1951), обсуждение вопросов орфоэпии и правописания (1951), конференция по вопросам лексикологии, лексикографии и терминологии (1952) и другие. В ряде конференций активное участие принимали представители Института языкознания АН СССР и лингвисты других братских республик, которые оказали литовским языковедам значительную помощь в разрешении ряда спорных вопросов.

В июне 1953 г. в связи с третьей годовщиной со дня выхода работ И. В. Сталина по вопросам языкознания состоялась совместная конференция Института литовского языка и литературы, Вильнюсского университета и пединститута, на которой был заслушан ряд содержательных докладов по вопросам литуанистики, как, например, «Систематизация литовской фразеологии» (действ. член АН Литовской ССР Б. А. Ларин), «Синтаксис „Времен года" Донелайтиса» (проф. М. Н. Петерсон), «Первая грамматика литовского языка» (канд. филол. наук И. И. Палионис), «Литовские наречия с окаменелой флексией творительного падежа» (К. М. Ульвидас) и другие.

Следует, однако, отметить, что не все проведенные за истекшие три года конференции дали должные результаты. Так, на состоявшейся в 1951 г. конференции по вопросам правописания и орфоэпии было принято решение о подготовке нового пособия по правописанию, однако работа по его составлению пока еще не начата. Вместе с тем в издаваемых на литовском языке книгах наблюдаются значительные расхождения в написании иностранных слов, в употреблении знаков препинания и т. д.

Перед языковедами Советской Литвы стоит множество задач, разрешения которых все настоятельнее требует общественность республики, чьи культурные запросы постоянно возрастают. Так, например, необходимо создать учебники по всем разделам литовского языкознания для вузов республики, есть нужда в пособии по литовской стилистике, нужны новые издания русско-литовского и литовско-русского словарей, книга по теории и практике перевода и т. д. Не получили должного освещения еще многие важнейшие вопросы литуанистики, например вопрос о взаимоотношениях литовского и русского языков, об образовании литовского национального языка и другие. Почти не начат критический пересмотр с позиций марксистского языкознания научного наследия по литуанистике, что особенно необходимо в отношении работ таких выдающихся литовских языковедов, как К. Буга и И. Яблонскис.

Руководствуясь марксистско-ленинской методологией, развертывая критику и самокритику, советские литуанисты прилагают все свои силы и знания к тому, чтобы с честью выполнить задачи, поставленные перед ними XIX съездом КПСС.

Т. И. Бухене

СОДЕРЖАНИЕ

В. В. Виноградов (Москва). Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Е. А. Бокарев (Москва). О категории падежа 30
Е. Д. Панфилов (Ленинград). К вопросу о так называемом аналитическом склонении 47
Р. Г. Пиотровский (Ленинград). О некоторых стилистических категориях 55
М. С. Гурычева (Москва). О закономерностях в словообразовании романских языков 69

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. А. Лисицкий (Черновцы). Насущные вопросы исторической фонетики молдавского языка 84

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

Ф. Ф. Кузьмин (Москва). К итогам обсуждения курса «Введение в языкознание» 97

КРИТИКА БУРЖУАЗНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

М. М. Гухман (Москва). Э. Сепир и «этнографическая лингвистика» . . 110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

К. Е. Майтинская (Москва). Труды Института языкознания, т. I 128
Н. С. Поспелов (Москва). Труды Института языкознания, т. II 132
В. П. Старинин (Москва). Лингвистический сборник («Ученые записки Института востоковедения») 140
Н. М. Александров (Ленинград). *Л. А. Булаховский.* Введение в языкознание, ч. II. 146
Е. Г. Эткинд (Ленинград). *Л. А. Булаховский.* Введение в языкознание, ч. II 153
В. Ф. Шишмарев (Ленинград). *Э. Бурсье.* Основы романского языкознания 157
В. М. Жирмунский (Ленинград). Вопросы грамматического строя и словарного состава языка, ч. I—II 162

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Постановление Президиума Академии наук Союза ССР о 300-летнем юбилее воссоединения Украины с Россией 171
Т. П. Бухене (Вильнюс). Языкознание в Советской Литве 173

Редколлегия:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (секретарь редколлегии), *Р. А. Будагов, В. В. Виноградов* (главный редактор), *А. И. Ефимов, П. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев* (зам. главного редактора), *В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8, тел. Б-1-75-42.

Т-00441 Подписано к печати 21.I. 1954 г. Тираж 15.000 экз. Заказ 1880
Формат бумаги 70×108 1/16. Бум. л. 5 1/2. Печ. л. 15,07. Уч.-изд. 17,6

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10